

**ГВИЧЧАРДИНИ И МАКИАВЕЛЛИ
У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ**

**ГВИЧЧАРДИНИ И МАКИАВЕЛЛИ У ИСТОКОВ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ**



**MACHIAVELLI E GUICCIARDINI
ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA STORICA
DEI TEMPI MODERNI**

**ISTITUTO DI STORIA UNIVERSALE
DELL'ACCADEMIA RUSSA DELLE SCIENZE**

**MACHIAVELLI E GUICCIARDINI
ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA STORICA
DEI TEMPI MODERNI**

A CURA DI MARK YOUSSEM

MOSCA, 2020

**ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

**ГВИЧЧАРДИНИ И МАКИАВЕЛЛИ
У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ**

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР М. А. ЮСИМ

МОСКВА, 2020

УДК 94
ББК 63.3
Г – 255

Ответственный редактор: М. А. Юсим
Ответственный секретарь: А. А. Майзлиш

Рецензенты:

Доктор исторических наук Зарецкий Юрий Петрович
Кандидат исторических наук Короленков Антон Викторович

Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени. Сборник статей / Отв. ред. М.А. Юсим. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2020. 438 с. – ISBN 978-5-94067-513-6

Сборник материалов международной конференции, организованной совместно ИВИ РАН, НИУ «ВШЭ» и Институтом Итальянской культуры в Москве 22–23 сентября 2019 г. Конференция была приурочена к ряду юбилейных дат: 500-летию создания исторических трудов флорентинцев Н. Макиавелли и Ф. Гвиччардини). Кроме того, в 2019 г. исполнилось 550 лет со дня рождения Макиавелли. На конференции обсуждались проблемы перехода от средневековых хроник к историографии Ренессанса и Нового времени, обстоятельства появления исторических трудов Макиавелли и Гвиччардини, заложенные в них философские, политические и политико-правовые идеи, история их восприятия и переводов в странах Европы

ISBN 978-5-94067-513-6

© Коллектив авторов, 2020
© Институт Всеобщей истории, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редактора.</i> Вступительное слово	9
<i>Discorso introduttivo</i>	26
I. История исторического знания и ренессансная историография	
<i>Юсим М. А.</i> Великие флорентинцы и эволюция исторического знания в Европе	43
<i>Youssim Mark A.</i> I grandi fiorentini e l'evoluzione della conoscenza storica in Europa	53
<i>Кудрявцев О. Ф.</i> Некоторые особенности средневековой хронографии в их соотношении с историографией эпохи Возрождения	63
II. Макиавелли и Гвиччардини историки	
<i>Брагина Л. М.</i> Гвиччардини о роли личности в политической истории Флоренции последних десятилетий XV в.	79
<i>Карта П.</i> Вступление «Истории Италии» и историко-теоретический мир Макиавелли и Гвиччардини. Портрет Лоренцо Медичи	89
<i>Кутинелли-Рендина Э.</i> Макиавелли и Гвиччардини от муниципальной хроники к национальной истории	107
<i>Руджеро Р.</i> Гвиччардини – историк современности и макиавеллиевская наука о древности	116
<i>Дмитриева М. И.</i> Сиена в сочинениях Н. Макиавелли и Ф. Гвиччардини	138
III. Макиавелли историк, философ и политик	
<i>Дмитриев Т. А.</i> Гражданские распри как залог свободы и величия Флоренции в «Истории Флоренции» Н. Макиавелли	165

<i>Гвиди А.</i> Макиавелли, Вальдикьяна и завоевания и союзы Рима на итальянском полуострове, или новое прочтение истории древней протоюридической практики в терминах политической полезности	203
IV. Макиавелли – политик, поэт, комедиограф и патриот	
<i>Фенци Э.</i> До Макиавелли: Данте, Петрарка и итальянская идентичность	229
<i>Леттьеро Г.</i> «Переворачивая страницу». «Песнь Песней» как ключ к «Мандрагоре»	264
<i>Lettieri Gaetano.</i> “Voltando carta”. Il Cantico dei Cantici chiave della Mandragola	287
<i>Симонетта М.</i> Макиавелли, Гвиччардини и «гибель Италии»	307
V. Макиавелли, Гвиччардини и современные им историки	
<i>Уваров П. Ю.</i> История и исторические источники в трактате Рауля Спифама <i>Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi Progymnasmata</i>	327
<i>Щеглов А. Д.</i> «Шведская хроника» Олауса Петри: Средневековые традиции и влияние Ренессанса	341
<i>Сирос В.</i> Конфликты и причины политического упадка в сочинениях Макиавелли и в еврейской политической мысли эпохи Возрождения	368
VI. Восприятие Макиавелли и Гвиччардини в Новое время	
<i>Соколов П. В.</i> Идеи Н. Макиавелли в трудах голландских авторов XVII– XVIII вв.	395
<i>Иванова Ю. В.</i> Рецепция идей Н. Макиавелли в сочинениях Дж. Вико	415

CONTENUTO

<i>Discorso introduttivo</i>	26
I. La storia del sapere storico e la storiografia rinascimentale	
<i>Youssim Mark A.</i> I grandi fiorentini e l'evoluzione della conoscenza storica in Europa	53
<i>Kudryavtsev Oleg F.</i> Peculiarities of Medieval Chronography in Comparison with Renaissance Historiography	63
II. Machiavelli e Guicciardini storici	
<i>Braghina Lidia M.</i> Guicciardini sul ruolo della persona nella storia di Firenze negli ultimi decenni del XV secolo	79
<i>Carta Paolo.</i> L'incipit della Storia d'Italia e l'universo teorico e storico del dibattito tra Machiavelli e Guicciardini. Il ritratto di Lorenzo de' Medici	89
<i>Cutinelli-Rendina Emanuele.</i> Machiavelli e Guicciardini dalla cronaca municipale alla storia nazionale	107
<i>Ruggiero Raffaele.</i> Guicciardini storico del presente e l'archeologia machiavelliana	116
<i>Dmitrieva Marina I.</i> Siena nelle opere di N. Machiavelli ed F. Guicciardini	138
III. Machiavelli storico, filosofo e politico	
<i>Dmitriev Timofej A.</i> Le discordie civili come garanzia della liberta' e grandezza di Firenze nelle "Istorie fiorentine" di N. Machiavelli	165
<i>Guidi Andrea.</i> Machiavelli, la Valdichiana e le conquiste	203

e le alleanze di Roma nella penisola italiana: ovvero come rileggere la storia di una antica prassi pre-giuridica in termini di utilità politica

IV. Machiavelli – poeta, politico, commediografo e patriota

Fenzi Enrico. Prima di Machiavelli: Dante, Petrarca e l'italianità dell'Italia **229**

Lettieri Gaetano. “Voltando carta”. Il Cantico dei Cantici chiave della Mandragola **287**

Simonetta Marcello. Machiavelli, Guicciardini e la “rovina d'Italia” **308**

V. Machiavelli, Guicciardini e gli storici loro contemporanei

Uvarov Pavel Yu. La storia e le fonti storiche nel trattato di Raoul Spifam “Dicaearchiae Henrici regis christianissimi Progymnasmata” (1556) **327**

Scheglov Andrej G. “La cronaca svedese” di Olaus Petri: le tradizioni medievali e l'influenza rinascimentale **341**

Syros Vasileios. Conflict and political decline in Machiavelli and Renaissance Jewish political thought **368**

VI. La fortuna di Machiavelli e Guicciardini all'Eta' Moderna

Sokolov Pavel V. Le idee di N. Machiavelli nelle opere di autori olandesi del XVII– XVIII **395**

Ivanova Julia V. Ricezione delle idee di N. Machiavelli nelle opere di G. Vico **415**

ОТ РЕДАКТОРА. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В сентябре 2019 г. в Москве была проведена международная конференция «Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени», приуроченная к ряду юбилейных дат: 500-летию создания исторических трудов флорентинцев Н. Макиавелли и Ф. Гвиччардини (Макиавелли: 1519 – завершение «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», начало работы над «Историей Флоренции»; Гвиччардини – «История Флоренции», 1509), а также к выходу русского перевода «Истории Италии» Гвиччардини (написана к 1540 г., первое издание 1561–1564 гг.). Кроме того, в 2019 г. исполняется 550 лет со дня рождения Макиавелли. В настоящем сборнике представлены материалы этой конференции, в которой, благодаря совместным усилиям организаторов, Института всеобщей истории РАН, НИУ «Высшая школа экономики» и Института Итальянской культуры в Москве приняли участие отечественные и зарубежные специалисты по истории политической мысли и культуры Возрождения. Таким образом, в настоящем сборнике мы можем поместить первоклассные статьи ученых, занимающихся этой тематикой, и отражающие сегодняшний уровень ее исследований в мире. Новейшие исследования посвящены переосмыслению поворота в развитии европейской историографии на рубеже Нового времени, намеченного трудами Никколò Макиавелли и Франческо Гвиччардини, а также углубленному изучению их творчества, архивным и библиографическим изысканиям, проливающим свет на историю создания этих работ, биографии и восприятие наследия авторов.

Статьи в сборнике расположены в соответствии с разделами программы конференции, но в данном вступительном слове речь пойдет лишь о некоторых ее проблемах, с тем чтобы читатель мог получить представление о наиболее дискуссионной тематике, в том числе представленной в докладах, публикуемых без перевода на русский язык¹.

В качестве главного предмета для обсуждения на конференции были заявлены сочинения Макиавелли и Гвиччардини и их влияние на новоевропейскую историографию. Однако начиная уже с первых выступлений обозначилась еще одна центральная тема, вытекающая из предыдущих – взаимоотношения названных авторов с домом Медичи и характеристика его главных представителей – Козимо Старшего, Лоренцо Великолепного и двух пап, Льва X и Климента VII, в их трудах. Наибольшее внимание привлекает фигура Лоренцо, ключевая с точки зрения переходного периода от республики к синьории в истории Флоренции и ярко выражающая неоднозначность оценок этого периода современниками и историками. Если Л.М. Брагина делает акцент на позитивном отношении Гвиччардини к Лоренцо Великолепному: называя его тираном, он добавляет к этому определению эпитеты «лучший и приятный», а в «Истории Италии» высказывает сожаление по поводу смерти Лоренцо, который мог бы предотвратить беды Италии в

¹ См. также наш отдельный очерк, посвященный конференции и проблематике ее докладов: Юсим М.А. «Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени»: заметки на полях международной конференции // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. Т. 10. Выпуск 10 (84) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: <https://history.jes.su/s207987840007970-6-1/> (дата обращения: 20.10.2020).

эпоху разрушительных войн, то П. Карта обращает внимание на юридические тонкости в характеристиках, даваемых Гвиччардини, образованным правоведом, Лоренцо и режиму Медичи в целом. Основываясь на положениях средневековых правоведов, Франческо приходит к почти софистическому выводу, что правитель может быть тираном в одном отношении и не-тираном в другом. Макиавелли, не задаваясь целью установить границы легитимности «нового государя», тем не менее использует термин «il principe della repubblica», государь или принцепс республики – определение, кстати сказать, использовавшееся впоследствии в титулатуре первых (фактических) герцогов Медичи. Что и неудивительно, так как эти правители, наподобие римских принцепсов, задним числом названных императорами, стремились формально сохранить прежние республиканские институты, и эта переходность исторических обстоятельств существенно отразилась на деятельности и творчестве Макиавелли и Гвиччардини. Оба отдавали предпочтение республиканским ценностям, «свободе», и оба были вынуждены в силу разных обстоятельств и в разном качестве служить папам и правителям Медичи, одновременно оценивая исторические причины и возможности выхода из текущей ситуации. Их работа над сочинениями по истории была теснейшим образом связана с поиском ответов на политические вопросы.

В то же время труды Макиавелли и Гвиччардини вписываются, естественно, в существовавшую традицию итальянского и флорентийского историописания, прошедшую через фазы средневековой хроники и гуманистического риторически украшенного рассказа о великих людях. В докладах Э. Кутинелли-Рендины и Р. Руджеро показано сходство и различие обстоятельств, приведших к написанию «Истории Флоренции» Макиавелли и «Ис-

тории Италии» Гвиччардини, и повлиявших на каждого из авторов. В первом случае была продолжена традиция поручать сочинение историй флорентийским канцлерам, и сочинение Макиавелли, казалось бы, должно было ограничиваться локальными рамками и преимущественно современностью. Однако вследствие склонности автора к обобщениям и анализу социальной эволюции республики его труд послужил образцом для создания в дальнейшем национальных историй. Работа Гвиччардини стала как бы продолжением изысканий Макиавелли, который собирался посвятить вторую часть своего повествования современным событиям, но не успел этого сделать. Первоначально Гвиччардини намеревался проанализировать лично для себя причины краха итальянской политической системы и своих личных неудач, однако постепенно он пришел к созданию не только общенационального нарратива, но, как пишет Э. Кутинелли-Рендина, «первой подлинной истории Европы», поскольку Италия в начале XVI в. оказалась в центре общеевропейских интересов и конфликтов. Любопытно, что при этом оба историка отдали предпочтение народному языку перед латынью, сосредоточившись не на литературной стороне, а на анализе реальной подоплеки событий.

Такой анализ привел Макиавелли к парадоксальным выводам о пользе внутренних смут для развития государственности – этот тезис рассмотрен в докладе Т.А. Дмитриева применительно к проводимому в «Истории Флоренции» сопоставлению конфликтов народа и знати в Римской и Флорентийской республике. Восприятие «классовой борьбы» у Макиавелли, в свое время вызвавшее восхищение К. Маркса, было довольно противоречивым: нужно иметь в виду, что бывший флорентийский секретарь в 1520–1525 гг. еще питал надежды

на сохранение «свободы», республиканского строя во Флоренции, несмотря на его очевидную эволюцию в сторону синьории, и, выполняя литературно-политический заказ семьи Медичи, пытался внушить им и самому себе, что такая перспектива не совсем потеряна. Справедливое и жизнеспособное государственное устройство обеспечивалось бы, по мнению Макиавелли и его современников, законодательно и институционально закрепленным согласованием интересов разных социальных сил, сочетанием политических форм в смешанном правлении.

Дружба Гвиччардини и Макиавелли, и в значительной мере их сотрудничество основывались на совпадении взглядов, но в текстах Гвиччардини мы постоянно сталкиваемся с полемикой против определенных тезисов его приятеля, в большинстве случаев не называемого по имени. При этом Макиавелли в памяти потомков сильно заслонил Гвиччардини, и такое положение вещей сказалось и на тематике докладов конференции, часть из которых было посвящена только флорентийскому секретарю. Выступление А. Гвиди продолжило юридическую тематику, речь в нем шла о правовых аспектах взаимоотношений римлян с их союзниками и об их восприятии у Макиавелли. Римскую республику Макиавелли считал образцовой, и он ценил принятую ее руководителями практику привлекать соседние народы к союзу и предоставлять права гражданства, на деле закрепляя за собой возможность управлять ими. Макиавелли хотя и был сыном юриста, но сам право не изучал, и, как отмечает А. Гвиди, его подход был скорее подходом историка или политического философа. Действительно, гуманистов собственно правоведение интересовало меньше, чем средневековых интеллектуалов и в этой области Ренес-

санс не достиг таких вершин, как в филологии или искусстве.

Весьма содержательная статья Э. Фенци посвящена «итальянизму» и в каком-то смысле «макиавеллизму» до Макиавелли, преимущественно политическим взглядам Данте и Петрарки. Автор показывает, что уже Данте отходит от средневекового республиканизма и в своих симпатиях к императору предвосхищает будущие поиски сильной власти для Италии. Петрарка, последовательный сторонник римского идеала, разочаровывается в коммунальной демократии и объявляет, что «легче сносить власть одного тирана, чем многих», имея в виду олигархические режимы наподобие флорентийского. Его сотрудничество с единоличными правителями, в частности, Висконти, вызвано глубоким пониманием ситуации и желанием действовать в рамках возможного, не отождествляя себя с режимом, то есть в ситуации, напоминающей более позднюю дилемму, стоявшую перед Макиавелли и Гвиччардини. Итальянский патриотизм Петрарки на самом деле не был еще национальным патриотизмом, он целиком опирался на римскую идею и своеобразное понимание исторической миссии Италии. Политическое равновесие на полуострове, которое стало идеальной моделью для дальнейшего развития Европы, а затем и мира в целом, уже с XIV в., далеко не достигнув зрелости, демонстрировало свою шаткость. Гениальность Петрарки, основоположника ренессансного гуманизма, состояла, по мнению Э. Фенци, в том что он проповедовал *translatio studiorum* из столицы средневековой схоластики Парижа на обетованную землю античных наук, в Италию. Ощущение политической слабости страны, в полной мере сказавшейся уже во времена Макиавелли, сопровождалось осознанием того, что Возро-

ждение станет мощным стимулом в развитии европейской цивилизации.

Трагизм и парадоксальность ситуации, в которой действовали Макиавелли и Гвиччардини, показан в статьях М. Симонетты и Г. Леттьери. В первом тексте говорится о «фатальном выборе» в пользу союза с Францией и против императора, сделанном итальянцами в период войн Коньякской лиги. Эта ключевая для данного контекста тема заставляет в очередной раз поставить вопрос об альтернативности истории, о действии внешних факторов и «роли личности», о возможностях великих и малых фигур на шахматной доске предопределить результат игры, о значении внешних, объективных и неустрашимых причин и свободной воли, целесообразной деятельности людей и т.д. Безусловно, выбор оказался фатальным для папы Климента VII Медичи, пережившего разграбление Рима в мае 1527 г. и последовавший за этим фактический плен, но примирившегося с Карлом V и в итоге обеспечившего для своей семьи главенство во Флоренции. Выбор оказался фатальным и для советников и сотрудников папы, в разной степени разделявших его решение и ответственных за него, в том числе Франческо Гвиччардини, Никколò Макиавелли и епископа Вероны Джан Маттео Джиберти, о которых пишет М. Симонетта. Джиберти разделил участь папы; Гвиччардини, главнокомандующий папскими войсками, пережил опалу при последней флорентийской республике и крушение надежд, хотя и остался виднейшим сановником при утверждающейся «тирании», а опубликованные посмертно сочинения принесли ему всемирную славу. Наконец, Макиавелли, раздираемый противоречивыми чувствами и мыслями, не сумел найти себе места после антимедичейского переворота во Флоренции и окончил свои дни в разгар событий, когда будущее родного горо-

да и Италии оставалось еще весьма туманным. Но и ему была уготована судьба одной из крупнейших фигур в истории европейской философии и политической мысли.

Для оценки любого выбора необходимо определить критерий, на котором она основывается. Сегодняшние историки, вслед за поколениями своих предшественников имеющие в виду те ценности, которые четко утвердились с течением времени, исходят из своего понимания задач, стоявших перед людьми XVI века: объединения страны, создания итальянского государства, освобождения от иноземных захватчиков, и нельзя сказать, что современникам событий эти цели были чужды. Однако если преимущество историков состоит в знании того, что было дальше, к чему пришли и что получилось, то преимущество современников и участников игры заключается в понимании, хотя и ограниченном, условий задачи, и в возможности, тоже, разумеется, ограниченной, реального действия. Позиция историков кажется более выигрышной, но на деле их цель – перепроигрывание и переосмысление прошлого – в идеале так же недостижима, как и точное предугадывание исхода событий современниками. Если итальянцы в начале XVI в. и руководствовались целью изгнать «варваров» с территории полуострова, если флорентинцы питали надежду сохранить республиканское устройство в своем городе, это не повод задним числом характеризовать эти цели и надежды как совершенно утопические, тем более что понимание малости шансов на их реализацию присутствовало у рассматриваемых нами мыслителей. Условие и смысл существования истории состоят в том, что она не predetermined, и если для историков игры прошлого уже сыграны, то для современников шанс и выбор всегда есть, к тому же история никогда не завершается, пока человечество существует. Если теперь углубиться в гу-

щу событий и обстоятельств, предопределявших поступки и решения действовавших в 1527 г. лиц, чему, собственно, и посвящена статья М. Симонетты, построенная на изучении уже известных и еще не опубликованных архивных материалов, то очевидный тезис о сделанном ими фатальном выборе становится несколько менее очевидным. О разных последствиях этого выбора для каждого из них сказано выше, остается задать самый сложный вопрос: а мог ли он быть иным? Опять-таки с высоты сегодняшнего дня ответ кажется однозначным – не мог, и это действительно так для историка, отыскивающего причины уже совершившихся событий. Есть масса факторов, явно и неявно направляющих «свободную волю». Из современных документов и написанных позднее воспоминаний и историй мы извлекаем понимание того, что для флорентинцев Гвиччардини и Макиавелли спасение Флоренции от иноверных банд было важнее спасения Рима, и их чувства в значительной мере должен был разделять и сам папа. Что касается собственно выбора в пользу Франции, фактически предавшей союзников, действовавшей исключительно в своих интересах, многократно обманывавшей флорентинцев еще в истории с Пизой и, как выяснилось спустя десятилетия, обреченной на поражение в Итальянских войнах (на чем история, разумеется, не закончилась, ее маятник в очередной раз качнулся в пользу французов при Наполеоне и затем пошел дальше), то он действительно был во многом предопределен. Традиционный союз Флоренции с французскими королями, антиимперский гвельфизм, ненависть к новым еретикам-реформаторам, понимание предполагаемых французских интересов, исторический опыт – все это склоняло флорентийских политиков в Риме к принятому в конечном счете решению. Однако это не означает, что они не понимали связанных с ним

риска и угроз. Шанс был, хотя, как оказалось, он был очень мал. Существенную роль, при всей предполагаемой предопределенности событий, играют качества главных действующих лиц. М. Симонетта и Г. Леттьери, не отрицая неизбежного для политиков ренессансной эпохи циничного реализма, говорят о доле «благородного идеализма», присущего папе Клименту VII, как и императору Карлу V, государям-«кентаврам». Идеализм в политике оборачивается либо крахом, либо чрезмерной жестокостью. В обоих случаях, как видим, не обошлось ни без того, ни без другого. Император, несмотря на свою удачливость и всевозможные полезные для политика качества, отрекся от престола и разделил свои владения. Папа, в силу, можно сказать, профессионального положения, носитель идеалов Царства Небесного и *Roma caput mundi*, пережил жесточайшие унижения в обоих отношениях – раскол Церкви и разграбление Рима пришлось на его правление.

Именно Макиавелли лучше всех понимал уязвимость института папства и тщетность надежд на него с точки зрения спасения Италии, но как раз парадоксальность мысли флорентийского секретаря подталкивала его к противоречивым выборам, к упованиям на благородного тирана, спасающего республику, и на главу католичества, спасающего Италию. Парадоксальность и двойственность творчества ренессансного итальянца в полной мере отражена в статье Г. Леттьери о знаменитой комедии «Мандрагора», где в качестве «ключа» к ее истолкованию предложен сам по себе неоднозначный библейский текст, приписываемая царю Соломону «Песнь Песней». Драматургический шедевр Макиавелли, как и все его творчество, вызывает желание у читателей и интерпретаторов дать свое толкование парадоксам «Мандрагоры». Так например, в XIX в. Паскуале Виллари предло-

жил красивую формулу: «Мандрагора» – это комедия того общества, трагедией которого является «Государь», а в XX в. Дж. Феррони объяснял линии поведения действующих лиц, исходя из кардинальной мысли Макиавелли о том, что успеха достигает тот, кто умеет измениться и приспособиться к имеющимся обстоятельствам, к «качеству времени». Версия Г. Леттьери основывается на тезисе, безусловно справедливом, что в 20-е гг. XVI в., на последнем этапе своей жизни, бывший флорентийский секретарь возлагал политические надежды на дом Медичи и взошедших на папский престол его членов, и старался всячески сблизиться с ними. Отсюда его обращение к религиозной тематике и образности, а также игра с рискованными аллюзиями, наличие которых в «Мандрагоре» также невозможно отрицать. Ярким подтверждением этих тезисов служит сохранившийся портрет актрисы Барбары Раффакани, любовницы комедиографа и участницы постановок, со страницей из «Песни Песней» на столе.

Тем не менее, двусмысленность текстов Макиавелли не допускает последовательно однозначных трактовок и побуждает к разного рода оговоркам, которые запрашиваются и в данном случае. Прежде всего, обыгрываемые в комедии архетипические оппозиции молодости и старости, жизнеутверждения и увядания, могучих сил природы составляют основу чуть ли не всей мировой литературы, в том числе и фольклора, использующего весьма откровенные и даже грубые образы и намеки. Эти уровни традиции слишком универсальны, чтобы сводить их влияние только к религиозным текстам и толкованиям, бытовавшим в Западной церкви, где подобные мотивы (брак между папой и Церковью, мистическое уподобление любви к Богу земной любви), восходящие, в частности, к древним восточным культам, несомненно, укорен-

нились, наряду со многими другими. Можно согласиться и с тем, что в сюжете и образах «Мандрагоры» воплотились личные чаяния автора, который говорил об «истине и истинном пути», проповеданных Христом, и склонялся здесь к специфически ренессансному толкованию богочеловека, подчеркивая его животворящие черты. Такое толкование допускает совмещение крайностей, переход одной из них в другую, и, в частности, благотворность обмана в определенных ситуациях, хотя обосновывающий ее монах Тимотео – образ все-таки сатирический. Макиавелли и его современники, тот же Гвиччардини, упрекавший папу за то, что тот не допустил продажи должностей, когда это было разумно и необходимо, понимали, что нельзя «всегда следовать по пути добра». Они могли иногда и восхищаться такими политическими обманщиками, как Александр VI, его сын Чезаре или король Фердинанд Католический, но эти мыслители и, если угодно, философы (Макиавелли и Гвиччардини), называли вещи своими именами и умели различать добро и зло при всей гибкости подходов. В общем, соглашаясь с многочисленными доводами Газтано Леттьери относительно ситуационных интенций Макиавелли, смелых намеков на маскулинность папы и на плодородность его брака с Церковью, невозможно забывать и о противоположных высказываниях флорентийского секретаря, относящихся почти к тому же времени, об «обороте страницы», если использовать образ из самой статьи, – о словах, что «наша религия отдала мир на откуп мерзавцам» и о том, что сам институт папства препятствует объединению Италии и следовательно, ее освобождению от «варваров». Заложенные здесь реальные противоречия в «Мандрагоре», попросту говоря, переведены в сферу комического.

Отдельные секции конференции, и, соответственно, публикуемые здесь материалы, посвящены некоторым сюжетам исторических произведений Гвиччардини и Макиавелли, новизне их методов по сравнению с предшествующей историографией и параллелям с новой, а также восприятию этих текстов в дальнейшем. В статье М.И. Дмитриевой говорится о том, как история одного из независимых государств Тосканы, Сиенской республики, отражена в «Истории Флоренции» Никколò Макиавелли и в «Истории Италии» Франческо Гвиччардини. Автор отмечает, что хотя оба историка не дожили до окончательной потери Сиеной независимости, они с присущей им проницательностью отразили особенности ее политики, необходимость лавирования между более сильными соседями и другими ведущими силами на полуострове, и внутреннюю уязвимость, связанную с постоянной сменой внутренних режимов. Эти особенности характерны и для других итальянских государств этой эпохи. Гвиччардини, по мнению автора, подчеркивает существенную роль Сиены в событиях своего времени, в отличие от Макиавелли, который оценивал действия сиенцев почти исключительно с точки зрения своей родной Флоренции.

Выступление О.Ф. Кудрявцева касалось сопоставления особенностей средневековой и ренессансной историографии и было построено на анализе различий изображения человеческой индивидуальности в трудах некоторых писателей, представляющих обе традиции. Средневековые историки, считает О.Ф. Кудрявцев, ограничивались скорее абстрактными и стандартными характеристиками, а ренессансным присуще более пристальное внимание к особенностям отдельной личности, хотя и они придерживаются в своих описаниях определенной схемы. В частности, Макиавелли, говоря о Кози-

мо Медичи Старшем и о его внуке, уже не раз упомянутом выше Лоренцо Великолепном, наделяет их чертами идеального, в его понимании, правителя, а также указывает на сочетание в нем разных, подчас противоположных качеств – здесь уже выражается такое свойство ренессансного человека и мыслителя, как стремление к внутренней свободе и к универсальному разнообразию пристрастий.

В статье А.Д. Щеглова также проводятся некоторые параллели между средневековыми и ренессансными приемами историописания, и тоже присутствует Макиавелли, отголоски мыслей которого автор обнаруживает в трудах Олауса Петри, знакомого и с античными авторами, и с другими выдающимися произведениями своей эпохи, например, с сочинениями Эразма Роттердамского. А.Д. Щеглов проводит сопоставление ряда отрывков из «Государя» и «Шведской хроники» Олауса, обнаруживающих известное сходство в тезисах и аргументации. Однако поскольку эти тезисы, касающиеся ориентирования полководца на местности и пользы крепостей, часто обсуждались и древними и ренессансными писателями, а трактат Макиавелли навряд ли мог быть известен Олаусу Петри, работавшему над «Хроникой» в 30-х гг. XVI в., напрямую, вопрос о заимствовании, как отмечает и сам автор, нуждается в дальнейшем исследовании.

П.Ю. Уваров говорит о практике использования исторических ссылок во Франции второй пол. XVI в. на примере оригинального писателя и правоведа времен Генриха II Р. Спифама. Спифам издавал реформаторские указы, направленные на исправление общественных недостатков и написанные как бы от имени короля. При этом он приводил исторические аргументы, что было распространенным явлением в творчестве французских юристов того времени. По мнению автора, этот опыт

явился одним из источников развития официальной историографии, становление которой было связано с политикой раннего абсолютизма. Здесь напрашивается параллель с итальянской ренессансной историографией, о которой шла речь в большинстве докладов конференции: в той же республиканской Флоренции XV в. сочинение истории было почетной обязанностью канцлеров, но и монархи обращались к гуманистам за оказанием подобных услуг, напомним, например, о биографическом труде Лоренцо Валлы, написанном по просьбе короля Альфонса Великодушного.

Раздел, связанный с исторической мыслью эпохи Макиавелли и Гвиччардини, пополнила статья Василеоса Сироса, который не участвовал в конференции очно, но любезно предоставил для сборника свой текст, в котором речь идет о роли политических конфликтов в падении империй и республик, и ее оценке в трудах еврейских авторов первой половины XVI в. Соломона ибн Верги и Самуила Ускве. В. Сирос находит у этих и некоторых других еврейских писателей элементы светского и натуралистического истолкования причин исторических событий, сближающие их с политическими прозрениями Макиавелли, особенно касающимися внутренних причин гибели государств, а также использования чужих и наемных войск.

Анализ внутренних распрей во Флоренции и в Риме у Макиавелли стал одним из основных предметов статьи В. Сироса, как и текстов Т.А. Дмитриева и Р. Руджеро.

Выступления П.В. Соколова и Ю.В. Ивановой были посвящены восприятию Макиавелли в Голландии и в Италии в XVIII в. П.В. Соколов анализирует анонимный трактат «Макиавелли-республиканец», написанный а в ответ на «Анти-Макиавелли Фридриха II и Вольтера, сложное произведение, отчасти в пародийной, отчасти в

серьезной (но менее самостоятельной) форме отвечает на критику воззрений флорентийца. Автор статьи разбирает вопрос о возможной принадлежности текста публицисту Э. С. ван Бурмании и оставляет его пока открытым, а из противоречивого соотношения трех частей трактата – заимствованной у других защиты Макиавелли как идеолога республиканизма, апологии национальной свободы и пародийной биографии «Макиавелли-печатника» П.В. Соколов делает вывод о полифоничности этого сочинения в духе концепций М.М. Бахтина.

Наконец, Ю.В. Иванова рассматривает представления Дж. Б. Вико о римской религии в их противостоянии теориям Полибия, Плутарха и Макиавелли. Эти три автора приписывали древнейшим патриархам современный им образ мысли, допуская толкование религии как чисто политического инструмента. Вико же в рамках развиваемой им теории эволюции общества, показывает, что на его первичной стадии «отцы» выступали в роли проводников имперсональной необходимости, которая заставляла, например, приносить человеческие жертвы богам вследствие жестокой однозначности социальных законов.

В целом можно заключить, что материалы конференции хорошо иллюстрируют особенности переходного периода в развитии европейской традиции историописания, на которую оказали существенное влияние флорентинцы Никколó Макиавелли и Франческо Гвиччардини. Оба были действующими политиками и теоретиками, писали трактаты об устройстве Флоренции, исходя в том числе и из исторического опыта – они опирались на историю родного города вплоть до современности. Макиавелли на этой основе разрабатывал теорию противостояния социальных сил, Гвиччардини в поисках ответа на вопрос, насколько человек может противостоять обстоя-

тельствам, внешней силе, Фортуне, в более поздней терминологии – исторической необходимости, обратился к истории всего Апеннинского полуострова в эпоху Итальянских войн, в которых так или иначе принимали участие все главные европейские державы.

История с древнейших времен рассматривалась как литературный жанр, но ее главным признаком и отличительной чертой считался поиск истины, который остался целью науки и в наше время. Европейская историография проделала долгий путь от мифопоэтического рассказа о событиях до научного исследования, подражающего «позитивным» наукам в том числе и в попытках математизации и информатизации материала, хотя доля искусства сохраняется в любой науке. Как и любая наука, история не может предоставлять окончательные истины в окончательном виде, она лишь дает потомкам и исследователям пищу для размышления, показывая причины событий и человеческих поступков – как внешние, так и внутренние. Ренессансные писатели вслед за средневековыми изучали внутренний мир человека, но искали его мотивы и цели не на небе, а на земле. Внешнему миру и его принуждениям они противопоставляли индивидуальную доблесть – вирту, которая тоже представляет собой некую данность, но данность внутреннюю. Поэтому история Ренессанса – это театр, вечно повторяющиеся драмы и фарсы, это трагедии народов и их поводырей.

DISCORSO INTRODUTTIVO

Nel settembre 2019 si è tenuto a Mosca il convegno internazionale “Guicciardini e Machiavelli alle origini della scienza storica dell’Età moderna”, in concomitanza con alcune date anniversario: 500 anniversario delle opere storiche dei fiorentini N. Machiavelli e F. Guicciardini (Machiavelli: 1519 – completamento del “Discorso sul primo decennio di Tito Livia”, inizio del lavoro sopra le “Storie Fiorentine”; Guicciardini – “Storia di Firenze”, 1509), nonché la pubblicazione della traduzione russa della “Storia d’Italia” di Guicciardini (scritta nel 1540, prima edizione 1561–1564). Inoltre, nel 2019 saranno trascorsi 550 anni dalla nascita di Machiavelli. Questa raccolta presenta i materiali di questo convegno, al quale, grazie all’impegno congiunto degli organizzatori, dell’Istituto di Storia Universale dell’Accademia Russa delle Scienze, della Scuola Superiore di Economia e dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, hanno partecipato esperti nazionali e stranieri di storia del pensiero politico e della cultura del Rinascimento. Così, in questa raccolta possiamo inserire articoli di scienziati di prima classe che si occupano di questo argomento e quindi questi contributi riflettono il livello attuale della ricerca nel mondo. Le ultime ricerche sono dedicate al ripensamento della svolta nello sviluppo della storiografia europea a cavallo dell’Età moderna, delineata da Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini, nonché agli studi approfonditi della loro opera, alla ricerca archivistica e bibliografica che fa luce sulla storia della creazione di questi testi, sulla biografia e sulla percezione del patrimonio degli autori.

Gli articoli della raccolta sono organizzati secondo le sezioni del programma della conferenza, ma questa introduzione tratterà solo alcuni dei problemi di essa, in modo che il lettore

possa farsi un'idea degli argomenti più controversi, compresi quelli presentati nelle relazioni pubblicate senza traduzione in russo¹.

Le opere di Machiavelli e Guicciardini e la loro influenza sulla nuova storiografia europea sono state citate come i principali argomenti di discussione del convegno. Tuttavia, a partire dalle prime presentazioni, un altro tema centrale è emerso dai precedenti – il rapporto degli autori suddetti con la Casa dei Medici e la caratterizzazione nelle loro opere dei suoi principali rappresentanti – Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico e due papi, Leone X e Clemente VII. La figura di Lorenzo, che è fondamentale per il passaggio dalla Repubblica alla Signoria nella storia di Firenze e che esprime chiaramente l'ambiguità delle valutazioni dei suoi contemporanei e degli storici di questo periodo, è quella che attira più l'attenzione.

Se L.M. Braghina sottolinea l'atteggiamento positivo di Guicciardini nei confronti di Lorenzo il Magnifico: chiamandolo tiranno, aggiunge l'epiteto “il migliore e il più piacevole” a questa definizione, e nella “Storia d'Italia” si rammarica della morte di Lorenzo, che avrebbe potuto far evitare le calamità dell'Italia nell'epoca delle guerre distruttive, P. Carta richiama l'attenzione sulle sottigliezze giuridiche nelle caratteristiche date da Guicciardini, il colto giurista, a Lorenzo e al regime mediceo in generale. Sulla base delle disposizioni dei giuristi medievali, Francesco giunge alla conclusione quasi sofisticata che un sovrano può essere un tiranno da un lato e un non tiranno dall'altro. Machiavelli, senza pretendere di stabilire

¹ V. anche il nostro saggio a parte, dedicato al convegno e agli argomenti dei contributi: *Yusim M.* “Guicciardini and Machiavelli at the Origins of Modern Historical Science of the Modern Time”: Notes on the Margins of an International Conference // *ISTORIYA*. 2019. V. 10. Issue 10 (84) [Electronic resource]. Access for registered users. URL: <https://history.jes.su/s207987840007970-6-1/> (circulation date: 20.10.2020).

i limiti della legittimità del “principe nuovo”, utilizza tuttavia il termine “il principe della repubblica”, il sovrano o princeps della repubblica, definizione che, per inciso, è stata poi utilizzata nel titolo dei primi (attuali) duchi medicei. Il che non sorprende, poiché questi governanti, come i principes romani, nominati a posteriori “gli imperatori”, cercavano di preservare formalmente le istituzioni repubblicane di un tempo, e questa transitorietà delle circostanze storiche ha influenzato in modo significativo l'attività e l'opera di Machiavelli e Guicciardini. Entrambi preferivano i valori repubblicani, la “libertà”, ed entrambi erano costretti, in virtù di circostanze e capacità diverse, a servire i Papi e i governanti dei Medici, valutando al contempo le cause storiche e le possibilità di superare la situazione attuale. Il loro lavoro sulla storia era strettamente legato alla ricerca di risposte a questioni politiche.

Allo stesso tempo, le opere di Machiavelli e Guicciardini si inseriscono, naturalmente, nella tradizione esistente della storiografia italiana e fiorentina, che ha attraversato le fasi delle cronache medievali e delle storie umanistiche di grandi personaggi decorate di retoriche. Le relazioni di E. Cutinelli-Rendina e R. Ruggero mostrano le analogie e le differenze tra le circostanze che hanno portato alla stesura della “Storia di Firenze” di Machiavelli e della “Storia d'Italia” di Guicciardini e quelle che hanno influenzato ciascuno degli autori. Nel primo caso, la tradizione di affidare le storie ai cancellieri fiorentini è proseguita, e il lavoro di Machiavelli sembrava doversi limitare all'ambito locale e soprattutto alla modernità. Tuttavia, a causa della tendenza dell'autore a generalizzare e ad analizzare l'evoluzione sociale della repubblica, il suo lavoro è servito da modello per la creazione di storie nazionali nel futuro. Il lavoro di Guicciardini era come una continuazione della ricerca di Machiavelli, che avrebbe dedicato la seconda parte della sua narrazione alle vicende moderne, ma non ha avuto il tempo di farlo. Originariamente Guicciardini intendeva analizzare

personalmente le ragioni del crollo del sistema politico italiano e dei suoi fallimenti personali, ma gradualmente è giunto alla creazione non solo di una narrativa nazionale, ma, come scrive E. Cutinelli-Rendina, “la prima vera storia d'Europa”, poiché l'Italia all'inizio del XVI secolo era al centro degli interessi e dei conflitti europei. Curiosamente, entrambi gli storici hanno dato la preferenza alla lingua nazionale rispetto al latino, concentrandosi non sul lato letterario, ma sull'analisi del reale risvolto degli eventi.

Tale analisi ha portato Machiavelli a conclusioni paradossali sui benefici dei disordini interni per lo sviluppo dello Stato – questa tesi è considerata nel contributo di T.A. Dmitriev in relazione al confronto dei conflitti tra il popolo e la nobiltà nelle repubbliche romana e fiorentina condotto nella “Storia di Firenze”. La percezione di Machiavelli della “lotta di classe”, che un tempo suscitava l'ammirazione di K. Marx, era piuttosto controversa: va tenuto presente che l'ex segretario fiorentino nel 1520 – 1525 aveva ancora speranze per la conservazione della “libertà”, l'ordine repubblicano a Firenze, nonostante la sua evidente evoluzione verso la Signoria, e, adempiendo l'ordine letterario e politico della famiglia Medici, cercava di ispirare a loro e a se stesso che questa prospettiva non era completamente perduta. Secondo Machiavelli e i suoi contemporanei, una struttura statale equilibrata e vitale sarebbe garantita da un coordinamento giuridico e istituzionalizzato degli interessi delle diverse forze sociali, da una combinazione di forme politiche in un governo misto.

L'amicizia di Guicciardini e Machiavelli, e in larga misura la loro collaborazione, si basava su una convergenza di idee, ma nei testi di Guicciardini ci troviamo costantemente di fronte a polemiche contro certe tesi del suo amico, nella maggior parte dei casi non chiamato per nome. Tuttavia, Machiavelli ha messo in ombra Guicciardini nella memoria dei posteri, e questa situazione ha influenzato anche l'argomento degli

interventi del convegno, alcuni dei quali erano dedicati solo al segretario fiorentino. Il discorso di A. Guidi ha continuato il tema giuridico, riguardando gli aspetti giuridici del rapporto dei romani con i loro alleati e la perezione di essi in Machiavelli. Machiavelli considerava la Repubblica Romana esemplare e apprezzava la prassi adottata dai suoi dirigenti di coinvolgere i popoli vicini nell'unione e di concedere a loro diritti di cittadinanza, assicurandosi di fatto la possibilità di governarli. Sebbene Machiavelli fosse figlio di un avvocato, in persona non studiò il diritto, e, come nota A. Guidi, il suo approccio era piuttosto quello di uno storico o di un filosofo politico. In effetti, gli umanisti erano meno interessati al diritto rispetto agli intellettuali medievali, e in questo campo il Rinascimento non raggiunse picchi come nella filologia o nell'arte.

Un articolo molto ricco di approfondimenti di E. Fenzi è dedicato all'“italianismo” e in un certo senso al “machiavellismo” prima di Machiavelli, principalmente alle opinioni politiche di Dante e Petrarca. L'autore mostra che Dante si sta già allontanando dal repubblicanesimo medievale e nella sua simpatia per l'Imperatore anticipa la futura ricerca di un potere forte per l'Italia. Petrarca, coerente sostenitore dell'ideale romano, è deluso dalla democrazia comunitaria e dichiara che “è più facile abbattere il potere di un solo tiranno che di molti”, riferendosi ai regimi oligarchici come quello fiorentino. La sua collaborazione con i principi, in particolare con Visconti, è dovuta a una profonda comprensione della situazione e alla volontà di agire nei limiti del possibile, senza identificarsi con il regime, cioè in una situazione che ricorda il successivo dilemma affrontato da Machiavelli e Guicciardini. Il patriottismo italiano di Petrarca non era ancora un vero patriottismo nazionale, ma si basava interamente sull'idea romana e su una particolare comprensione della missione storica dell'Italia. L'equilibrio politico della penisola, che divenne un modello ideale per l'ulteriore sviluppo dell'Europa,

e poi del mondo intero, a partire dal XIV secolo, lungi dal raggiungere la maturità, mostrò la sua debolezza.

Il genio di Petrarca, fondatore dell'umanesimo rinascimentale, fu, secondo E. Fenzi, quello di predicare la *translatio studiorum* dalla capitale della scolastica medievale di Parigi alla terra promessa delle scienze antiche in Italia. Il senso di debolezza politica del Paese, che aveva già avuto pieno effetto ai tempi di Machiavelli, si accompagnava alla consapevolezza che il Rinascimento sarebbe diventato un potente impulso allo sviluppo della civiltà europea.

La tragica e paradossale situazione in cui Machiavelli e Guicciardini hanno agito è illustrata negli articoli di M. Simonetta e G. Lettieri. Il primo testo fa riferimento a una “scelta fatale” a favore di un'alleanza con la Francia e contro l'Imperatore, fatta dagli italiani durante le guerre della Lega del Cognac. Questo tema chiave per tale contesto ci porta a sollevare ancora una volta la questione delle alternative nella storia, dell'azione dei fattori esterni e del “ruolo dell'individuo”, delle possibilità di grandi e piccole pezzi sulla scacchiera per predeterminare il risultato del gioco, dell'importanza delle cause esterne, oggettive e ineliminabili e del libero arbitrio, dell'attività ragionevole delle persone, ecc. Indubbiamente la scelta fu fatale per papa Clemente VII dei Medici, che ha sperimentato il saccheggio di Roma nel maggio del 1527 e l'effettiva prigionia che ne seguì, ma si riconciliò con Carlo V e alla fine assicurò alla sua famiglia la supremazia di Firenze. La scelta fu fatale anche per i consiglieri e i collaboratori del Papa, che ne condivisero la decisione e ne furono responsabili in varia misura, tra cui Francesco Guicciardini, Niccolò Machiavelli e il vescovo di Verona Gian Matteo Giberti, di cui scrive M. Simonetta. Giberti ha condiviso la sorte del Papa; Guicciardini, luogotenente degli eserciti papali, ha provato la disgrazia sotto l'ultima repubblica fiorentina e al crollo delle speranze, pur rimanendo il più importante dignitario sotto

l'affermata “tirannia”, e le sue opere postume pubblicate gli hanno portato fama mondiale. Infine, Machiavelli, lacerato da sentimenti e pensieri contraddittori, non riuscì a trovare un posto dopo il colpo di stato antimedicco di Firenze e morì in mezzo agli eventi, quando il futuro della sua città natale e dell'Italia era ancora molto vago. Ma è stato anche benedetto dal destino di una delle più grandi figure della storia della filosofia e del pensiero politico europeo.

Per la valutazione di una scelta, occorre definire il criterio su cui essa si basa. Gli storici di oggi, seguendo le generazioni dei loro predecessori, che tengono conto dei valori che sono stati chiaramente stabiliti nel tempo, procedono dalla comprensione propria a loro delle sfide affrontate dalle persone viventi nel XVI secolo: l'unificazione del Paese, la creazione dello Stato italiano, la liberazione dagli invasori stranieri, e non si può dire che questi obiettivi fossero estranei ai contemporanei degli eventi. Tuttavia, se gli storici hanno il vantaggio di sapere cosa è successo dopo, cosa è avvenuta e quale fu il risultato, allora il vantaggio dei contemporanei e dei partecipanti al gioco è quello di capire, seppur nel modo limitato, le condizioni del problema, e anche la possibilità, ovviamente, limitata, di un'azione reale. La posizione degli storici sembra essere più vantaggiosa, ma in realtà il loro compito – rigiocare e ripensare il passato – è idealmente tanto irraggiungibile quanto la previsione esatta dell'esito degli eventi da parte dei contemporanei. Se gli italiani all'inizio del XVI secolo erano guidati dall'obiettivo di cacciare i “barbari” dalla penisola, se i fiorentini avevano la speranza di preservare il sistema repubblicano nella loro città, questo non è un motivo per caratterizzare a posteriori questi obiettivi e queste speranze come assolutamente utopici, soprattutto perché la comprensione della piccola possibilità della loro realizzazione era presente nei pensatori che stiamo considerando. La condizione e il significato dell'esistenza della storia è che non è predeterminata, e se per gli storici i giochi del

passato sono già stati fatti, per i contemporanei c'è sempre una possibilità e una scelta, e la storia non finisce mai finché esiste l'umanità. Se ora ci addentriamo nel fitto di eventi e circostanze che hanno predeterminato le azioni e le decisioni di chi ha agito nel 1527, ai quali, di fatto, è dedicato l'articolo di M. Simonetta, basato sullo studio di materiali d'archivio già noti e inediti, la tesi ovvia sulla loro scelta fatale diventa un po' meno evidente. A proposito delle diverse conseguenze di questa scelta per ciascuno di essi, e' stato detto sopra, resta da porsi la domanda più difficile: avrebbe potuto essere diversa? Sempre dall'altezza di oggi, la risposta sembra inequivocabile – non potrebbe, e in effetti lo è per uno storico che cerca le ragioni degli eventi già accaduti. Ci sono molti fattori che guidano in modo chiaro o implicito il “libero arbitrio”. Dai documenti moderni, dalle memorie e dai racconti scritti in seguito, si deduce che per i fiorentini, Guicciardini e Machiavelli, salvare Firenze dalle bande aliene era più importante che salvare Roma, e i loro sentimenti avrebbero dovuto essere in gran parte condivisi dal Papa stesso. Per quanto riguarda la scelta effettiva a favore della Francia, che in realtà ha tradito gli alleati, ha agito esclusivamente nel suo stesso interesse, ha ripetutamente ingannato i fiorentini nella storia di Pisa e, come si è scoperto decenni dopo, condannata alla sconfitta nelle Guerre Italiane (sulle quali la storia, ovviamente, non si è fermata, il suo pendolo ancora una volta ha oscillato a favore dei francesi sotto Napoleone e poi è andato oltre), in realtà era in gran parte predeterminata. La tradizionale alleanza di Firenze con i re francesi, il guelfismo antimperiale, l'odio per i nuovi riformatori eretici, la comprensione dei presunti interessi francesi e l'esperienza storica – tutti questi fattori hanno spinto i politici fiorentini a Roma alla decisione che alla fine è stata presa. Ma questo non significa che non abbiano compreso i rischi e le minacce ad essa associati. Una probabilità, anche se si è rivelata molto piccola, c'era. Le qualità dei principali protagonisti hanno

avuto un ruolo significativo, nonostante l'ipotetica predeterminazione degli eventi. M. Simonetta e G. Lettieri, senza negare il cinico realismo inevitabile per i politici del Rinascimento, parlano di una parte di “nobile idealismo” insito nel papa Clemente VII, così come dell'imperatore Carlo V, i “sovrani centauri”. L'idealismo in politica si trasforma o nel collasso o nell'eccessiva crudeltà. In entrambi i casi, come si vede, è successo uno e l'altro. L'imperatore, nonostante la sua fortuna e ogni sorta di qualità utili alla politica, abdicò al trono e divise i suoi possedimenti. Il Papa, in virtù, si potrebbe dire, della sua posizione professionale, portatore degli ideali del regno dei cieli e del Roma caput mundi, subì le più gravi umiliazioni sotto entrambi i punti di vista: la scissione della Chiesa e il saccheggio di Roma caddono sul suo regno.

È stato Machiavelli a capire meglio la vulnerabilità dell'istituzione del papato e l'inutilità della speranza di salvare l'Italia, ma fu appunto il pensiero paradossale del segretario fiorentino a spingerlo a scelte controverse, alle speranze di un nobile tiranno che salva la repubblica, e il capo del cattolicesimo che salva l'Italia. La paradossale e ambigua creatività del Rinascimento italiano si riflette pienamente nell'articolo di G. Lettieri sulla famosa commedia “Mandragola”, dove come “chiave” della sua interpretazione si è proposto un ambiguo testo biblico attribuito al Re Salomone “Cantico dei Cantici”. Il capolavoro teatrale di Machiavelli, come tutte le sue opere, suscita il desiderio dei lettori e degli interpreti di dare la loro interpretazione dei paradossi di “Mandragola”. Ad esempio, nell'Ottocento Pasquale Villari propose una bella formula: “La ‘Mandragola’ è una commedia di quella società, la cui tragedia è il ‘Principe’”, e nel ventesimo secolo G. Ferroni ha spiegato le linee di comportamento degli attori, basandosi sull'idea cardinale di Machiavelli che il successo si raggiunge da chi si sa cambiare e adattarsi alle circostanze, alla “qualità del tempo”. La versione di G. Lettieri

si basa sulla tesi, certamente giusta, che negli anni '20 del XVI secolo, nell'ultima fase della sua vita, l'ex segretario fiorentino riponeva speranze politiche nella Casa dei Medici e nei suoi membri che salirono al soglio pontificio, cercando di avvicinarsi ad essi in ogni modo possibile. Da qui il suo appello ai temi e all'immaginario religioso, così come il suo gioco di allusioni rischiose, la cui presenza nella "Mandragola" è anch'essa innegabile. Una vivida conferma di queste tesi è il ritratto superstita dell'attrice Barbara Raffacani, amante del autore comico e partecipante alle messe in scena, con una pagina di "Cantico dei Cantici" sul tavolo.

Tuttavia, l'ambiguità di Machiavelli non consente un'interpretazione coerente e univoca e suscita riserve, che anche in questo caso si impongono. Soprattutto, le opposizioni archetipiche della giovinezza e della vecchiaia, della vitalità e dell'appassimento, delle potenti forze della natura, giocate nella commedia, sono alla base di quasi tutta la letteratura mondiale, compreso il folklore, con immagini e accenni molto sinceri e persino grezzi. Questi livelli di tradizione sono troppo universali per ridurre la loro influenza solo ai testi e alle interpretazioni religiose nella Chiesa d'Occidente, dove tali motivi (il matrimonio tra il papa e la Chiesa, la mistica somiglianza dell'amore a Dio dell'amore terreno), risalenti ancora particolarmente a certi orientali culti antichi, hanno indubbiamente messo radici, insieme a molti altri. Si può anche convenire che la trama e le immagini della "Mandragora" incarnavano le aspirazioni personali dell'autore, che parlava della "verità e della vera via" predicato da Cristo, e tendeva qui a una specifica interpretazione rinascimentale del Dio-uomo, sottolineandone i tratti vivificanti. Questa interpretazione permette la combinazione di estremi, il passaggio di uno di essi all'altro e, in particolare, i benefici dell'inganno in certe situazioni, anche se fra Timoteo che lo giustifica e' un'immagine pure satirica. Machiavelli e i suoi contemporanei,

lo stesso Guicciardini che rimproverava il papa di non permettere la vendita degli uffici quando era ragionevole e necessario, capivano che era impossibile “seguire sempre la via del bene”. A volte potevano ammirare ingannatori politici come Alessandro VI, suo figlio Cesare o il re Ferdinando il cattolico, ma questi pensatori e, se vogliamo, filosofi (Machiavelli e Guicciardini), chiamavano le cose con il loro nome e sapevano distinguere il bene dal male, con tutta la flessibilità dei loro approcci. In generale, concordando con le numerose argomentazioni di Gaetano Lettieri sulle intenzioni situazionali di Machiavelli, i suoi audaci accenni alla mascolinità del papa e alla fertilità del suo matrimonio con la Chiesa, è impossibile dimenticare le affermazioni opposte del segretario fiorentino, che sono quasi degli stessi anni, sul “voltare la pagina”, se adoperiamo un'immagine tratta dal testo, e sulla “nostra religione” che ha dato il mondo in preda ai scellerati (Discorsi 2, 2) e che l'istituzione stessa del papato impedisce l'unità d'Italia e quindi la sua liberazione dai “barbari”. Le vere contraddizioni della “Mandragola”, in parole povere, si traducono nella sfera del comico.

Le singole sezioni del convegno, e di conseguenza i materiali qui pubblicati, sono state dedicate ad alcuni temi delle opere storiche di Guicciardini e Machiavelli, alla novità dei loro metodi rispetto alla storiografia precedente e ai paralleli con la nuova, nonché alla percezione di questi testi nel futuro. L'articolo della M.I. Dmitrieva racconta come la storia di uno degli stati indipendenti della Toscana, la Repubblica di Siena, si riflette nella “Storia di Firenze” di Niccolò Machiavelli e nella “Storia d'Italia” di Francesco Guicciardini. L'autore osserva che, sebbene entrambi gli storici non abbiano vissuto tanto per vedere la perdita definitiva dell'indipendenza di Siena, con la loro perspicacia hanno intuito le caratteristiche delle sue politiche, la necessità di manovre tra i vicini più forti e le altre forze importanti della penisola, e sulla vulnerabilità interna

associata al costante cambiamento dei regimi interni. Queste caratteristiche sono tipiche anche per gli altri Stati italiani di quest'epoca. Guicciardini, secondo l'autore, sottolinea il ruolo essenziale di Siena nelle vicende del suo tempo, a differenza di Machiavelli, che valutava le azioni dei senesi quasi esclusivamente dal punto di vista della sua nativa Firenze.

L'intervento di O.F. Kudryavtsev riguardava il confronto tra le caratteristiche della storiografia medievale e rinascimentale e si basava sull'analisi delle differenze nella rappresentazione dell'individualità umana nelle opere di alcuni scrittori che rappresentano entrambe le tradizioni. Gli storici medievali, secondo O.F. Kudryavtsev, si limitavano a caratteristiche più astratte e standard, mentre gli storici rinascimentali prestavano maggiore attenzione alle peculiarità di una personalità individuale, pur attenendosi a un certo schema nelle loro descrizioni. In particolare, Machiavelli, riferendosi a Cosimo Medici il Vecchio e a suo nipote, già più volte citato Lorenzo il Magnifico, conferisce loro i tratti di un principe ideale a sua guisa, e indica anche una combinazione di qualità diverse, a volte opposte – qui già si esprime tale proprietà dell'uomo e del pensatore rinascimentale, come il desiderio di libertà interiore e della diversità universale delle scelte.

Anche l'articolo di A.D. Shcheglov traccia alcuni parallelismi tra i metodi storiografici medievali e rinascimentali, e parla pure di Machiavelli, echi del cui pensiero l'autore trova nelle opere di Olaus Petri, familiare sia con gli autori antichi, sia con altre opere eccezionali della sua epoca, come le opere di Erasmo da Rotterdam. A.D. Shcheglov confronta una serie di brani tratti da "Il Principe" e "La cronaca svedese" di Olaus, rivelando una certa somiglianza nelle tesi e nelle argomentazioni. Tuttavia, poiché queste tesi relative all'orientamento del comandante sul campo e all'utilità delle fortezze, spesso erano discusse sia da scrittori antichi, sia da quei rinascimentali, e il trattato di Machiavelli difficilmente

poteva essere direttamente conosciuto da Olaus Petri, che lavorò alla “Cronaca” negli anni '30 del XVI secolo, la questione del prestito, come rilevato dall'autore stesso, necessita di ulteriori ricerche.

P.Yu. Uvarov parla della pratica di utilizzare riferimenti storici in Francia alla seconda metà del XVI secolo prendendo come esempio originale scrittore e giurista dell'epoca di Enrico II Raoul Spiphame. Spifame ha emanato dei decreti riformatori volti a correggere le carenze sociali e scritti come per conto del re. Allo stesso tempo, egli ha fornito argomentazioni storiche, che era un fenomeno comune nelle opere degli avvocati francesi dell'epoca. Secondo l'autore, questa esperienza è stata una delle fonti di sviluppo della storiografia ufficiale, la cui formazione è stata associata a una politica del primo assolutismo. Qui troviamo un parallelo con la storiografia del Rinascimento italiano, di cui si è parlato nella maggior parte delle relazioni del convegno: nella stessa Firenze repubblicana del XV secolo la scrittura delle storie era un dovere onorifico dei Cancellieri, ma anche i monarchi si rivolgevano agli umanisti per tali servizi; ricordiamo, ad esempio, l'opera biografica di Lorenzo Valla, scritta su richiesta del re Alfonso il Magnanimo.

La sezione legata al pensiero storico dell'età di Machiavelli e Guicciardini è stata completata con il saggio di Vasileios Syros il quale non aveva partecipato al convegno nel tempo reale, ma gentilmente ha offerto il suo testo per la nostra raccolta. Questo testo tratta del ruolo di conflitti politici nella caduta degli imperi e delle repubbliche, e della valutazione di esso nelle opere degli autori ebraici della prima metà del Cinquecento Solomon ibn Verga e Samuel Usque. V. Syros trova in questi e alcuni altri scrittori ebraici cruciali elementi dell'interpretazione mondana e naturalistica delle cagioni di eventi storici che sono simili alle intuizioni politiche di Machiavelli, soprattutto riguardanti le cause intrinseche della

rovina degli stati, nonché l'utilizzo degli eserciti altrui e mercenari. L'analisi dei discordi interni a Firenze e a Roma costituisce uno dei temi principali del saggio di V. Syros, come era il caso anche nei testi di T.A. Dmitriev e R. Ruggiero.

Gli interventi di P.V. Sokolov e Yu.V. Ivanova sono stati dedicati alla percezione di Machiavelli nei Paesi Bassi e in Italia nel XVIII secolo. P.V. Sokolov analizza un trattato anonimo "Machiavelli-repubblicano", scritto in risposta ad "Anti-Machiavelli di Federico II e Voltaire", un'opera complessa che in parte in parodia, in parte in forma seria (ma meno indipendente) risponde alle critiche delle opinioni del fiorentino. L'autore dell'articolo affronta la questione della possibile paternità del testo e l'ipotesi che l'autore era il pubblicista E. S. van Burmania. Lascia la questione per ora aperta, e dal rapporto contraddittorio delle tre parti del trattato – la presa in prestito da altri da Machiavelli come ideologo del repubblicanesimo, l'apologia della libertà nazionale e una biografia parodica di "Machiavelli-Printer" P.V. Sokolov trae la conclusione della polifonicità sul fare dei concetti di M.M. Bakhtin.

Infine, Yu.V. Ivanova considera le idee di G.B. Vico sulla religione romana nella loro opposizione alle teorie di Polibio, Plutarco e Machiavelli. Questi tre autori attribuivano ai patriarchi antichi un modo di pensare moderno che permetteva l'interpretazione della religione come strumento puramente politico. Vico, nell'ambito della teoria dell'evoluzione della società che stava sviluppando, mostra che nella sua fase primaria i "padri" agivano come promotori di necessità impersonale, che costringeva, ad esempio, ad offrire sacrifici umani agli dei a causa della brutale univocità delle leggi sociali.

In generale si può concludere che i materiali del convegno illustrano bene la particolarità del periodo di passaggio nello sviluppo della tradizione europea storiografica fortemente influenzata dai fiorentini Niccolò Machiavelli e Francesco

Guicciardini. Tutt'e due erano politici attivi e teorici che componevano i trattati sull'ordinamento di Firenze partendo anche dall'esperienza storica: si appoggiavano alla storia della città natale fino ai tempi attuali. Machiavelli su questa base elaborava una teoria dell'opposizione delle forze sociali, Guicciardini invece nella ricerca di una risposta fino a che punto un uomo può opporsi alle circostanze, alla forza esterna, nei termini del periodo posteriore – alla necessità storica – si rivolge alla storia di tutta la penisola all'epoca delle Guerre d'Italia alle quali hanno partecipato le potenze europee principali.

La storia fin dai tempi più antichi era considerata un genere letterario, ma la sua proprietà sostanziale e il tratto caratteristico consistevano nella ricerca della verità che rimane l'obiettivo della scienza anche nei nostri giorni. La storiografia europea ha fatto lungo cammino dal racconto mitopoetico degli avvenimenti alla ricerca scientifica imitante le scienze "positive" anche nei tentativi di matematizzare e informatizzare suo materiale, benché una parte artistica si ritrova in qualsiasi scienza. Come qualsiasi scienza, la storia non produce le verità definitive in forma definitiva, presta solamente ai posteri e ai ricercatori alimento per pensare dimostrando le cause degli avvenimenti e i motivi delle azioni, sia interni, sia esterni. Gli scrittori rinascimentali seguendo le orme di quelli medievali esaminavano il mondo interiore della persona umana cercando però i suoi motivi e scopi sulla terra e non al cielo. Al mondo esterno a alle costrizioni di esso contrapponevano la virtù dell'individuo che rappresentava pure un dato di fatto, ma il dato interno. Perciò la storia del Rinascimento é il teatro, i drammi e le farse che si ripetono infinitamente, sono le tragedie dei popoli e delle loro guide.

**ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
И РЕНЕССАНСНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ**

I

**LA STORIA DEL SAPERE STORICO E LA
STORIOGRAFIA RINASCIMENTALE**

ВЕЛИКИЕ ФЛОРЕНТИНЦЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ЕВРОПЕ

1. Название данной конференции сфокусировано на понятии научности, точнее научности истории. В сущности, оно могло бы заканчиваться знаком вопроса: появилось ли в историописании Нового времени некоторое новое качество?

Во всяком случае до тех пор история как жанр вряд ли могла претендовать на звание науки, если прилагать сегодняшнее значение слова к предыдущему периоду. В Средние века современному понятию науки могли соответствовать такие слова, как *artes* и *litterae* по традиции, восходящей к античности. В Греции, где зародилась философия, науки в собственном смысле, наверное, не существовало, но оформилось понимание полезности знания для практики и для жизни вообще.

История была жанром, или жанрами (если включить биографии, воспоминания) литературы, повествованием, от которого, однако, в противоположность мифологии требовалось следование истине, достоверность.

В средневековых университетах историю не преподавали в отличие от философии, права, медицины и богословия – она оставалась уделом литераторов и допускала некоторую вольность в рифмованных хрониках, поэмах и эпосах. Тем не менее от составителей анналов и историй требовалось рассказывать правдиво. Истина – это то, что роднит древнюю историографию и современную науку. Разделяет их то, что от науки в современном понимании требуется однозначное и полезное знание, ко-

того история не дает. Эта проблема на Западе решается с помощью деления дисциплин на *sciences and humanities*, но в русском языке, пока он еще существует, этот вариант не работает, наука выступает как универсальное понятие, унаследованное, впрочем, от западного раннего Нового времени.

2. Как бы то ни было, перемены произошли, и можно говорить по крайней мере об эволюции исторического знания, поскольку это более нейтральная и менее спорная формулировка. Несомненно, что Макиавелли и Гвиччардини, несмотря на разные оценки их наследия, повлияли на развитие историописания Нового времени и их труды стали своего рода переломным моментом в его эволюции.

Поэтому я скажу о нескольких вещах, которые представляются мне заслуживающими обсуждения в рамках данной (нашей) темы: о развитии исторического знания преимущественно в Западной Европе и в мире, и о роли ренессансной Италии в этом контексте.

Предварительно следует заметить, что речь идет о европейской традиции, которая приобрела в Новое время общемировое влияние, но все же не была ни единственной, ни, возможно, безальтернативной. Если исходить из универсалистских позиций и признавать, что развитие человечества шло по единой и закономерной линии, то уместно вспомнить средневековый принцип *translatio*, который использует и Макиавелли, говоря о сумме добра и зла в мире¹.

¹ *E pensando io come queste cose procedino, giudico il mondo sempre essere stato ad uno medesimo modo, ed in quello essere stato tanto di buono quanto di cattivo; ma variare questo cattivo e questo buono, di provincia in provincia: come si vede per quello si ha notizia di quegli regni antichi, che variavano dall'uno all'altro per la variazione d'è costumi; ma il mondo restava quel medesimo. Discorsi, II, Introduzione.*

Почему в этом контексте важны именно флорентийские историки? Во Флоренции зародился и получил блестящее развитие Ренессанс, который стал, во-первых, возрождением античной греко-римской культуры, словесности, натурфилософии, искусства. Во-вторых, он наследовал и христианскому Средневековью, христианство же родилось из сочетания условно западной греческой традиции – философии, полисной демократии, и восточной – монотеистического иудаизма. В римской культуре также сочетались греческая и восточная традиции, а ренессансная Италия стремилась наследовать Риму. От древности гуманизм унаследовал тягу к рациональному объяснению мира и открытость разным веяниям. Гуманисты полагали, что истина и благо совпадают, то есть что мир рационален. Бог, таким образом, поступал всегда разумно, а все разумное было благом.

Эта идея близка и Августину Блаженному – все сущее есть истина и благо², а затем Г. Гегелю, который, говоря о Платоне, выразил ее в афоризме «что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно»³. Макиавелли и Гвиччардини несколько отходят, впрочем, от таких утверждений.

3. Важнейшее для истории нововведение Ренессанса – это перешедшая к нам периодизация всемирно-

Сочинения Макиавелли цит. по электронному изданию: *Machiavelli N. Raccolta di opere. I Edizione IntraText* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intratext.com/IXT/ITA1109/> (Дата обращения: 10.05.2020), основанному на публикации *Machiavelli N. Tutte le opere. Firenze, 1971.*

² «Всё существующее истинно, поскольку оно существует». *Аврелий Августин. Исповедь* / Пер. М.Е. Сергеев. М., 1992. С. 191 (кн. 7, 15).

³ *Гегель Г. В. Ф. Философия права. Предисловие автора* // Он же. *Сочинения* / Пер. Б.Г. Столпнера. М.; Л., 1934. Т. VII. С. 15.

исторического процесса. Хотя в начале XVI в. она еще не сложилась, признание Нового времени (*modernità*) равноценным Древности было первым шагом к отступлению от господствовавшего в Средние века приоритета старины. Этот шаг сделан в рамках старой, циклической парадигмы, но он ведет к главной для Нового времени погоне за новизной. У Макиавелли мы находим высказывание о готовности искать новые способы и порядки⁴ и даже некоторое оправдание *res novae*, революций, которое превосхищает будущие социальные теории.

Противопоставлением двух эпох – Средних веков и Нового времени, мы обязаны в конечном счете именно Ренессансу. Сегодня преобладает точка зрения, восходящая еще к К. Бурдаху и П. Дюгему, что Ренессанс не сильно порывал с прошлым, с религиозным сознанием, даже с Церковью, а тем более с традиционными способами мышления.

Я буду придерживаться тезиса о переходности Возрождения – оно было новаторским, но в рамках старой парадигмы, когда новое, как это бывает почти всегда в эволюционных процессах, зарождается внутри старого, начинает подтачивать изнутри то в нем, что себя изжило.

4. Если перейти теперь к истории как науке, то у рассматриваемых авторов можно заметить как раз неброское сочетание разных элементов прошлого и намечающегося будущего.

– Сначала о некоторых чертах, характеризующих обстоятельства написания исторических трудов. По традиции эту задачу во Флоренции возлагали на канцлеров республики и полученное Макиавелли поручение эту традицию продолжило. Это подтверждает, что Медичи,

⁴ Discorsi... I, I.

по меньшей мере Климент VII, его все же ценили⁵. Гвиччардини занимал более высокие посты, но написал историю по своему почину. Это было также своего рода продолжение традиции, восходящей к Средним векам, когда высокопоставленные политики на досуге подводили итоги своего времени. Гвиччардини еще в молодости, в 1509 г., 510 лет тому назад, написал «Историю Флоренции», что подтверждает значимость, которую придавали истории, прошлому, своему происхождению образованные люди колыбели Ренессанса. (Об этом свидетельствуют и записки купцов, у Гвиччардини также была семейная хроника такого рода – *Memorie di famiglia*).

Гвиччардини писал «Историю Италии» после Макиавелли, с «Историей Флоренции», изданной в 1532 г., он должен был быть знаком, но он ставил перед собой в конце жизни уже более обширную задачу. В «Истории Италии» нет отсылок к истории Макиавелли, но можно найти некоторые следы возможного знакомства с мнениями его приятеля, например, в рассказе о Савонароле⁶.

– Оба флорентийских политика обращались к истории с прагматическими целями извлечения из нее уроков, но

⁵ Кстати, Медичи, вопреки распространенному в свое время мнению, не остались глухими к идеям, высказанным в «Государе», и при папе Льве X и его племяннике Лоренцо ди Пьеро, пытались идти по пути, к которому призывал Макиавелли в своем трактате, в частности, установив власть над Урбино. Но их усилия оказались тщетными.

⁶ *Гвиччардини Ф.* История Италии / Пер. М.А. Юсима. М., 2018. Т. 1. Кн. 2, гл. 2, 7; кн. 3, гл. 13, 15. См. также: *Юсим М.А.* Савонарола-реформатор в «Истории Италии» Франческо Гвиччардини // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2018. Т. 9. Выпуск 9 (73) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей.

URL: <https://history.jes.su/s207987840002480-7-1/> (дата обращения: 12.07.2019).

не столько нравственных поучений, сколько практических выводов о наилучшем устройстве современной им Флоренции. Оба желали в том или ином виде сохранить республиканское правление. Макиавелли, в частности, предлагал Льву X в 1520 г., ровно 500 лет тому назад, преобразовать республиканские институты в духе подконтрольного ему и кардиналу Джулио Медичи (в дальнейшем Климент VII) правительства, но с соблюдением интересов всех групп, грандов, оптиматов и народа, *l'universale* («Рассуждение о делах Флоренции», *Discursus florentinarum rerum*, другие названия *Discorso sopra il riformare lo Stato di Firenze*, *Discorso delle cose fiorentine dopo la morte di Lorenzo*)⁷. Гвиччардини в своих работах («Рассуждение в Логроньо», *Discorso di Logrogno*, 1512; «Диалог об управлении Флоренцией», *Dialogo del Reggimento di Firenze*, 1521–1526) склонялся к созданию структуры, обеспечивающей правление «лучших», наиболее опытных граждан, по сути оптиматов. Оба теоретика оставались по своим симпатиям республиканцами и искали выход в смешанном правлении, удовлетворяющем потребности всех социальных групп. Оба ощущали также опасность или даже неизбежность перехода к «дурной форме» монархии.

– Жанр. По жанру оба основных рассматриваемых мной сочинения («История Флоренции» Макиавелли и «История Италии» Гвиччардини) являются аналитическим рассказом о прошлом, хотя первая посвящена прошедшим делам, а вторая – фактически современности.

⁷ См.: *Black R. Machiavelli's Istorie Fiorentine: humanist historiography and political reform // Перечитывая Макиавелли. Идеи и политическая практика через века и страны = Rileggendo Machiavelli. Idee e la pratica politica attraverso paesi e secoli. М., 2013. Р. 138.*

История Гвиччардини начинается с того момента, когда история Макиавелли завершилась.

– Подбор и критика источников. Она была и раньше, но она усилилась у Гвиччардини, который придавал первостепенное значение достоверности передаваемых сведений. Он иногда указывает на источники своих сведений и сопоставляет разные версии. В Новое время флорентийский историк подвергся критике со стороны Л. фон Ранке⁸, который упрекает его как раз в присущих Средним векам недостатках – в некритическом пересказе источников и изложении по годам. Но эти упреки несправедливы, Гвиччардини был в действительности провозвестником того направления исторической критики, основателем которого считается Ранке, и в своей оценке «Истории Италии» последний сам недостаточно историчен⁹.

– Нужно упомянуть о самом простом и прямом влиянии Макиавелли и Гвиччардини на более позднюю историографию – об элементарном следовании отбору событий и отчасти их оценкам у этих двух авторов. (При этом у Гвиччардини есть факты, нигде больше не встречаю-

⁸ «Внедрение критического подхода к источникам в обиход исторической науки стало важнейшим достижением Ранке. Своей ранней известностью и карьерой он обязан безжалостному разоблачению научных ошибок Гвиччардини...». *Том Дж.* Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.Л. Коробочкин; ред. В.А. Русев. М., 2000. С. 85.

⁹ *Fueter E.* Geschichte der neueren Historiographie. München; Berlin, 1911. S. 71. «Тот, кто не знает труда Гвиччардини, вынесет из отзывов Ранке впечатление, что речь идет о неловкой и недобросовестной компиляции, в то время как ни один современный ему историк не сравнится с Гвиччардини в тщательном и критическом использовании источников».

щиеся, – об обетах Карла при Форново, о роли Маддалены Медичи в продаже индугенций)¹⁰.

– Интерес к вопросу о национальных монархиях, проявленный у Макиавелли особенно в «Государе», у Гвиччардини, помимо его полемики с последним, ознаменован переписыванием «Хроники» Фруассара, фактически рассказывающей о первой войне за национальную независимость в Европе.

– Поиск скрытых пружин истории. Это один из ключевых признаков любой науки, наука занимается выявлением неочевидного. Другими словами, это вопрос об объяснении истории, притом объяснении, основанном не столько на описании стремлений и поступков отдельных лиц и групп, сколько на поиске более глубоких причин, предопределяющих результаты этих поступков.

Здесь первое, что приходит в голову, это, конечно, сверхъестественное начало, Бог в истории, который в Средние века безраздельно в ней господствовал, хотя не всегда вмешивался, а в Новое время совершенно ее покинул. У Макиавелли и Гвиччардини Бог (вместе с духами) остается как предполагаемый действующий фактор истории, но оттесняется на задний план природой, фортуной и повторяющимся круговоротом событий.

В дальнейшем, как мы знаем, в качестве внутренних пружин истории стали выступать прогресс, классовая борьба, взаимоотношения с географической средой (было распространено в период Ренессанса), интересы групп, опосредованно действующие через политические и экономические структуры и не всегда осознаваемые, как подсознательные импульсы в психоанализе.

¹⁰ Гвиччардини Ф. История Италии... Т. 1. Кн. 2, гл. 9; Кн. 3, гл. 6; Т. 2. Кн. 13, гл. 15.

Несоответствие целей и результатов в истории в Средние века понималось как неисповедимость Божьего промысла – справедливое воздаяние гарантируется только в загробном мире. Макиавелли занимает вопрос, почему людям редко удается добиваться успеха, – его ответ: потому что они следуют своей природе, а обстоятельства меняются. Если бы люди могли знать все обстоятельства, они управляли бы звездами, но так не бывает¹¹. Особенно Гвиччардини в споре со своим другом настаивает на неповторимости ситуаций и обстоятельств¹². В сущности, это вариант вопроса о том, какие внешние силы управляют людьми, и о том, почему и каким образом происходит подмена целей – вопрос, присутствующий во всех вышеупомянутых объяснениях истории. В качестве примера можно назвать знаменитую «невидимую руку рынка» А. Смита, а также теории объективных целей В. Парето и В. Вундта. (В средневековых историях, например, у Дж. Виллани, речь в таких

¹¹ «Поистине, – говорит Макиавелли, кто был бы настолько умен, чтобы постичь все времена и положения и приспособиться к ним, тому всегда везло бы, или он избегал хотя бы неудач, тогда сбывлась бы поговорка, что мудрый командует звездами и роком. Но поскольку таких мудрецов не видно, в силу людской близорукости и неумения подчинить себе собственную природу, судьба непостоянна и распоряжается людьми, она держит их под игмом». Письмо к Джованбаттисте Содерини, сентябрь 1506 г. («Фантазии, адресованные Содерини»). См.: Юсим М.А. Письмо с необычной судьбой (I ghiribizzi al Soderini) // Культура и общество Италии накануне Нового времени. М., 1993. С. 176.

¹² «Невозможно поступать в жизни всегда по одному твердому и безусловному правилу... надо действовать, различая свойства людей, обстоятельств и времени; для этого необходимо чутье, но если его нет от природы, то научиться ему по опыту можно лишь очень редко, по книгам же – никогда». *Гвиччардини Ф.* Заметки о делах политических и гражданских, 186 // Он же. Сочинения / Пер. М.С. Фельдштейна. М., 1934. С. 166.

случаях идет о человеческой слепоте или неразумии, посланных Богом¹³).

В последнюю очередь я бы хотел сказать о том, с чего можно было бы начать, и с цитаты, которую я поставил эпиграфом к Введению в перевод «Истории Италии» Гвиччардини: «Правильное суждение затруднено, т.к. <...> люди отвыкли называть вещи их истинными именами и утратили способность правильно их оценивать» («essendo perduti i veri vocaboli delle cose, e confusa la distinzione del pesarle rettamente»)¹⁴. В таком виде она несколько оторвана от контекста, но все цитаты, которые становятся крылатыми фразами, оторваны от контекста. На деле автор говорил о том, что реальный папа (Юлий) по своей воинственности не соответствует чину главы Церкви, но его поступки люди одобряют. Эта фраза, на мой взгляд, заслуживает тем не менее того, чтобы стать блестящим афоризмом, ведь сегодня не менее часто слова употребляются даже образованными и учеными людьми механически, без размышлений над их смыслом. Рассуждения о словах, об их неоднозначности, о правильности их употребления сегодня, наверное, не являются главным трендом в научной истории, но они должны были быть в центре внимания. Слова в современном политкорректном мире затемняют смысл еще больше, чем прежде. Мысль заменяется вывеской. А историк, как и все люди, думает словами и поэтому должен думать над словами (которые он использует).

¹³ *Виллани Дж.* Новая Хроника, или История Флоренции / Пер. М.А. Юсима. М., 2019 (2-ое изд.). Кн. 6, гл. 79; кн. 7, гл. 7; кн. 8, гл. 56; кн. 9, гл. 214 и др.

¹⁴ *Гвиччардини Ф.* История Италии... Кн. 11, гл. 8.

Mark A. Youssim
L'Istituto di storia universale
dell'Accademia Russa delle scienze

I GRANDI FIORENTINI E L'EVOLUZIONE DELLA CONOSCENZA STORICA IN EUROPA

1. Il titolo del presente convegno è focalizzato sul concetto della scientificità, o più precisamente della scientificità della storia. In sostanza, vi si potrebbe mettere il punto interrogativo: davvero la storiografia dell'Età moderna è caratterizzata dalla qualità radicalmente nuova?

Ad ogni modo prima di quest'epoca è poco probabile che la storia come genere possa pretendere di chiamarsi una scienza, se la parola scienza nel senso volutamente moderno è applicabile al periodo precedente. Nel medioevo al concetto attuale della scienza potevano in parte corrispondere le parole come "artes" o "litterae" secondo la tradizione risalente all'antichità. In Grecia, dove nacque la filosofia, la scienza nel senso proprio probabilmente non esisteva, ma si formò la comprensione dell'utilità della conoscenza per la pratica e per la vita in generale.

La storia era un genere o un insieme di generi (se includiamo anche le vite, le memorie) letterari, una narrazione dalla quale però, in contrasto alla mitologia, si chiedeva la verità fattuale, l'attendibilità. Nelle università medievali la storia non era insegnata a differenza della filosofia, diritto, medicina e teologia: rimaneva il destino dei letterati e ammetteva una certa licenza nelle cronache rimaste e nelle canzoni di gesta. Ciononostante gli autori degli annali e delle storie dovevano raccontare i fatti veridicamente. La verità è la cosa che riunisce la storiografia antica e la scienza moderna. La differenza sta nel fatto che dalla scienza nel senso moderno, la scienza della natura, si richiede la

conoscenza utile e univoca, la quale non è propria alla storia. Questo problema all'Occidente si risolve tramite la divisione delle discipline in sciences e humanities, ma in lingua russa questa variante non funziona perché la scienza («наука») viene considerata come un concetto universale, risalente, d'altronde, ai primi tempi moderni occidentali.

2. Comechessia le trasformazioni erano avvenute e si può parlare perlomeno dell'evoluzione della conoscenza storica: questa è una formulazione più neutrale e meno discutibile. Non c'è dubbio che Machiavelli e Guicciardini, indipendentemente dalle valutazioni diverse del loro patrimonio, hanno influenzato la storiografia dell'età moderna e le loro opere diventarono un punto di svolta nell'evoluzione di essa.

Perciò dirò di alcune cose che meritano, secondo me, di essere trattati nell'ambito del nostro tema: lo sviluppo della conoscenza storica prevalentemente in Europa Occidentale e nel mondo, e il ruolo dell'Italia rinascimentale in questo contesto.

In via preliminare bisogna osservare che si parla della tradizione europea la quale ha acquisito nell'età moderna un'importanza mondiale, ma non era d'altronde né unica, né probabilmente incontrastata. Se accetteremo il punto di vista dell'universalismo e riconosceremo l'uniformità dell'evoluzione umana secondo le leggi oggettive, si può ricordare il principio medievale della *translatio*, di cui parla anche Machiavelli riflettendo sul bilancio di buono e cattivo nel mondo¹.

¹ E pensando io come queste cose procedino, giudico il mondo sempre essere stato ad uno medesimo modo, ed in quello essere stato tanto di buono quanto di cattivo; ma variare questo cattivo e questo buono, di provincia in provincia: come si vede per quello si ha notizia di quegli regni antichi, che variavano dall'uno all'altro per la variazione d'è costumi; ma il mondo restava quel medesimo. Discorsi, II, Introduzione.

Perché proprio gli storici fiorentini sono di prima importanza in questo contesto? A Firenze era nato e si sviluppò nel modo brillante il Rinascimento, il quale diventò, in primo luogo, la ripristinazione della cultura antica greco-romana, delle lettere, della filosofia della natura, delle arti. In secondo luogo, era l'erede del medioevo cristiano, e cristianesimo nacque dalla riunione della tradizione convenzionalmente occidentale, quella greca, cioè la filosofia, la democrazia di polis, e di quella orientale, cioè del giudaismo monoteistico. La cultura romana pure combinava la tradizione greca e quella orientale, e Italia rinascimentale cercava di imitare Roma. Dall'antichità l'umanesimo ereditò la tendenza alla comprensione razionale del mondo e l'apertura alle diverse correnti del pensiero. Gli umanisti credevano che la verità e il bene coincidono, cioè che il mondo è razionale. L'Iddio, quindi, agiva sempre secondo la ragione, e tutto il ragionevole era buono. Questo concetto è vicino anche a Sant'Agostino che trovava nel tutto esistente la verità e il bene², e all'età nuova a G. Hegel, il quale parlando di Platone, lo esprime nell'aforismo: "Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale"³. Machiavelli e Guicciardini sono però abbastanza lontani da tali affermazioni.

Cito le opere di Machiavelli dal sito elettronico: *Machiavelli N.* Raccolta di opere. L'Edizione IntraText.

URL: <http://www.intratext.com/IXT/ITA1109/> (Data di riferimento 10.05.2020). Fonte: Niccolò Machiavelli. Tutte le opere. Firenze, 1971.

² Omnia vera sunt in quantum sunt. Confessiones. 7.15.21. URL: <http://www.thelatinlibrary.com/augustine/conf7.shtml>

³ «was vernünftig ist, ist wirklich und was wirklich ist, ist vernünftig». *Hegel G.W.F.* Werke. Bd. VIII. Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse / Hrsg. von Dr. E. Gans. Berlin, 1833. S. 17. URL: <https://ia800206.us.archive.org>.

3. Una delle più importanti innovazioni del Rinascimento è la periodizzazione del processo storico mondiale sopravvissuta fino a noi. Anche se all'inizio del XVI non si era ancora formata, il riconoscimento della modernità come un equivalente dell'Antichità diventò il primo passo alla recessione dalla priorità dell'antico che predominava nel medioevo. Questo passo era fatto all'interno del vecchio paradigma ciclico, ma porta verso la corsa alle novità, caratteristica per i tempi moderni. Machiavelli infatti parla del suo desiderio di cercare nuovi modi e ordini⁴ ed esprime anche una certa giustificazione delle *res novae*, delle rivoluzioni, la quale anticipa future teorie sociali.

L'opposizione delle due epoche, il medioevo e l'età nuova è in fin dei conti il nostro obbligo al Rinascimento. Oggi prevale il punto di vista risalente ancora a K. Burdach e P. Duhem, che il Rianscimento in sostanza non rompeva con il passato, con la coscienza religiosa, nemmeno con la Chiesa e tanto più con i modi di pensare tradizionali.

Io mi terrò della tesi sulla transività del Rinascimento, il quale era innovativo, ma nell'ambito del paradigma vecchio, quando il nuovo, come quasi sempre nei processi evolutivi, nasce all'interno del vecchio, comincia a erodere quello che diventò anacronistico.

4. Ora se passeremo alla storia come scienza, noteremo negli autori che stiamo considerando, appunto una combinazione discreta dei diversi elementi del passato e del futuro che si accennava.

⁴ Ancora che, per la invida natura degli uomini, sia sempre suto non altrimenti pericoloso trovare modi ed ordini nuovi, che si fusse cercare acque e terre incognite, per essere quelli più pronti a biasimare che a laudare le azioni d'altri; nondimanco, spinto da quel naturale desiderio che fu sempre in me di operare, senza alcuno rispetto, quelle cose che io creda rechino comune beneficio a ciascuno, ho deliberato entrare per una via... Discorsi, I, I.

– Prima dirò di alcuni tratti caratterizzanti le circostanze della creazione delle opere storiche. Machiavelli continuò la tradizione delle commissioni di tali opere ai cancellieri di Firenze. È una conferma del fatto che Medici, almeno Clemente VII, nonostante tutto lo apprezzavano⁵. Guicciardini aveva gli incarichi più alti, ma scrisse la sua storia per iniziativa personale. Era pure la continuazione *sui generis* di una tradizione medioevale, quando i politici altolocati nel tempo libero facevano il bilancio di loro tempi.

Essendo ancora giovane, nel 1509, 510 anni fa, Guicciardini scrisse una storia di Firenze, ciò che conferma l'importanza che attribuivano alla storia, al passato, alle loro origini le persone istruite della culla del Rinascimento. (Un'altra testimonianza ne sono i libri di ricordi dei mercanti, anche F. Guicciardini ha creato una cronaca familiare di questo tipo, le Memorie di famiglia).

Guicciardini scriveva la Storia d'Italia dopo Machiavelli, doveva conoscere le Istorie fiorentine pubblicate nel 1532, ma si poneva, alla fine del suo percorso terrestre, un obiettivo più universale. Non vi sono i riferimenti all'opera di Machiavelli, ma si può trovare alcune tracce della possibile conoscenza delle opinioni del suo amico, per esempio nel racconto di Savonarola⁶.

– Ambedue politici fiorentini si rivolgevano alla storia con gli scopi prammatici di estrarne le lezioni, ma non già le istruzioni morali, invece le conclusioni pratiche sul migliore modo di riordinare il governo della Firenze contemporanea. Machiavelli, in particolare, nel 1520–1521, precisamente

⁵ A proposito, i Medici, al contrario dell'opinione un tempo corrente, non rimasero del tutto sordi alle idee espresse nel “Principe” e viventi ancora il papa Leone X e il suo nipote Lorenzo di Piero cercavano di seguire la strada accennata da Machiavelli nel suo trattato, in particolare, appropriandosi di Urbino. Ma i loro sforzi si rivelarono vani.

⁶ *Guicciardini F. Storia d'Italia. 2–2, 2–7; 3–13, 3–15.*

500 anni fa, ha proposto a Leone X di trasformare gli istituti repubblicani nel governo sotto controllo del papa e del cardinale Giulio Medici (il futuro Clemente VII), però soddisfacendo agli interessi di tutti i gruppi, quelli dei grandi, degli ottimati e del popolo, “l’universale” (*Discursus florentinarum rerum*, altrimenti *Discorso sopra il riformare lo Stato di Firenze, Discorso delle cose fiorentine dopo la morte di Lorenzo*)⁷. Guicciardini delle sue opere (*Discorso di Logrogno*, 1512; *Dialogo del Reggimento di Firenze*, 1521–1526) tendeva alla creazione di una struttura che assicurerebbe il governo dei “migliori”, in sostanza degli ottimati. Tutt’è due pensatori rimanevano per le loro simpatie repubblicani e cercavano un’esito della situazione di allora nel governo misto soddisfacente alle esigenze di tutti i gruppi sociali. E tutt’è due sentivano anche il pericolo o addirittura la necessità del passaggio alla forma trista di monarchia (Discorsi, III, 8).

– Secondo il genere tutt’è due opere in oggetto (“*Istorie fiorentine di Machiavelli*” e la “*Storia d’Italia*” di Guicciardini) sono la narrazione analitica del passato, benché è la prima è dedicata alle cose scorse, invece la seconda di fatto più al presente. Ma la storia di Guicciardini comincia dal momento dove quella di Machiavelli ha finito.

– La scelta e la critica delle fonti. Esisteva anche prima, ma era aumentata da Guicciardini perché attribuiva la prima importanza alla veridicità delle informazioni riportate. Alle volte indica anche le sue fonti e confronta diverse versioni. L. von Ranke⁸ il quale lo rimprovera appunto di mantenere

⁷ V. Black R. Machiavelli’s *Istorie Fiorentine*: humanist historiography and political reform // Rileggendo Machiavelli. Idee e la pratica politica attraverso paesi e secoli = Перечитывая Макиавелли. Идеи и политическая практика через века и страны. М., 2013. P. 138.

⁸ “The introduction of a critical approach to the sources into mainstream history writing was Ranke’s most important achievement. He owed his

gli usi antiquati del medioevo: la riproduzione acritica delle fonti e l'esposizione per la successione degli anni. Ma queste affermazioni sono ingiuste, Guicciardini era in realtà predecessore di quella direzione della critica storica, il fondatore della quale è considerato Ranke e quest'ultimo nella sua valutazione della "Storia d'Italia" non si dimostra un vero storicista, cioè rimane poco fedele all'approccio sentitamente storico⁹.

– Bisogna menzionare anche l'influenza più diretta e semplice di Machiavelli e Guicciardini sulla storiografia successiva: l'imitazione elementare della selezione degli avvenimenti e in parte dei giudizi di due autori. (D'altronde, Guicciardini cita i fatti che non si trovano nelle altre fonti, ad es., sui voti di Carlo ottavo presso Fornuovo, sul ruolo di Maddalena de' Medici nella vendita delle indulgenze)¹⁰.

– L'interesse alla questione della monarchia nazionale dimostrato da Machiavelli soprattutto nel "Principe", presso Guicciardini, a parte le sue polemiche con questi, è segnato nella trascrizione della *Cronaca* di J. Froissart dove si narra la storia della prima guerra per l'indipendenza nazionale in Europa.

early fame and promotion to a merciless expose of Guicciardini's faults as a scholar". *Tosh J.* The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of modern history. 5th Ed. London e. o., 2010. P. 123; *Fueter E.* Geschichte der neueren Historiographie. München; Berlin, 1911. S. 71: «Die moderne Auffassung von Guicciardini's Istorica ist bestimmt worden durch den Aufsatz, mit dem Ranke seine Schrift Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber (1824) eröffnete. Sie ist dadurch in ganz falsche Bahnen geleitet worden».

⁹ "Wer Guicciardinis Werk nicht kennt, wird aus Rankes Darstellung den Eindruck einer ungeschickten und unredlichen Kompilation empfangen, während doch kein zeitgenössischer Historiker G. an sorgfältiger und kritischer Benutzung des Quellenmaterials gleichkommt". *Fueter E.* Geschichte der neueren Historiographie... S. 71.

¹⁰ *Guicciardini F.* Storia d'Italia... 2–9, 3–6; 13–15.

– La ricerca delle molli nascoste della storia. È uno dei tratti chiave di qualsiasi scienza perché qualsiasi scienza si dedica all'evidenziamento delle cose non evidenti. In altre parole è la questione della spiegazione storica, peraltro la spiegazione fondata non tanto sulla descrizione degli appetiti e azioni di singole persone e gruppi, quanto sulla ricerca delle cagioni più profonde, che predeterminano i risultati di queste azioni.

La prima cosa che viene in mente è ovviamente il principio sovranaturale, l'Iddio nella storia, il quale nel medioevo la dominava incontestatamente, anche se non sempre interveniva direttamente nell'andamento delle cose, e nell'età nuova la abbandonò definitivamente. Nel Machiavelli e Guicciardini il dio (insieme con gli spiriti) rimane come un fattore attivo presupposto nella storia, ma viene respinto in retroscena dalla natura, la fortuna e la circolazione iterativa degli avvenimenti.

In seguito, come sappiamo, in veste delle molli interne della storia si vedeva il progresso, la lotta di classe, i rapporti con l'ambiente geografico (l'idea non estranea al Rinascimento), gli interessi di gruppo operanti indirettamente attraverso le strutture politiche ed economiche e non sempre concepiti, a modo degli impulsi subconsci in psicanalisi.

La discordanza dei fini e dei risultati nella storia nel medioevo era compresa come l'inscrutabilità della provvidenza divina: la ricompensa giusta è prevista soltanto nel mondo dell'oltretomba. Machiavelli si pone la domanda: perché gli uomini di rado ottengono il successo, la sua risposta è: perché non mutano la loro natura, e le circostanze invece si cambiano. Se l'uomo potesse conoscere tutte le

circostanze, sarebbe in grado di guidare le stelle, ma così non succede¹¹.

È Guicciardini che polemizzando con il suo amico insiste soprattutto sulla singolarità delle situazioni e delle occorrenze¹². In sostanza è una variante del problema delle forze esterne che governano la condotta umana e del perché e del come avviene la sostituzione degli obiettivi, in particolare, nella mente umana – la domanda presente in tutte le spiegazioni della storia sopraccitate. A titolo d'esempio si può annoverare la famosa “mano invisibile del mercato” di A. Smith, oppure le teorie degli scopi oggettivi (l'eterogenesi dei fini) di W. Pareto e W. Wundt¹³.

Per ultimo vorrei riportare una citazione con la quale si potrebbe cominciare e la quale ho messo come epigrafo alla mia *Prefazione* della traduzione in russo della “Storia d'Italia” di Guicciardini. “[Il giudizio diventa poco corretto] essendo perduti i veri vocaboli delle cose e confusa la

¹¹ “E veramente chi fussi tanto savio, che conoscessi e' tempi e l'ordine delle cose et accomodassisi a quelle, arebbe sempre buona fortuna o e' si guarderebbe sempre da la trista, e verrebbe ad essere vero che 'l savio comandassi alle stelle et a' fati. Ma perché di questi savii non si truova, avendo li uomini prima la vista corta e non potendo poi comandare alla natura loro, ne segue che la fortuna varia e comanda a li uomini, e tiegli sotto el giogo suo”. *Machiavelli N. I ghiribizzi al Soderini*.

URL: <http://www.treccani.it/enciclopedia/ghiribizzi-al-soderino> (Data di riferimento : 11.07.2019).

¹² *Guicciardini F. Scritti politici e Ricordi / A cura di R. Palmarocchi*. Bari, 1933. “Non si può in effetto procedere sempre con una regola indistinta e ferma... bisogna procedere distinguendo la qualità delle persone, de' casi e de' tempi, ed a questo è necessaria la discrezione, la quale se la natura non t'ha data, rade volte si impara tanto che basti con la esperienza; co' libri non mai”. 186.

¹³ Nelle teorie medioevali, ad es. G. Villani, questo problema si risolve come accecamento o la perdita della ragione nell'uomo per volontà di Dio (*Villani G. Nuova Cronaca*. 6–79, 7–7, 8–56, 9–214 ecc.).

distinzione del pesarle rettamente”)¹⁴. Qui è strappata dal contesto, ma tutte le citazioni che diventano celebri aforismi, sono in parte strappate dal contesto. In realtà l’autore dice che le bellicose azioni del papa Giulio II non corrispondevano al suo titolo del capo della Chiesa, ma era lodato lo stesso. In ogni caso questa citazione mi sembra degna di diventare un aforismo brillante universale, perché oggi le parole vengono non meno spesso utilizzate anche da persone istruite e dotte nel modo meccanico, senza penetrare nel senso di esse. I ragionamenti sulle parole, sull’ambiguità e sulla regolarità dell’uso di esse forse non sono oggi il trend principale nella storia scientifica, ma lo dovrebbero essere. Le parole nel mondo odierno della correttezza politica adombrano il senso ancora più che prima. Il pensiero viene sostituito dalla insegna. Lo storico, comunque, come tutti gli uomini, pensa tramite parole, perciò deve pensarci sopra le parole che usa.

¹⁴ *Guicciardini F. Storia d’Italia...* 11–8.

*О.Ф. Кудрявцев,
Московский государственный институт
международных отношений*

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХРОНОГРАФИИ В ИХ СООТНЕСЕНИИ С ИСТОРИОГРАФИЕЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Несомненно, между тем, как писалась история в средние века и в эпоху Возрождения, заметна существенная разница, хотя, похоже, несколько преувеличенная исследователями. Различия видны и в манере подачи материала, и в изображении исторических событий и персонажей, и в глубинных мировоззренческих установках авторов.

О чем бы ни повествовал средневековый хронист, например, Салимбене де Адам, он всегда пытается соотнести рассказанное им с выдержками из Священного Писания или известными ему сочинениями святых отцов, используя их то ли как поясняющий комментарий к описываемым событиям, то ли самими этими событиями иллюстрируя сакральные тексты. Для ренессансных историографов – Макиавелли и Гвиччардини в частности – подобное соотнесение начинает утрачивать смысл, ибо мирская жизнь и история приобретают самостоятельный интерес, превращаясь в сферу преимущественной ответственности человека. Они не рассматриваются уже как поле битвы противоположных метафизических начал, в которой человек выступает и объектом борьбы, и ее орудием. Ибо сам человек воспринимается как субъект, вершитель истории, который

в противоборстве с фортуной, или миром подвижного наличного бытия¹, обнаруживает свою доблесть.

В средневековых исторических сочинениях человеку, конкретному человеку, уделяется мало внимания. Ибо для средневековых историописателей гораздо важнее его социальное положение и в его характеристиках сообщается о соответствии или несоответствии тому набору нравственных достоинств, которые полагается ему иметь по статусу. О каких-то особых чертах конкретного человека речи нет.

Хорошей иллюстрацией может служить знаменитая «Хроника» упомянутого выше францисканского монаха Салимбене де Адам, или Салимбене Пармского, созданная в последней четверти XIII в. Как и другие средневековые писатели, Салимбене всякое частное пытался соотносить с общим, указать в нем черты, свойственные некоему классу явлений; человек в его описании типизирован, выступает прежде всего как социально определяемый субъект². Ни о каком рождении индивидуальности, ни о каком ощущении личности в творчестве Салимбене или культуре его эпохи речь, конечно же, идти не может. Человек должен являть собой характерные признаки того целого, к которому он относится, того класса, сословия, корпорации, членом которой он состоит; поэтому человек сам по себе, в своей неповторимости и исключительности остается неузнанным, скрыт за *личиною*, на-

¹ См. подробнее: *Кудрявцев О.Ф.* Античные представления о фортуне в ренессансном мировоззрении // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984. С. 50–57.

² См. в этой связи: *Биццлли П.М.* Салимбене (Очерки итальянской жизни XIII века). Одесса, 1916. С. 133, 146; *Гуревич А.Я.* Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990. С. 204; *Gurevic A.J.* La nascita dell'individuo nell'Europa medievale. Roma; Bari, 1996. P. 226.

взянной ему его социальной группой. О собственном отце – а с ним Салимбене расстался в таком возрасте, в котором был уже способен хорошо запомнить обстановку домашней жизни и особенности родных людей, – он сообщил только то, что свидетельствовало о нем как о представителе знати, рыцаре: «Упомянутый же отец мой Гвидо де Адам был мужем красивым и храбрым; некогда, во времена Балдуина, графа Фландрского, он участвовал в походе за море для защиты Святой Земли...»³. В подобных характеристиках Салимбене «предан шаблонам и готовым формулам»⁴. Слова «красивый», «сильный», «умелый воин» в разнообразных, но близких по смыслу словосочетаниях очень часто употреблялись Салимбене при описании типичного представителя знати⁵. Даже наиболее развернутая из характеристик, в которой Салимбене представил графа Сан Бонифачо воплощением рыцарственности и христианской доблести, составлена из расхожих клише, общепринятых штампов, годных для изображения идеального типа, но мало что сообщающих о конкретном лице: «человек добрый и святой, мудрый и добродетельный, и сильный, и хорошо владеющий оружием, и опытный в военном деле»⁶.

³ *Salimbene de Adam. Cronica* / A cura di G. Scalia. Bari, 1966. P. 52 (C. 45). Далее – *Cronica*. В скобках или через точку с запятой указана страница русского издания: *Салимбене де Адам. Хроника* / Пер. И.С. Култышевой, С.С. Прокоповича, В.Д. Савуковой, М.А. Таривердиевой. М., 2004.

⁴ *Бицилли П.М.* Указ. соч. С. 138.

⁵ “pulcher homo et valens” (*Cronica*. P. 928); “pulcher homo et magnus bellator” (*Ibid.* P. 75); “homo pulcher et nobilis” (*Ibid.* P. 927); “pulcher miles et fortis bellator” (*Ibid.* P. 99; C. 694, 62, 693, 79). Подробнее об этом см.: *Paul J. Elogio delle persone e ideale umano // Paul J., D’Alatri M. Salimbene da Parma*. P. 38–42.

⁶ “bonus homo et sanctus, sapiens et honestus et fortis et probus in armis et doctus ad bellum” (*Cronica*. P. 534; C. 400).

Собственную мать, которую Салимбене должен был знать, конечно же, лучше других людей и в отношении которой имел возможность сообщить частные свойства натуры и быта, индивидуализирующие ее облик, он представил средоточием нравственных качеств, присущих доброй христианке, женщиной благочестивой, кроткой, творившей дела милосердия и помогавшей бедным, то есть такой, какой, с его точки зрения, – точки зрения францисканского монаха, – обязана быть всякая мирская женщина: «Мать моя, госпожа Иммельда, была смиренной и набожной женщиной, много постившейся и охотно подававшей милостыню бедным. Никогда ее не видели разгневанной, никогда не поднимала она руку на служанку. Из любви к Богу во время зимы она всегда давала приют какой-нибудь бедной горянке... ее она оделяла одеждой и пропитанием...»⁷. Вот почти все, что можно узнать из «Хроники» о госпоже Иммельде. Особенные, присущие только ей черты характера стерты общими словами, более обнаруживающими взгляд автора на то, что должна являть собой женщина, нежели передающими конкретный женский образ.

Это полное игнорирование индивидуальности еще заметнее в мемуарах бургундского рыцаря Гильбера де Ланноа «Путешествия и посольства» (*Voyages et ambassades*), путешествовавшего в первой четверти XV в. по Европе и в числе прочих стран дважды посетившего Русь. Когда знакомишься с рассказами о первой и второй поездке на Русь, невольно досадуешь на то, что автор, как правило, не упоминает имена персон, с которыми его сводит судьба. Повезло Витовту, великому князю Литовскому, его имя Де Ланноа называет всякий раз, когда о нем заходит речь; но еще более – Гедигольду, ибо

⁷ Cronica. P. 77 (C. 63).

если бы Де Ланноа избегал его именовать, то нам оставалось бы только гадать, кого бургундский дипломат разумел под «капитаном Плюи» или «капитаном [то есть старостой – О. К.] Подолии». Но вот имени оказавшего почетный прием бургундскому рыцарю короля Польши Ягайло в мемуарах Де Ланноа нет, как нет и имени герцогини Мазовецкой, которая тоже принимала и одаривала его, а равно и многих других, подчас очень высокого ранга лиц, включая магистров прибалтийских рыцарских орденов – а ведь как раз под их началом ехал сражаться Де Ланноа за веру. Некоторые имена можно установить по другим источникам, как, например, упомянутых магистров или русского князя (у Де Ланноа названного королем – гоу) Константина Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, изгнанного псковичами и встреченного Де Ланноа в Новгороде Великом⁸. Однако имена новгородских посадника, тысяцкого и архиепископа, поразивших Де Ланноа необычностью заданного в его честь пира, или имена русских герцога и герцогини (конечно же, князя и княгини), подданных Витовта, угостивших и одаривших его, или «сарацинского герцога из Татарии» (мурзы?) и других «герцогов» из свиты того же государя⁹ мы так и не узнаем, как не узнаем имена многих иных лиц, с коими Де Ланноа довелось повстречаться в странах Западной Европы, Балкан и Средиземноморья, названных лишь по их титулу, положению в обществе, роду деятельности и т. п.

⁸ См.: *Lannoy Gh. de. Oeuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moralist / Ed. par Ch. Potvin, J.C. Houzeau. Louvain, 1878. P. 36 (Ланноа Г. де. Путешествия и посольства. 49. См. в изд.: Кудрявцев О.Ф. Великая Русь рыцаря Де Ланноа // Родина. 2003. № 12. С. 78 – далее в скобках страница русского перевода).*

⁹ *Lannoy Gh. de. Op. cit. P. 55, 56 (С. 79).*

Чем объяснить это, на взгляд современного человека, странное умолчание об именах собственных, кои следует называть первыми, представляя человека, – забывчивостью автора, его невнимательностью, то есть присущими только ему психическими качествами? Или чем-то другим? О забывчивости и невнимательности Де Ланноа речи быть не может, стоит только обратить внимание, с какой тщательностью и точностью он перечисляет полученные им и его людьми подношения. Конечно же, он знал имена людей, особенно высокого ранга – владельцев государей, могущественной знати, высших городских магистратов, их ему обязательно сообщали встречающие его люди; и, тем не менее, он почему-то далеко не всегда вносил их в свои заметки, составившие основу его мемуаров.

Здесь мы находим не личную, характерную лишь для Де Ланноа особенность восприятия окружающего, а типичную для всякого средневекового человека черту мирозерцания. Меньше всего Де Ланноа интересовала индивидуальность упоминаемого им лица; строго говоря, он ее совершенно игнорировал. Встречаясь с десятками и сотнями людей во время всех своих странствий и путешествий Де Ланноа избегал рассказывать, как тот или иной человек выглядел: высокого или низкого роста, какой у него цвет волос, кожи, глаз, бросающиеся в глаза приметы, не описывал манеры говорить, одеваться, какие-то стороны натуры или обыкновения. Единственным исключением, пожалуй, является упоминание о «татарине с бородой, спускавшейся до колен и завернутой в чехол»¹⁰. Но это из области курьезов, и Де Ланноа, как и в

¹⁰ “Et y avoit ung Tartre qui avoit sa barbe longue jusques dessoubz le genoul, enveloppée d’un coeuvrechief” (Ibid. P. 56 (С. 79)). Этот поразивший бургундского рыцаря прием хранить длинную бороду в

случае с курьезами природы (например, русскими морозами и производимыми ими эффектами), их обязательно фиксировал. В человеке внимание Де Ланноа привлекало не единичное, или что-то своеобразное, но, наоборот, – общее. Поэтому наряду с прочими особенными свойствами человека Де Ланноа не называет по большей части и его имя, ибо оно – тоже особенная его черта, но он обязательно указывает, какого статуса или чина человек, обозначает целое, которому тот принадлежит, и какую социально значимую функцию в этом целом играет.

Ну а что историки Возрождения? Они сообщают о каких-то особых чертах конкретного человека? Сообщают, хотя и в несколько схематизированном виде. И человек у них уже существенно больше, чем его социальная или жизненная роль, они могут показывать в нем то, что с этой ролью никак не коррелирует. Ибо они пишут не только о нравственных чертах того или иного лица, используя стандартный набор добродетелей и пороков, но и о его привычках, манере поведения и подчас о внешнем облике. Пусть редко и в самых общих чертах. Вот как Макиавелли в «Истории Флоренции» первый раз представляет сына Джованни Медичи Козимо Старого: «Человек, полный исключительной рассудительности, по внешности своей и приятный, и в то же время весьма представительный, беспредельно щедрый, исключитель-

чехле, по-видимому, получил какое-то распространение в Восточной Европе и на Балканах». В одном источнике петровской поры сообщается об афонском старце Дамаскине (середина XVII в.), который имел бороду до земли и носил ее, «в мешочек склав, и тот мешочек з бородою» привязывал к поясу. См.: *Кучкин В.А.* Неизвестный рассказ дьякона Симеона о Сербии начала XVIII в. // *Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. Сборник статей, посвященных Льву Владимировичу Черепнину.* М., 1972. С. 365.

но благожелательный к людям...»¹¹. Его моральные качества – рассудительность, или мудрость, великая щедрость, благожелательность, или гуманность – не содержат и не могут содержать никаких особенных характеристик ни по отдельности, ни все вместе. С точки зрения мыслителя, не чуждого идеалам ренессансного гуманизма, все это – черты, которые должны быть присущи идеальному правителю, каковым Макиавелли и пытался представить Козимо Старого. О внешности Козимо Макиавелли пишет тоже, но так, что составить по его описанию конкретный облик этого человека невозможно: Козимо человек приятный и представительный.

В другом месте своей «Истории Флоренции» Макиавелли, наряду с прежними характеристиками общего свойства, вроде «он [Козимо – *О. К.*] был отзывчив к друзьям, милосерден к бедным. Поучителен в беседе, мудр и осмотрителен в советах» и т.п., сообщает нечто такое, что позволяет представить его персону: «Роста он был среднего, лицо имел смугло-оливковое, но вся внешность его вызывала почтение. – И далее, – Не обладая ученостью, он был весьма красноречив и от природы одарен рассудительностью». В ряду подобных «говорящих» деталей прежние характеристики общего плана – почтенная внешность, рассудительность – выглядят содержательнее и в силу этого как бы конкретнее. Дальше – больше, сообщается о вкусах и обусловленных ими действиях, резко подчеркивающих самобытность Козимо: «Козимо любил людей, искусственных в изящной словесности и

¹¹ “Era Cosimo uomo prudentissimo, di grave e grata presenza, tutto liberale, tutto umano” (*Machiavelli N. Le istorie fiorentine. IV.26. Firenze, 1851. P. 206; см. также: Макьявелли Н. История Флоренции / Пер. Н.Я. Рыковой. Л., 1973. С. 163 – далее в скобках указана страница русского перевода).*

оказывал им покровительство. Он пригласил во Флоренцию Аргиропуло, родом грека, одного из ученейших людей того времени, чтобы флорентийская молодежь изучала с его помощью греческий язык и другие науки. В доме его жил на хлебах Марсилио Фичино, второй отец платоновской философии, к коему Козимо был горячо привязан. А чтобы друг его мог с удобством предаваться литературным занятиям, а он сам имел возможность легче видаться с ним, он подарил ему в Кареджи имение неподалеку от своего собственного»¹². Далее Макиавелли приводит целый ряд речений, будто бы принадлежащих Козимо, – остроумных, метких, изящных.

В итоге образ получился довольно колоритный и весьма своеобразный. Оправдываясь перед читателем, Макиавелли признается, что, «излагая деяния Козимо» (*io scrivendo le cose fatte da Cosimo*), отказался от исторического жанра в пользу другого, который используется в «описаниях жизни государей» (*ho imitato quelli che scrivono le vite dei principi*). Ибо, дескать, Козимо – «человек исключительный» и прославлять его нужно «способом необычным» (*essendo stato uomo raro nella nostra citta, io sono stato necessitato con modo istrasordinario lodarlo*)¹³.

Такая вот апология индивидуализации! Но не будем торопиться и искать здесь, вслед за Георгом Фойгтом, Якобом Буркгардтом и многими другими, торжество индивидуализма или заявляющей свои права на самобытность личности. Интенции ренессансной культуры, во всяком случае сознательно ею формулируемые, были совсем иными. И они не могли не отразиться в творчестве такого тонко чувствующего вейния времени мыслителя, как Макиавелли, который, следуя мировоззренческим ус-

¹² Ibid. VII.6. P. 338, 339 (С. 267).

¹³ Ibid. VII.6. P. 340 (С. 268).

тановкам своей культуры, в иных персонажах умел найти черты «универсального человека», а ведь именно его идеал провозглашала гуманистическая мысль Возрождения.

Портрет Лоренцо Медичи, который создан в «Истории Флоренции», многими чертами напоминает портрет его деда Козимо Старого. Как и дед, Лоренцо «в обсуждении тех или иных вопросов бывал красноречив и силен доводами, в решениях благоразумен, в осуществлении решений быстр и смел» (*era nel discorrere le cose eloquente ed arguto, nel risolverele savio, nel eseguirle presto ed animoso*). Подобно деду, Лоренцо имел «величайшую склонность» к людям искусства и ученым (*favoriva i literati*), о чем свидетельствуют примеры Анджело Полициано, Кристофоро Ландино, Деметрия Халкоконида, а также «графа Джованни [Пико делла] Мирандола, человека, – как сказано у Макиавелли, – почти богоподобного» (*il conte Giovanni della Mirandola, uomo quasiche divino*), который «всем другим странам Европы, где побывал, предпочел Флоренцию и обосновался в ней, привлеченный великолепием Лоренцо» (*lasciate tutte l'altre parti della Europa ch'egli aveva peragrate, mosso dalla magnificenza di Lorenzo pose la sua abitazione in Firenze*). Видим, использовано определение, которое станет частью имени Лоренцо. Однако сверх всего этого Лоренцо, по словам Макиавелли, «самозабвенно увлекался архитектурой, музыкой и поэзией» (*Dell'architettura, della musica e della poesia meravigliosamente si diletta*), «выпустил в свет немало поэтических произведений», им сочиненных, с комментариями, открыл в Пизе высшую школу. Резюмируя достоинства Лоренцо, Макиавелли пишет: «Нельзя назвать ни единого порока, который запятнал бы блеск стольких добродетелей» (*Nè di quello si possono addurre vizj che maculassero tante sue virtù*). И тут же, словно не замечая

противоречия, добавляет: «А между тем он был весьма склонен к любовным наслаждениям, любил беседу с балагурами и остряками и детские забавы более, чем это, казалось бы, подобало такому человеку: его не раз видели участником игр его сыновей и дочерей». На самом же деле эту противоречивость, несовместимость двух разных сторон характера Лоренцо Макиавелли не просто замечает, он ее выделяет и подчеркивает: «Видя, как он [Лоренцо – О. К.] одновременно ведет жизнь и легкомысленную, и полную дел и забот, можно было подумать, что в нем немислимым образом сочетаются две разные натуры» (*a considerare in quello e la vita leggera e la grave, si vedeva in lui essere due persone diverse quasi con impossibile congiunzione congiunte*)¹⁴. Лоренцо, которого Макиавелли, несомненно, считал примером хорошего правителя, в его подаче предстает своего рода нравственным кентавром, сопрягающим несопряжимое, вроде того государя, желательность которого он обосновывал в одноименном своем произведении¹⁵.

Подобный человек не может быть раз и навсегда определен никакой социальной ролью, которую ему придется играть. Ибо, совмещая в себе разные, даже противоположные начала, он постоянно имеет возможность стать иным. И здесь сама собой напрашивается аналогия с антропологией Джованни Пико делла Мирандола, по словам Макиавелли, «человека почти богоподобного», в своей знаменитой речи «О достоинстве человека» (*De hominis dignitate*) рассуждавшего о безграничных возможно-

¹⁴ Ibid. VIII.36. P. 430, 431 (С. 339).

¹⁵ *Machiavelli N. Il Principe*. XVIII. Firenze, 1857. P. 52, 53 (*Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь* / Пер. М.А. Юсима. М., 2002. С. 410, 411).

стях человека в самосозидании¹⁶, или выборе формы своего наличного бытия в мире. Таким образом, и в творчестве столь, казалось бы, далекого от духовных исканий ренессансного гуманизма мыслителя, каким обычно представляют Макиавелли, отразились установки на героизацию и превознесение универсальных способностей человека, характерные именно для этого гуманизма.

Вместе с тем, нужно признать, что ренессансное историописание по наследству сохранило некоторые реликтовые черты средневековой хронографии, в частности ссылки на трансцендентную подоплеку иных исторических явлений, их символический или сакральный смысл, использование в портретных описаниях исторических фигур набора мало выразительных этических признаков – добродетелей и пороков, – доставшихся от прошлых эпох.

Oleg F. Kudryavtsev

¹⁶ *Pico della Mirandola G. De hominis dignitate. Neptalpus. De ente et uno / A cura di E. Garin. Firenze, 1942. P. 101–164 (Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека / Пер. Л.М. Брагиной // Эстетика Ренессанса. М., 1981. Т. I. С. 248–265).*

PECULIARITIES OF MEDIEVAL CHRONOGRAPHY IN COMPARISON WITH RENAISSANCE HISTORIOGRAPHY

Whithout any doubt, there is an essential distinction between the character of history writing in Middle Ages and in the Renaissance, however it is often exaggerated by the scholars. We can notice the differences in a manner of historical presentation, in depiction of events and persons as well as in the profound principles of world outlook of authors.

Whatever a medieval chronicler, for example Salimbene de Adam, was narrating, he always tried to correlate his narration with Holy Scripture or with works of ecclesiastical fathers available for him. He used all these texts as a kind of commentary to depicted stories or along with these stories as the illustration to the sacred texts. For Renaissance historiographers – Machiavelli and Guicciardini in particular – such correlation is lacking of sense, because the secular life as well as the history acquires an interest per se as an area of a principal responsibility of a man. And as a consequence they are not already regarded as a battle-field of the opposite metaphysical principles, in which a human being is an object of struggle and at the same time its mean. For a man himself is recognized as the subject and the actor of history, who proves his virtue in the fight which the fortune the personification of continuous change.

Medieval historical works pay little attention to the concrete man. Sometimes they even don't mention his name, as in the work of Ghillebert de Lannoy. For medieval writers it is more important to indicate the social rank of a person and, as we can notice in Salimbene's Chronicle, they mark only his conformity or non-conformity to the ethical virtues which he ought to have in accordance with his social rank. And there is no word about his concrete personal features. In ver-

bal portraits made by Renaissance historians we find these features. They not only tell about ethical characteristics of a person using a standard list of virtues and vices, but also describe his habits, behaviour and even his appearance. Moreover, in accordance with the cultural preferences of the epoch they can see in one or another person traits of “uomo universale” the ideal man of the Renaissance.

At the same time we must acknowledge that the Renaissance historiography still preserved some surviving features of medieval chronography, such as references to the transcendent reasons of historical events, their symbolic or sacred interpretation, the portrayal of persons by means of less significant ethical characteristics, inherited from the past.

**МАКИАВЕЛЛИ И ГВИЧЧАРДИНИ
ИСТОРИКИ**

II

**MACHIAVELLI E GUICCIARDINI
STORICI**

*Л.М. Брагина,
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова*

ГВИЧЧАРДИНИ О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ФЛОРЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XV ВЕКА

В итальянском гуманизме эпохи Высокого Возрождения антропоцентризм достиг апогея. В широком контексте осмысления возможностей разума и созидательных способностей человека особый интерес приобретали яркие личности, их роль и значимость в исторических процессах. Новые опоры получил биографический жанр светской биографии, воскресивший традицию античной эпохи. Выразительным примером в XV в. стала «Жизнь замечательных людей» Веспасиано да Бистиччи. Складывались новые подходы в историописании: важными становились поиски причинно-следственных связей, естественное обоснование событий, поддающееся рациональному истолкованию с учётом роли в них выдающихся деятелей. Интерес к ярким личностям Италии возрастал, охватывая не только сферу политики, дипломатии, военное дело, но также науку, литературу, искусство. Весьма значимым событием в XVI в. стало появление обширного труда Джорджо Вазари «Жизнеописание знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». В историографию весомый вклад внесли корифеи Ренессанса Никколо Макиавелли и Франческо Гвиччардини.

В данной статье хотелось бы обратить внимание на кредо Гвиччардини как историка и политика, не всегда однозначно оцениваемого исследователями. Клишированный тезис о «двойственности» его позиций использу-

ется и по сей день¹. Франческо Гвиччардини (1483–1540) в принадлежащей его перу «Семейной хронике» с гордостью отмечал, что его предки в XIV–XV вв. многократно избирались в высшие магистратуры Флорентийской республики, а его отец Пьеро Гвиччардини не раз исполнял почетные поручения Синьории в должности приора, комиссара или посла. Для Франческо, получившего основательное домашнее образование, отец мечтал о юридической карьере, которая открывала путь к государственной службе. По воле отца Франческо в 1501–1505 гг. обучался гражданскому и каноническому праву в университетах Феррары, Падуи, Пизы. Получив в 1505 г. степень доктора права, Гвиччардини в 1506 г. начал адвокатскую практику. Эти годы были временем обострения Итальянских войн, наносивших огромный ущерб стране. Немало сложностей возникло и во Флорентийской республике после смерти в 1492 г. Лоренцо Медичи и изгнания из города его сына Пьеро, а также других сородичей. Всё это послужило для Гвиччардини стимулом, чтобы серьезно заняться историей родного города. В 1508–1509 гг. он создал свой первый труд – «История Флоренции», не предназначая его к публикации².

Хронологические рамки этого труда охватывают период с 1378 г., начиная с восстания чомпи по 1509 г., ко-

¹ *De Caprariis V.* Francesco Guicciardini. Dalla politica alla storia. Bari, 1950 (2 ed. – Napoli, 1993); *Palmarocchi R.* Guicciardini. New York, 1976; *Rubinstein N.* Guicciardini politico / Rinascimento. Firenze, 1986. Vol. 26. P. 161–191; *Carta P.* Francesco Guicciardini tra diritto e politica. Padova, 2008; *Cutinelli-Rendina E.* Guicciardini. Roma, 2009. Пока расставила в хронологическом порядке. Но если у большинства авторов по алфавиту, то нужно будет переставить.

² *Guicciardini Fr.* Storie Fiorentine dal 1378 al 1509 / A cura di R. Palmarocchi. Bari, 1931; *Guicciardini Fr.* Storie Fiorentine. Firenze; Torino, 1999.

гда в битве при Адде 14 мая венецианцы потерпели поражение от французов. Одну из задач этого труда Гвиччардини видел в осмыслении особенностей государственной системы Флорентийской республики и борьбы за власть между враждующими группировками знати. Главное, что отличало работу молодого историка – глубокий анализ фактического материала с опорой на документы, поиски причин и обстоятельств важных событий в максимальном приближении к реальности и – что особенно существенно – объективность оценок как причин знаковых событий в противоборстве политических сил, так и роли в них государственных деятелей.

В «Истории Флоренции» были заложены основы политических позиций Гвиччардини, которые со временем становились его кредо: республиканская властная система безусловно подходит традициям Флоренции, но, как полагал историк, могла обрести и более совершенную форму, если расширить её структуру власти сенатом, включающим наиболее сведущих и опытных политиков. Эту идею реформирования Гвиччардини развивал в «Рассуждении в Логроньо» (1512–1513 гг.), где отмечал значение Большого совета как надёжного гаранта свободы республики, а роль сената видел в повышении профессионального уровня государственной политики.

Возвращение Медичи во Флоренцию в 1513 г. не позволило Гвиччардини добиться реализации реформаторской идеи. Не меняя своих позиций, Гвиччардини продолжил её обоснование в «Диалоге об управлении Флоренцией» (1523–1527 гг.), где сравнил достоинства и недостатки «правления одного» при Лоренцо Медичи Великолепного с «демократическими порядками» конца XV в. Вывод был в пользу республики как наиболее пригодной для флорентийцев формы государственного устройства. В «Диалоге» Гвиччардини вновь подчеркнул

необходимость сохранения во Флоренции республиканской системы власти в том числе и потому, что при ней сохраняется равенство граждан. Сенат же, как собрание наиболее компетентных в политике граждан, необходим для оптимального управления государством. Преимущество республики перед единовластием, которое ещё в XIV в. начало активно утверждаться во многих городах-государствах Италии, оставалось его кредо³.

Твердость позиции Гвиччардини не дает основания сомневаться в его политических убеждениях и упрекать его в «двойственности», имея в виду государственную службу в годы Итальянских войн. Впрочем, если обратиться к «Истории Флоренции», неизбежно возникает вопрос, как совместить это кредо Гвиччардини с его оценками нелегитимного правления во Флоренции Лоренцо Медичи Великолепного в последние десятилетия XV века? Лоренцо был реальным правителем Флорентийской республики более 20 лет, этому периоду в «Истории Флоренции» посвящено несколько глав⁴.

Обратимся к тексту: «Было Лоренцо 43 года, когда он скончался, а управлял он Флоренцией 23 года, ведь когда в 1469 году умер его отец Пьеро, Лоренцо было двадцать лет; и хотя он был юн и отчасти был вверен попечительству Томмазо Содерини и других старейшин государства, он в короткое время столь прочно и славно утвердился, что стал по-своему править городом... Поскольку Лоренцо был так велик – ведь никогда во Флоренции не было равного ему гражданина, а слава его, как при жизни, так и

³ *Гвиччардини Фр.* Семейная хроника // Guicciardini F. Dialogo del reggimento di Firenze. Torino, 1994.

⁴ Перевод на русский язык ряда глав «Истории Флоренции» (с IX по XVI) опубликован в книге: Сочинения великих итальянцев XVI века / Пер. И.П. Подземской, под ред. Л.М. Брагиной. СПб., 2002. С. 72–140.

после смерти, была огромна, я счёл, что будет не лишним, а, напротив, весьма полезным описать его характер и привычки, хотя они мне известны не на основе собственных наблюдений – когда он умер, я был маленьким мальчиком, – а по достоверным документам и свидетельствам. Поэтому, как мне представляется, то, что я пишу, чистейшая правда»⁵.

Как видим, Гвиччардини высоко оценил талант Лоренцо Великолепного – это звание он получил от сограждан – ведь его реальная власть при сохранении республиканского статуса Флоренции принесла немало благ городу. Гвиччардини придавал этому особое значение ввиду удачи его внешней политики и расширения владений Флорентийской республики, что упрочило её позиции в Тоскане, а также ценил дипломатические усилия Лоренцо в поддержании мира в Италии. Впрочем, стремясь к объективности при оценке деятельности Лоренцо, Гвиччардини обращает внимание не только на «многие замечательные доблести», но и на некоторые пороки в его характере. По его словам, «Лоренцо был мудр и благоразумен, щедр и великодушен. Но в то же время проявлял жесткость и мстительность, был одержим высокомерием и чрезмерной подозрительностью»⁶. И всё же Гвиччардини был склонен довольно высоко оценить правление Лоренцо Великолепного: «Он сосредоточил в своих руках такую власть, что можно сказать, Флоренция в его время не была свободной [имеется в виду конституционная *Libertas* – Л. Б.], хотя там в изобилии процветало всё, что может быть славным в городе, который называется свободным. А на самом деле тиранически управляется одним гражда-

⁵ Сочинения великих итальянцев... С. 73–74.

⁶ Там же. С. 74.

нином»⁷ Критерием оценки правления Лоренцо становятся у Гвиччардини его позитивные деяния. По словам историка, «Невозможно найти тирана лучше и приятнее; его талантам и доброте обязаны своим появлением бесконечные блага»⁸. Таков вывод Гвиччардини о роли выдающейся личности – Лоренцо Медичи Великолепного – в «Истории Флоренции».

Спустя годы в «Истории Италии» Гвиччардини говорит о смерти Лоренцо Медичи как о событии, «прискорбном для его родины, которая многое обрела благодаря его авторитету, а также способности совершать славные и великие дела... Эта смерть нанесла ущерб и всей Италии, ибо Лоренцо проявлял неустанную заботу о всеобщей безопасности»⁹. Историк особо подчёркивает дипломатические способности Лоренцо, его успехи в заключении мира между Флоренцией, Неаполем и Миланом. В «Истории Италии» Гвиччардини подтверждает эту свою уверенность в исторической роли личности в знаковых для страны событиях 1492 г. Он убеждён в том, что если бы не ранняя смерть Лоренцо в 1492 г., то ход событий в период Итальянских войн, начавшихся два года спустя, мог быть иным. Вера историка в огромные возможности одарённой личности, активно раскрывающей свои таланты, сказывалась и на его оценках не только политики Лоренцо, но и его меценатства в самых разных сферах: ведь он оказывал моральную и финансовую поддержку художникам, архитекторам, поэтам, философам, что делало Флоренцию главным центром Возрождения не только в Италии, но и для других европей-

⁷ Там же. С. 74–75.

⁸ Там же. С. 81.

⁹ *Гвиччардини Фр.* История Италии. В двух томах / Пер. с итал. и подготовка издания М.А. Юсима. М., 2018. Т. 1. С. 7, 8.

ских стран. Широкая слава Лоренцо Медичи не только во Флоренции, но и далеко за её пределами не была случайной и эфемерной.

Мнение Гвиччардини об идеальной для Флорентийской республики форме правления непременно с Сенатом, обеспечивающим высокую политическую квалификацию избираемых в его состав лиц, оставалось неизменным. Однако прагматичный историк был способен объективно оценивать реальную ситуацию, сложившуюся во Флоренции в последнее десятилетие XV в. Это был период интенсивного развития её экономики, ещё было возможным преодоление сложностей в сукноделии и других сферах текстильного производства. Процветанию Флоренции помогала мирная обстановка в Италии, чему способствовала и дипломатия Лоренцо Медичи. Всё это позволяло Гвиччардини позитивно оценить многое из того, что делал для республики нелегитимный правитель, безусловно, тиран, но и выдающийся гражданин. Осмысление роли Лоренцо Медичи не только как правителя, весомо помогавшего расцвету ренессансной культуры, но и как личности позволило Гвиччардини отвести ему значимое место в истории Италии. Что же касается двойственности политических позиций, в которой нередко упрекают историка, то она объяснима военной обстановкой тех лет, когда он находился на службе у римских пап и его позиции могли меняться под влиянием ситуации. В оценках исторических событий и роли в них выдающихся личностей Гвиччардини оставался верным объективности.

В качестве заключения, хотелось бы обратить внимание ещё на один аспект темы, рассмотренной в данной статье. В «Заметках о делах политических и гражданских», относящихся к разным периодам жизни Гвиччардини, звучит вопрос: какова роль фортуны, фа-

тума, рока в судьбах людей, особенно выдающихся, одарённых талантами, если принимать во внимание неравные силы сторон? В одной из заметок читаем: «Кто вдумается, тот не сможет отрицать, что Фортуна имеет огромную власть в делах человеческих, ибо мы видим, что ежечасно случайности дают толчок большим переменам и не во власти людей предупредить их или избежать; как немного зависит от человеческих усилий и хлопот, их одних недостаточно, необходимо ещё благоприятствование Фортуны»¹⁰. Как видим, автор сомневается в том, что даже сильный человек может успешно сопротивляться Фортуне. В другой заметке он рассуждает так: «Даже те, кто всё приписывают мудрости и доблести человека и не признают власти Фортуны, должны согласиться, что очень важно попасть или родиться в такое время, когда высоко ценятся те дарования и сами качества, которыми ты в себе дорожишь... Кто умеет, однако, менять природу свою по условиям времени – что крайне трудно и даже невозможно – тот намного меньше зависит от Фортуны»¹¹. Хотя силы неравны, как полагает Гвиччардини, следуя традиции, уходящей в античную эпоху, для успеха человеку необходимо проявить волю, что поможет осуществить желаемое. В «Заметках» можно заметить глубокий интерес историка к антропологии, этике и психологии с акцентом на реалии эпохи Возрождения, когда возможности человека рассматривались в очень широком диапазоне. Это подтверждают и его рассуждения в заметке 274: «Даже те, кто приписывает всё благоразумию и та-

¹⁰ *Гвиччардини Фр.* Заметки о делах политических и гражданских / Пер. с итал. М.С. Фельдштейна под ред. Г.Д. Муравьевой. М., 2004. С. 54–55.

¹¹ Там же.

ланту, умудряясь забыть о фортуне, не могут отрицать, что величайшая милость фортуны проявилась хотя бы в том, что тебе выпало время, когда твои таланты особенно могли оценить. Мы знаем по опыту, что те же таланты в одно время почитаются больше, в другое – меньше и дело, благодарное в одно время, будет неблагодарным в другое»¹².

¹² *Гвиччардини Фр.* Заметки о делах политических и гражданских... Он же. Сочинения / Вступительная статья и редакция А.К. Дживелегова. Пер. и примечания М.С. Фельдштейна. М., 1934. С. 141.

*Lidia M. Bragina,
Università statale di Mosca (MGU)*

**GUICCIARDINI SUL RUOLO DELLA PERSONA
NELLA STORIA DI FIRENZE
NEGLI ULTIMI DECENNI DEL XV SECOLO**

Il rapporto esamina le idee di Francesco Guicciardini, storico e politico, sulla capacità di una persona di talento di influenzare il corso dello sviluppo dei processi storici. Un esempio di tale personalità lui vedeva in Lorenzo dei Medici, un sovrano reale della Firenze repubblicana negli ultimi decenni del XV secolo. Nelle “Storie fiorentine” scritte nel 1509 Guicciardini altamente apprezzò il ruolo di Lorenzo dei Medici come diplomatico che aveva attivamente aiutato a stabilire la pace in Italia. Più tardi, nella “Storia d’ Italia” Guicciardini sottolineò che se non ci fosse stata la morte di Lorenzo nel 1492, l’andamento degli eventi storici durante le guerre italiane cominciate nel 1494 sarebbe stato diverso. Guicciardini collegava il ruolo positivo di Lorenzo anche alla sua poliedrica attività di mecenate che influenzò significativamente lo sviluppo della cultura rinascimentale. Egli vedeva nella figura di Lorenzo il Magnifico una personalità di spessore, molto talentuosa e che ha lasciato un notevole segno nella storia.

Paolo Carta,
Università di Trento

**GUICCIARDINI E IL RITRATTO DI
LORENZO DE' MEDICI. A PROPOSITO
DELL'INCIPIT DELLA *STORIA D'ITALIA*
E DEL DIALOGO CON NICCOLÒ MACHIAVELLI**

Ciò che Guicciardini aveva compreso della natura del regime medico a Firenze sta tutto nelle poche righe con cui ricorda Lorenzo il Magnifico nell'incipit della *Storia d'Italia*: “un cittadino tanto eminente sopra ‘l grado privato nella città di Firenze che per consiglio suo si reggevano le cose di quella republica”¹. Queste parole presentate, quasi incidentalmente, poco prima dell'esaltazione della sua politica estera, che aveva garantito la quiete e la pace della penisola, rivelano a chi ne ripercorra la genesi e ne scopra la fonte dottrinale più di quanto Guicciardini non dica.

Il suo giudizio su Lorenzo non muta rispetto a quanto aveva già scritto nelle *Storie fiorentine* e via via negli altri suoi scritti – penso soprattutto alla prima parte del *Dialogo del reggimento di Firenze* più che all'*Elogio* composto poco prima della elezione di Leone X. Almeno limitatamente alla politica interna fiorentina, l'espressione si presenta come l'esito di una lunga indagine, avviata da Guicciardini già negli anni del suo praticantato legale. Tenterò di chiarire questo punto, ricordando che le parole usate da Guicciardini nelle varie redazioni dell'incipit sono innanzitutto le parole di un giurista, prima ancora che di uno storico o di un politico. I termini scelti rivelano al lettore come egli avesse

¹ *Guicciardini F. Storia d'Italia / A cura di S. Seidel Menchi. Torino, 1971. P. 6.*

risolto la spinosa questione della natura del potere medico, alla luce di una particolarissima fattispecie giuridica.

Naturalmente Guicciardini aveva ben presente le diverse voci che sulla questione si erano espresse a Firenze, da Alamanno Rinuccini a Giovanni Rucellai, da Savonarola all'amico Machiavelli. A differenza loro, egli non rinunciò mai alla prospettiva privilegiata che la formazione giuridica gli aveva garantito per osservare e giudicare la «natura delle cose» pubbliche. Non è un caso che nella *Storia d'Italia* egli parli di sé come di un «dottore di legge»². E del resto l'opera fu letta nell'Europa del tardo '500, proprio come parto di un giurista. Proprio sui casi presentati da Guicciardini si fondano le nuove teorie intorno alla sovranità, termine da lui usato in più occasioni come calco del francese, si consolidano le nuove acquisizioni intorno alla debole realtà del potere imperiale e dell'illegittimità del potere temporale della Chiesa. La *Storia d'Italia* diventa un deposito lessicale oltre che di casi concreti, utilissimi per l'avvio di una ricerca intorno a un possibile diritto internazionale. Fu insomma la penna del giurista a segnare il passo nel pensiero politico della prima età moderna.

Sulla natura del regime medico a Firenze, sulla sua eccezionalità e sui problemi che essa pone, non è mai cessato il dibattito storiografico. Le posizioni contrastanti di Nicolai Rubinstein e Philip Jones ancora oggi non sembrano aver trovato una sintesi compiuta³. Di recente si è parlato a questo proposito dei Medici ancora come primi tra pari, di signori o tiranni di fatto, fino a definire la Firenze di Lorenzo come

² Su tutto ciò si veda *Carta P.* Francesco Guicciardini, quello che scrisse questa istoria, dottore di legge // La "Storia d'Italia" di Guicciardini e la sua fortuna / A cura di C. Berra, A. M. Cabrini. Milano, 2012. P. 47–66.

³ Si veda *Black R.* Introduction / The Medici. Citizens and Masters / Ed. by R. Black, J. E. Law (Villa I Tatti Series 32). Cambridge (Mass.), 2015. P. 1–10.

una criptosignoria o una “rethorical republic”⁴. Ogni definizione ha tentato a suo modo di offrire un contributo senza però riuscire a sciogliere i dubbi. Questi tentativi hanno fatto largo uso delle pagine guicciardiniane, pescando qui e lì alcuni frammenti dei suoi giudizi.

Per cogliere la profondità del contributo guicciardiniano nella soluzione di questo particolare problema, credo sia necessario comprendere la genesi e la storia di quei giudizi, che si chiudono con l'incipit della *Storia d'Italia*.

Emanuele Cutinelli ha dedicato delle splendide pagine alle diverse parabole e cesure di cui si compone la *Storia d'Italia*. L'opera che si apre con l'evocazione della quiete della penisola assicurata da Lorenzo si chiude con la pax hispanica garantita da Clemente VII ai posteri: “una pace senza più fremiti di libertà”, che prevedeva anche un nuovo assetto istituzionale della città di Firenze, nel quale il potere mediceo, nella persona di Alessandro, poteva finalmente fregiarsi della legittimità di un titolo, garantitogli dalla dignità imperiale. Quel titolo cambiava radicalmente ogni cosa rispetto al passato: la città, anche sul piano giuridico, perdeva definitivamente la propria libertà⁵. Detto ciò, non va da sé che Guicciardini pensasse alla Firenze di Cosimo e Lorenzo, come a una culla di libertà.

Al centro di quella parabola, che inizia con Lorenzo e si chiude con Alessandro, sta la questione del ‘titolo’. Non deve fuorviare ciò che Guicciardini scriveva nel privato dei suoi *Ricordi* contro la “macchina di legittimazione” rappresentata dall'impero. Nel suo celebre ricordo C 48 affermava che solo le repubbliche, quando non vogliano estendere il proprio dominio, possono considerarsi stati

⁴ Bullard M. M. *Diplomacy, Language and the “Arts of Power” // The Medici...* P. 53.

⁵ Cutinelli- Rëndina E. *Guicciardini*. Roma, 2009. P. 199.

legittimi, tutti gli altri, se si considera la loro origine sono “violenti” e dunque illegittimi. Dal numero non escludeva la potestà del papato e neppure quella dell’imperatore. Quest’ultima poi era “fondata sull’autorità dei Romani, che fu maggiore usurpazione che nessuna altra”, aveva scritto, e si era elevata “in tanta autorità che dava ragione agli altri”. Dare ragione ad altri, significa niente più che legittimare col “titolo” e dunque giuridicamente altri stati⁶.

Sfoghi a parte, sappiamo perfettamente quanta importanza rivestisse il titolo concesso dall’imperatore al duca Alessandro, per un giurista come Guicciardini. Fu proprio lui a difendere il duca dalle querele dei fuorusciti repubblicani, che a questo punto, in presenza di un titolo, potevano giuridicamente rivolgersi all’imperatore come superiore, per richiedere che questi riformasse il governo della città da una tirannide manifesta.

Tutto ciò non sarebbe mai potuto accadere nel caso di Lorenzo e neppure dei suoi predecessori fino a Cosimo, per via delle difficoltà di dimostrare in sede processuale e davanti al superiore, cioè l’imperatore, la particolare specie di tirannide nella quale poteva essere iscritto il loro regime. Guicciardini sapeva bene che la loro tirannide non era giuridicamente una tirannide manifesta⁷.

Come anche appare chiaro dai contributi contenuti nel recente volume dedicato ai Medici, curato da Robert Black e John Law, la questione del regime mediceo a Firenze pone

⁶ *Guicciardini F. Ricordi* / A cura di G. Masi. Milano, 1994. P. 76.

⁷ Su questi aspetti si veda *Carta P.* Francesco Guicciardini tra diritto e politica. Padova, 2008; *Idem.* Francesco Guicciardini, quello che scrisse questa istoria...; e gli studi di O. Cavallar ricordati tra i quali innanzitutto: *Cavallar O.* Il tiranno, i dubia del giudice e i consilia dei giuristi // *Archivio Storico Italiano.* Vol. CLV. 1997. Disp., No. 2/3 (572/573), aprile-settembre 1997. II–III. P. 265–345.

innanzitutto problemi intorno alla sua legittimità⁸. A generare qualche fraintendimento sul punto, può aver giocato un ruolo non secondario anche il particolare atteggiamento machiavelliano verso il principato. Diventare “di privato principe”, infatti, è il motivo ricorrente della prima parte del *Principe* di Machiavelli.

Considerati il carattere e il dedicatario dell’opera, bisogna aggiungere che l’espressione, osservata nella prospettiva strettamente giuridica del tempo – si sta parlando infatti di un potere di fatto illegittimo e privo di titolo – non differiva di molto da quel che Savonarola aveva espresso con le parole “farsi di cittadino tiranno”, o dal guicciardiniano “diventare di privato tiranno”, declinato in modo più consono nell’incipit della Storia d’Italia. Non aveva torto il giurista Innocent Gentillet, quando, polemicamente, aveva scritto che Machiavelli era andato molto più a fondo di Bartolo nello studio della tirannide. Il richiamo al grande giurista trecentesco, non è casuale. Poiché Machiavelli non considera mai il problema della legittimità giuridica del principe nuovo, neppure nel capitolo IX dedicato al principato civile, la si è per così dire voluta dare per scontata. Su questi aspetti di recente hanno scritto pagine molto acute Raffaele Ruggiero e Romain Descendre, nelle quali tuttavia si avanzano più interrogativi che soluzioni⁹.

Le difficoltà di proporre una definizione in termini giuridici del regime dei Medici nascono dal fatto che

⁸ Sulla questione della legittimazione si veda *Varanini G. M. Medicean Florence and Beyond. Legitimacy of Power and Urban Tradition // The Medici... P. 27–38.*

⁹ Si veda *Descendre R. Of “Extravagant” Writing: The Prince, Chapter IX // The radical Machiavelli: Politics, Philosophy and Language / Ed. by F. Del Lucchese, F. Frosini, V. Morfino. Leiden, 2015. P. 56–72; Ruggiero R. I soggetti politici in Machiavelli: il popolo, i grandi e il principe civile // La Cultura. Vol. LVI. 2018 (2). P. 221–248.*

formalmente la città restava pur sempre una repubblica, era insomma una città libera, nella quale tuttavia si era potuta realizzare l'irresistibile ascesa dal grado di privati a 'principi' di alcuni suoi cittadini.

Laddove un giurista come Guicciardini ci aiuta, con le sue fonti a proporre una definizione, Machiavelli pare più interessato a comprendere i modi in cui l'ascesa da privato cittadino a un grado pubblico e in questo caso apicale nel pubblico può realizzarsi. Il termine "civile" nel capitolo IX del Principe si riferisce unicamente a questa ascesa, non certo a una supposta legittimità di un tale regime.

Benché Machiavelli non presenti esempi specifici che illustrino il principato civile, il contesto nel quale questa singolare forma di regime si manifesta, è nei fatti la repubblica: insomma, Machiavelli sta parlando di un «principe della repubblica», per usare la formula che riservò, non a caso, a Cosimo il vecchio nei *Discorsi*¹⁰. I suoi sforzi sono rivolti interamente a persuadere un principe nuovo sulla

¹⁰ *Machiavelli N. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio // Opere. Vol. I / A cura di C. Vivanti. Torino, 1997, I, 33: "Cosimo de' Medici, dal quale la casa de' Medici in la nostra città ebbe il principio della sua grandezza, venne in tanta riputazione col favore che gli dette la sua prudenza e la ignoranza degli altri cittadini, che ei cominciò a fare paura allo stato, in modo che gli altri cittadini giudica vano l'offenderlo pericoloso ed il lasciarlo stare così, pericolosissimo. Ma vivendo in quei tempi Niccolò da Uzzano, il quale nelle cose civili era tenuto uomo espertissimo, ed avendo fatto il primo errore di non conoscere i pericoli che dalla riputazione di Cosimo potevano nascere; mentre che visse, non permesse mai che si facesse il secondo, cioè che si tentasse di volerlo spegnere; giudicando tale tentazione essere al tutto la rovina dello stato loro; come si vide in fatto, che fu, dopo la sua morte: perché, non osservando quegli cittadini che rimasono, questo suo consiglio, si feciono forti contro a Cosimo, e lo cacciorono da Firenze. Donde ne nacque che la sua parte, per questa ingiuria risentitasi, poco di poi lo richiamò, e lo fece *principe della repubblica*: a il quale grado senza quella manifesta opposizione non sarebbe mai potuto salire".*

inevitabilità di stabilire il proprio “imperio” fondandolo sul popolo. È evidente che in questo frangente Machiavelli stia delineando niente più che un potere di fatto, privo di alcun titolo.

Il principe civile, almeno nella prospettiva fiorentina dell'epoca descriveva semplicemente un cittadino aveva oltrepassato a tal punto il “grado privato”, che “per suo consiglio” poteva «reggere le cose» della “repubblica”, per parafrasare ancora l'incipit guicciardiniano della *Storia d'Italia*.

Tutto il discorso sulle caratteristiche del governo mediceo, sulla sua genesi con Cosimo e la sua piena affermazione con Lorenzo, si inserisce nell'opera di Guicciardini in due contesti particolarmente problematici: uno, più generale, è legato all'indagine sui limiti che definiscono la ‘grandezza’ cui può pervenire un privato cittadino in una repubblica; l'altro è più schiettamente legato alla relazione tra legittimità ed effettualità dello specifico regime mediceo. Lo sguardo del giurista Guicciardini problematizza, ciò che Machiavelli indaga come un dato di fatto.

Quanto al primo punto, la grandezza di un cittadino in una repubblica, Guicciardini lo indaga con riferimento ai Medici, ma anche a se stesso: si pensi alla Orazione accusatoria, dove il problema di aver oltrepassato quel limite di onori e autorità che si convengono a un cittadino di una repubblica, è il motivo ricorrente della lunga discussione *de vita et moribus* presentata dal suo accusatore. Nella *Accusatoria* emerge la sua immoderata ambizione, che lo portò a diventare un “monstro”, che nel '27 aveva agito coinvolgendo la città in una guerra fallimentare, solo per bieco interesse personale, rivelando la sua vera natura dispotica e al tutto contraria alla libertà. Era un nemico pubblico: “non guardatelo così com'è ora”, diceva il suo

accusatore, “ora è privato cittadino, sottoposto alle legge nostre come qualunque minimo di questa città”¹¹. La sua natura non era tale da tollerare di vivere nella medietà che si conviene a un cittadino di una repubblica, come dimostravano gli anni del suo governatorato di Romagna, quando desiderava farsi chiamare “luogotenente” del Papa: “non abbiamo a temere d’uno tiranno uomo privato, ma di un papa”, affermava il suo accusatore. Tralascio le citazioni, ma il tema delle Orazioni e in particolare dell’*Accusatoria* è proprio il limite di onori e di “grado” che un cittadino non dovrebbe mai oltrepassare in una repubblica, senza pregiudicare l’esistenza stessa di quest’ultima. Si presentano i casi di Bernardo Rucellai, di Corso Donati e si ricorda l’istituto dell’ostracismo, come forma di autotutela di una città libera dinanzi alle smodate tentazioni di dominazione di alcuni suoi cittadini¹².

Le formule che rivelano il problema sono ricorrenti in tutti i suoi scritti. Per fare un altro esempio, nelle *Memorie di famiglia* allorché parla di Iacopo, suo prozio, ci dice che «di onori n’ebbe tanti quanti uno cittadino privato può avere a Firenze»¹³. Non stupisce affatto che nell’*Elogio* di Lorenzo de’ Medici, viste le caratteristiche dello scritto, egli presenti Cosimo il Vecchio, come uomo di “singulare prudenzia e di grandissima ricchezza” che ebbe tanta autorità nel governo della repubblica fiorentina, “quanta possi avere uno cittadino di una città libera”¹⁴. Di fatto quando egli pensa a Cosimo e più tardi a Lorenzo, ragiona esattamente nei termini del

¹¹ Si veda *Guicciardini F.* *Accusatoria in Consolatoria, Accusatoria, Defensoria. Autodifesa di un politico.* Roma; Bari, 1993. P. 146.

¹² *Ibid.* P. 166, 174–175.

¹³ *Guicciardini F.* *Memorie di famiglia // Opere inedite di Francesco Guicciardini.* Vol. X. Firenze, 1867. P. 53.

¹⁴ *Guicciardini F.* *Scritti Politici e Ricordi / A cura di R. Palmarocchi.* Bari, 1933. P. 223.

principato civile machiavelliano, cogliendolo però come poteva coglierlo un giurista del tempo. Del resto basterebbe accostargli il già richiamato passo di *Discorsi*, I, 33, laddove Machiavelli scriveva: “Cosimo de’ Medici venne in tanta reputazione che ei cominciò a far paura allo stato”. Il principe della repubblica, di questo in fondo stiamo parlando quando parliamo del governo mediceo e del principato civile.

Nel *Dialogo del reggimento di Firenze*, riproponendo considerazioni risalenti, presentate da Bartolo nel *De Regimine Civitatis* e da Savonarola nel suo *Trattato*, Guicciardini poteva scrivere, rivelando anche qualcosa del pensiero di Machiavelli: “In ogni tempo è maggiore assai el numero di coloro a chi piace el vivere libero, perché vi si truova drento la equalità più che in nessuno altro; donde ne seguita che el vivere non libero non si può negare che è contra el gusto e desiderio della maggiore parte, e quello che ragionevolmente dispiace a' più debbe essere rifiutato, massime che la più utile sorte di cittadini che possa avere una città, sono queglii che stanno nella mediocrità, perché sopra a questi s'ha a fare el fondamento, e contro a chi vuole tiranneggiare e contro alla plebe che voglia disordinare”¹⁵.

Nella stessa opera, laddove descrive il governo mediceo, Guicciardini presenta anche il secondo contesto, nel quale si situa la sua analisi: la relazione cioè tra legittimità e effetti. Nel bel mezzo del dialogo, Bernardo del Nero richiede ai suoi interlocutori, che il governo dei Medici venga giudicato non tanto per la sua natura, quanto per gli effetti che esso ha prodotto. Anche qui ritroviamo la riproposizione di un'indagine tutta giuridica, che Guicciardini iniziò durante la

¹⁵ Guicciardini F. *Dialogo del reggimento di Firenze* / A cura di G.M. Anselmi, C. Varotti. Torino, 1994. P. 71.

stesura delle *Storie fiorentine*, nei momenti lasciati liberi dalla professione legale, nel 1508-1509¹⁶.

Il ritratto di Lorenzo delle *Storie* è interamente modellato sugli schemi delineati da Bartolo da Sassoferrato nel suo trattato *De tyranno*: opera che Guicciardini, non solo in veste di studente di diritto, ma soprattutto come avvocato e consulente dovette frequentare con una certa assiduità, giacché nel 1509 gli toccò, in qualche modo, di confrontarsi sulla tirannide di Lorenzo, nella causa per la *restitutio in integrum* dei superstiti della famiglia dei Pazzi. In quel caso, studiato nel dettaglio da Osvaldo Cavallar, il giudice Piero Ludovico Saraceni presentò ai due giuristi Antonio di Vanni Strozzi e Francesco Guicciardini i suoi *dubia* attendendosi da loro i relativi *responsa*. Era in gioco la restituzione dei beni dei discendenti dei Pazzi, a seguito della cancellazione del bando avvenuta dopo il rivolgimento del 1494. Il processo di reintegrazione, di fatto, iniziò ben prima del 1494, ma i suoi strascichi giuridici proseguirono per anni. Esso rappresenta un caso di notevole rilievo per intendere la relazione tra diritto e politica nella transizione alla forma di governo repubblicana del '94¹⁷.

Nello scambio dialettico tra giudice e giuristi i problemi presentati erano diversi, pur non potendo segnalarli integralmente, andranno ricordati innanzitutto quelli relativi alla istituzione degli Ufficiali dei ribelli (2 maggio 1478), che dovevano procedere alla confisca dei beni di Iacopo. Il giudice segnalava che nella data in cui essi furono istituiti, Iacopo non poteva essere in alcun modo dichiarato “ribelle”, poiché tale fu solo dopo l’emanazione della sentenza di condanna, il 4 agosto dello stesso anno, dunque a distanza di

¹⁶ Si veda *Carta P*. Francesco Guicciardini, quello che scrisse questa storia...

¹⁷ *Cavallar O*. Il tiranno, i dubia del giudice e i consilia dei giuristi...

tempo dalla sua esecuzione, avvenuta il 29 aprile 1478. Le questioni investivano anche l'operato degli Otto di guardia, la cui sentenza, per difetto di autorità (*potestas et arbitrium*), era da ritenersi nulla. Gli Otto avevano infatti riservato a sé la cognizione della causa, pur delegando al podestà il pronunciamento della sentenza di condanna. La sentenza si rivelava dunque nulla secondo il principio per cui *delegata potestas non potest delegari*, poiché la giurisdizione e i poteri degli Otto erano stati loro conferiti specificatamente dal *populus Florentinus* e come tali non erano dunque a loro volta delegabili ad altri. Altro punto dubbio era rappresentato dall'assenza di citazione, fatto questo, che contravvenendo sia al diritto divino, sia al diritto naturale, inficiava e rendeva nullo il processo. È possibile, si domandava il giudice, che lo *ius proprium* possa eludere la citazione, cioè un elemento essenziale del processo? Quand'anche la provvisione che affidava agli Otto la soluzione del caso dei Pazzi avesse concesso loro l'arbitrio di procedere senza citazione, per via del valore non retroattivo della legge, ciò era da ritenersi come riferito unicamente ai casi futuri. Il giudice richiamava dunque la dottrina e naturalmente la clementina *Pastoralis cura*, a conferma della necessità della citazione anche nel caso del *crimen laesae maiestatis* e sia pure in presenza di crimine notorio. Ma è qui che sorgono i problemi che più interessano al nostro discorso. Se pure citazione ci fosse stata, infatti, asserisce il giudice, sarebbe stata di per sé nulla, poiché secondo il principio dichiarato nella clementina, nessuno può essere invitato a comparire dinanzi a un giudice che gli sia palesemente ostile e in luogo non sicuro. La questione, che fu ampiamente dibattuta dalla dottrina, trovò una sistemazione anche nel *De tyranno* di Bartolo e nel commento alla *l. Decernimus* (C. 1, 2, 16) di Baldo, laddove si affrontava il problema della validità o meno dei processi celebrati sotto un tiranno. E tale era stato di fatto dichiarato

Lorenzo nella provvisione del 28 gennaio 1495, in cui si sanciva la reintegrazione dei Pazzi. Il problema per il giudice era che nel testo della provvisione non compariva il termine “tiranno”, ma si faceva ricorso a una circonlocuzione: vi era scritto “che si vedeva volere turbare o occupare tale libertà”. Il giudice desiderava che i consulenti rispondessero a questo quesito: Lorenzo era tiranno o no? Non si dimentichi che la necessità di rivolgersi ai consulenti, tra i quali Guicciardini, era d’obbligo per il giudice, che a fine mandato sarebbe stato sottoposto a giudizio di sindacato, dovendo dunque rispondere pubblicamente delle sentenze emanate.

Il regime di Lorenzo poneva dunque concreti problemi giuridici, che richiedevano anche una soluzione giuridica. Non abbiamo la risposta dei consulenti sulla tirannide di Lorenzo, ma è importante sottolineare come la questione della natura del potere di mediceo fu per lui un problema giuridico concreto da sciogliere secondo quanto richiedeva il giudice col ricorso alla dottrina giuridica classica sul tema, il *De tyranno* di Bartolo innanzitutto.

Per comprendere la questione della tirannide in Guicciardini, alla quale egli dedica largo spazio nei suoi scritti, non ci si può tuttavia accontentare di un generico rinvio alla sua formazione giuridica e ai luoghi comuni ancora circolanti nella Firenze di inizio '500. La causa legale, con il suo corredo di fonti dottrinali, invitano, infatti, almeno a tentare una riflessione più puntuale. Una soluzione del problema sollevato nella causa sulla tirannide di Lorenzo sta nel ritratto che Guicciardini gli dedicò nelle *Storie fiorentine*. Se si considera l’abito giuridico dello storico, non basterà infatti notare il carattere “ambivalente”, “equivoco” e “ambiguo” del ritratto di Lorenzo presentato in quell’opera, segnalato da Felix Gilbert e neppure l’“immaturità stilistica”, notata da De Caprariis, che avrebbe condotto Guicciardini a

far proprio lo schema tradizionale, caro agli storici romani, dei “vizi e delle virtù”.

L'indagine sui vizi e le virtù finalizzata a comprendere se si è o meno in presenza di un regime tirannico è infatti suggerita al giurista dalle sue principali autorità dottrinali, dal trattato di Bartolo innanzitutto, laddove questi, discutendo della tirannide “velata”, richiama espressamente la lezione di Egidio Romano e proprio nel luogo in cui è posto in questione il problema della validità degli atti compiuti in tempo di tirannide “velata”. Si dà ad esempio il caso di un reggitore, dichiarava Bartolo, che pur opprimendo una parte dei cittadini, relegandoli in esilio o escludendoli dagli onori e dalle cariche pubbliche, governi bene la città e persegua la pubblica utilità. In questo caso non è possibile parlare propriamente di tirannide, perché è comunque fatto salvo il bene pubblico, che è opposto alla tirannide. Tuttavia in relazione ai cittadini che egli opprime (coloro che sono esclusi dalle cariche pubbliche), i suoi atti andranno comunque considerati come quelli di un tiranno. Niente impedisce infatti che qualcuno non possa essere dichiarato tiranno rispetto a certe persone, e “iustus iudex” rispetto alla comunità. Infatti, così com'è raro trovare un uomo il cui corpo sia interamente sano e privo di difetti, è altrettanto difficile reperire un regime che persegua unicamente il bene pubblico e nel quale non vi sia anche “un che di tirannide”, affermava Bartolo. Un tale governo, in cui il reggitore persegue unicamente il bene pubblico, senza prestare alcuna attenzione al proprio “particolare”, sarebbe infatti più divino che umano. Questa “realistica” considerazione implica che si possa chiamare buono quel regime in cui prevalga il perseguimento del bene pubblico, piuttosto che l'interesse privato di colui che governa, e tirannico quello in cui sia l'interesse privato a prevalere sul bene comune. Ciò è quanto dichiarava Egidio Romano nel terzo libro del *De regimine*

principum e ciò è quanto Bartolo richiedeva di prendere in considerazione nei casi in cui si renda necessario provare se qualcuno sia o meno un tiranno velato, occulto.

Alla luce di questo passaggio, che riconduce il discorso sui “vizi e le virtù” a uno schema prettamente giuridico sul modo in cui è possibile provare la tirannide, il ritratto di Lorenzo presente nelle *Storie fiorentine* assume un significato ben più interessante. Si trattò per Guicciardini di provare la tirannide velata e occulta di Lorenzo, proprio mediante un’indagine condotta sulla falsariga del trattato bartoliano. È al tiranno velato che egli pensa, quando afferma che Lorenzo, “in breve tempo prese tanto piede e tanta riputazione, che governava a suo modo la città, la quale autorità ogni dì multiplicandogli e di poi diventata grandissima pella novità del 78 e di poi per la ritornata da Napoli, visse insino alla morte governandosi e disponendosi la città tanto interamente a arbitrio suo, quanto se ne fussi stato signore a bacchetta”. La sua tirannide, desiderava provarla mediante testimonianze ricavate “da persone e luoghi autentichi e degni di fede, e di natura che, se io non mi inganno, ciò che io ne scriverò sarà la pura verità”¹⁸. E così scrisse, negli stessi giorni in cui era impegnato nella causa sopra ricordata:

“Furono in Lorenzo molte e preclarissime virtù; furono ancora in lui alcuni vizi, parte naturali, parte necessari. Fu in lui tanta autorità, che si può dire la città non fussi a suo tempo libera, benché abundantissima di tutte quelle glorie e felicità che possono essere in una città, libera in nome, in fatto ed in verità tiranneggiata da uno suo cittadino; le cose fatte da lui, benché in qualche parte si possino biasimare, furono nondimeno grandissime...”.

¹⁸ *Guicciardini F. Storie fiorentine / A cura di A. Monteverocchi. Milano, 2006. P. 171–184 (172–173).*

E sottolinea che Firenze restò comunque “una città liberissima nel parlare”. Su questo particolare aspetto, la libertà nel parlare, il giurista poteva fare affidamento sull'autorità di Baldo e sul già ricordato commento alla *l. Decernimus*, evocato anche nella causa dei discendenti dei Pazzi. Si tratta di un vero e proprio commento dell'allievo al trattato di Bartolo, in cui si legge che, “largo modo loquendo, omnis civitas est sub tyrannide quando subditi non possunt libera voce defendere bonum publicum”. È ancora alla natura occulta della sua tirannide che Guicciardini si riferisce dichiarando che Lorenzo fu “di natura molto superbo, ed in modo che, oltre al non volere che gli uomini si gli opponessino, voleva ancora intendessino per discrezione, usando nelle cose importante poche parole e dubie”. “Ma quello che fu in lui più grave e molesto che altra cosa”, continua Guicciardini, evocando il caso bartoliano precedentemente richiamato, “fu el sospetto, causato forse non tanto da natura, quanto dal cognoscersi avere a tenere sotto una città libera, e nella quale era necessario che le cose s'avevano a fare, si facessino da' magistrati e secondo gli ordini della città e sotto spezie e forma di libertà; e però ne' principi suoi, come prima cominciò a pigliare piede, attese a tenere sotto quanto poteva tutti quegli cittadini, e' quali conosceva o per nobiltà o per ricchezza o per potenza o per riputazione dovere essere stimati per lo ordinario”. Dunque, “non era spezie di una città libera e di uno cittadino privato, ma di uno tiranno e di una città che servissi. Ed insomma bisogna conchiudere che sotto lui la città non fussi in libertà, nondimeno che sarebbe impossibile avessi avuto un tiranno migliore e più piacevole”¹⁹.

La storiografia ha sottovalutato questo aspetto, che sembrerebbe particolarmente rilevante negli scritti

¹⁹ Ibid. P. 181.

guicciardiniani, ma anche savonaroliani. La tirannide medicea non si inserisce, per questi autori, nella duplice partizione, *ex defectu tituli* ed *ex parte exercitii*, che contraddistingue la figura del tiranno “manifesto” bartoliano. Si tratta invece di una tirannide “velata” o “tacita”, che Bartolo distingueva nelle due specie *propter titulum*, quando è esercitata sull’apparente rispetto delle regole costituzionali, ma violandone di fatto i limiti, o *ex defectu tituli*, ed è questa che qui più importa di considerare, cioè, la tirannide di un cittadino, che sulla base di un titolo al quale non è congiunto alcun potere o senza alcun titolo, “viene in tanta potenza, da nominare i magistrati secondo la sua volontà, così che questi gli obbediscano come se egli fosse il signore della città” (“in tantam venit potentiam, quod officia civitatis ordinat prout vult et officiales ei obediunt ut domino”). È proprio questa espressione che Guicciardini volge in volgare il ritratto di Lorenzo nella *Storia d’Italia*, laddove afferma che questi era un “cittadino tanto eminente sopra ’l grado privato nella città di Firenze che per consiglio suo si reggevano le cose di quella repubblica”. Nelle precedenti redazioni del passo, l’intento è ancora più esplicito. Cito solo alcune redazioni del travagliato incipit. Uno riporta: “Lorenzo de’ Medici che, benché privato cittadino, era in Firenze di tanta grandezza che e’ fussi capo e moderatore di quella repubblica; Lorenzo de’ Medici. che, trapassando nella città di Firenze di tanto el grado di privato cittadino, che a arbitrio suo si disponessino le cose di quella Repubblica”²⁰. Il termine arbitrio, in luogo di consiglio, rende più chiaro l’intento di Guicciardini. Arbitrio, rimanda immediatamente al potere del podestà di età

²⁰ Si vedano ora le diverse redazioni nel sito del progetto Storia d’Italia <https://guicciardini-storia-italia.huma-num.fr> da P. Moreno, P. Jodogne, É. Leclerc, S. Saïdi, J-L. Fournel, J-C Zancarini, M. Palumbo, G. Alfano, H. Miesse e P. Carta.

comunale, e può essere sciolto al modo in cui lo fa Guicciardini nei *Ricordi*, con “libera volontà”²¹. Tutto serve a sottolineare anche nell’elogio presentato nella *Storia d’Italia* la natura velatamente tirannica del regime di Lorenzo, su un piano strettamente giuridico.

In questo modo Guicciardini intendeva la tirannide dei Medici e non diversamente la intendeva Savonarola, il quale poteva dichiarare che proprio in quanto “velata” la tirannide dei Medici, non era riuscita ad estirpare dai cuori e dalle menti dei Fiorentini la loro antica consuetudine, “una seconda natura”, con il governo civile, che meglio corrispondeva alla loro “prima natura”.

Del resto lo stesso Lorenzo, poteva dire di sé: “Io non sono signore di Firenze, ma cittadino con qualche auctorità, la quale mi bisogna usare con temperanza et iustificatione”²². E tuttavia, nella dottrina giuridica, ben nota al Guicciardini, era contemplato, come si è visto, anche il caso di una simile specie di tirannide. Il problema, come affermava Bartolo, era dato dalla difficoltà di provare l’esistenza di una tale fattispecie tirannica in sede di giudizio. Lo si poteva fare unicamente per via indiziaria, ma restava pur sempre più complesso, rispetto alla tirannide manifesta. Infatti difficilmente un tiranno occulto entra in palazzo o rende esplicita la propria volontà con ordini apertamente impartiti. Ciò rendeva pressoché inutile un’azione contro un tiranno velato, presentata dinanzi all’imperatore, al superiore. E di fatto nessuno nella Firenze del ‘400 avrebbe richiesto all’imperatore, che si voleva tenere più lontano possibile, di riformare il regime cittadino. Le cose, come ben sapeva Guicciardini, cambiano se si è in presenza di un titolo

²¹ *Guicciardini F. Ricordi...* C 113. P. 100.

²² *Lorenzo de’ Medici. Lettere.* Vol. VI. Firenze, 1990. P. 100.

imperiale che in qualche modo legittima il governo. Ciò è quanto avverrà con Alessandro.

La ricerca guicciardiniana intorno alla natura del regime mediceo, che fin dagli anni giovanili rimase per lui una vera e propria tirannide velata, secondo lo schema bartoliano, rappresenta dunque una costante nel suo pensiero. Questi era infatti il principe di Guicciardini, un principe civile, un principe di una repubblica, un tiranno occulto.

*Emanuele Cutinelli-Rendina,
Université de Strasbourg*

**MACHIAVELLI E GUICCIARDINI
DALLA CRONACA MUNICIPALE
ALLA STORIA NAZIONALE**

In tutte le grandi storie della storiografia moderna – dalla pionieristica *Geschichte des neuen Historiographie* di Eduard Fueter alla sintesi che Benedetto Croce mise in appendice alla sua *Teoria e storia della storiografia* fino a opere più recenti, come quelle di Eric Cochrane o di Felix Gilbert – Machiavelli e Guicciardini appaiono a giusto titolo come gli inauguratori di un nuovo modo di concepire il racconto storiografico, gli autentici artefici di uno stile espositivo e di un'impostazione pragmatica tutta attenta ai fattori politici, che la storiografia moderna prenderà a modello. Ed è giudizio che, pur potendo essere sfumato o temperato, soprattutto quando si acquisisca una più larga conoscenza della storiografia anteriore, tanto in latino quanto in volgare, appare nell'insieme difficile da revocare in dubbio, trovando peraltro piena conferma nella prima ricezione di questi autori. In effetti, già alla metà del xvi secolo venne percepita la straordinaria novità rappresentata dall'opera dei due sommi storici fiorentini, e in particolare dalla *Storia d'Italia* di Guicciardini, considerata un irraggiungibile vertice di scrittura storiografica, al quale solo i classici dell'antichità potevano essere messi accanto (era questo, com'è noto, il giudizio di Jean Bodin, il quale anzi addirittura anteponeva Guicciardini agli storici classici). Per la verità va precisato che lungo la seconda metà del XVI secolo il nome di Guicciardini veniva associato piuttosto a quello di Paolo Giovio, che non a Machiavelli, in quanto lo

storico comasco sembrava offrire un ulteriore modello di opera storiografica, largamente diffuso in Europa, risolutamente moderno e classico a un tempo¹.

Quanto mai netto comunque appariva già ai primi lettori europei lo scarto che si poteva avvertire tra le opere di Machiavelli e di Guicciardini e quelle di chi prima di loro aveva scritto di storia, in Italia e altrove. Quel che distingueva i loro capolavori storiografici – ci si riferiva soprattutto alle *Istorie fiorentine* per Machiavelli e alla *Storia d'Italia* per Guicciardini, la quale rimase per secoli l'unico suo testo storiografico conosciuto – era lo sguardo singolarmente acuto con cui venivano analizzati i fattori politici della storia, per cui la trama degli eventi diplomatici e militari, che occupavano la parte maggiore delle loro narrazioni, veniva sempre illuminata da una logica superiore che ne spiegava la necessità intrinseca. Ma di particolare novità appariva anche la prospettiva sovramunicipale nella quale entrambi gli storici svolgevano il loro racconto. Non solo la *Storia d'Italia* di Guicciardini, ma le stesse *Istorie fiorentine* machiavelliane, a dispetto del titolo, indagavano il passato fiorentino alla luce della complessa rete di rapporti che la Città del Giglio aveva tessuto tra xiv e xv secolo con le altre entità politiche italiane, ed anche europee (la Francia e l'Impero, soprattutto). E proprio per questo, peraltro, le *Istorie* machiavelliane si aprivano con un primo libro che era

¹ Per una rapida sintesi della prima ricezione della *Storia d'Italia* guicciardiniana mi permetto di rinviare al *Cutinelli-Rendina E.* Guicciardini. Roma, 2009. P. 277–286; e per un inquadramento dello sviluppo della storiografia fiorentina a monte di Machiavelli, attento soprattutto all'impostazione formale del discorso storiografico e alla curvatura politica che esso prende, al mio studio *Cutinelli-Rendina E.* Dalla storiografia medioevale alla storiografia umanistica // *Cutinelli-Rendina E., Marchand J.-J., Melera Morettini M.* Dalla storia alla politica nella Toscana del Rinascimento. Roma, 2005. P. 19–62.

di fatto, come Machiavelli stesso lo definiva, un trattato di “storia universale”, ossia una storia dell’Italia medievale, dalla caduta dell’Impero romano in poi; e quindi un racconto in grado di fare da sfondo generale e dar senso alla storia della città di Firenze. Dunque, per Machiavelli come per Guicciardini si avevano per la prima volta racconti storici dalla prospettiva e dal respiro autenticamente “nazionali”. E ciò era quanto di meglio si adattava alla nuova Europa delle nazioni, che stava ormai prendendo coscienza di sé nel corso del xvi secolo. Di qui il divenire, per le opere di Machiavelli e di Guicciardini, un paradigma di scrittura storica per la nascente Europa delle nazioni.

E nondimeno, nonostante questa dimensione che le rendeva esemplari per la moderna storiografia europea, tanto le *Istorie fiorentine* di Machiavelli quanto la *Storia d’Italia* di Guicciardini costituivano il traguardo di un lungo percorso di apprendistato storiografico per entrambi gli autori, i quali avevano alle spalle una serie di meditazioni teoriche e di cimenti di scrittura storiografica di cui il lettore europeo del xvi secolo non poteva essere al corrente, e anzi per Guicciardini li ignorava del tutto. All’epoca, e ancora in anni relativamente recenti, si faceva risalire la novità di quei testi piuttosto alla lezione dell’antichità classica, in Italia ascoltata meglio e più a lungo che altrove. In realtà – e questo è il contributo che intendo arrecare con il mio intervento – le cose stavano alquanto diversamente, e la lezione dei classici antichi, pur indubbiamente operante in entrambe, entrava in altro modo e in altre proporzioni nella genesi della storiografia machiavelliana e di quella guicciardiniana.

I due sommi storici fiorentini iniziano in effetti a scrivere di storia all’insegna della tradizionale prospettiva di storia

cittadina, di un racconto ben circoscritto nell'orizzonte municipale. Ma una volta sottolineato questo punto, va anche osservato che pur nella comune prospettiva di partenza, sono ben significative le differenze dei rispettivi percorsi, proprio perché la tradizione storiografica fiorentina era alquanto diversificata al suo interno.

Per Machiavelli è l'ambiente della Cancelleria della Repubblica fiorentina che determina la natura e le caratteristiche delle sue prime prove propriamente storiografiche. Ci fu dapprima, com'è noto, l'incarico di scrivere una storia ufficiale della città, basandosi sul materiale e la documentazione che la stessa Cancelleria produceva. Era un incarico del tutto consueto per i Cancellieri della Repubblica, da Leonardo Bruni fino a Bartolomeo Scala. Ricevuto tale incarico nei primi anni del suo servizio in Cancelleria, Machiavelli non portò a termine il suo compito, né ci è giunto alcun suo testo compiuto di una certa ampiezza; rimangono però diverse testimonianze del suo lavoro preparatorio, in particolare appunti e spogli di notizie che egli poteva trarre dagli archivi della Cancelleria, nonché per esempio, la notizia che Machiavelli aveva costituito uno specifico dossier sul caso di Bernardo del Nero². Ma a questo lavoro, che sarebbe dovuto approdare a una storia della Firenze contemporanea che riprendesse il filo del racconto lì dove si era fermata quella di Bracciolini (l'altra, di Bartolomeo Scala, era rimasta inedita), si può ricondurre in qualche modo una cronaca cittadina, il *Decennale*, che è un poemetto in terza rima, in cui

² Il materiale storico redatto da Machiavelli all'epoca della Cancelleria è poco studiato, e meriterebbe maggiore attenzione, soprattutto adesso che è disponibile integralmente nel quadro dell'edizione nazionale dei suoi testi: *Machiavelli N. Opere storiche* / A cura di A. Montecchi e C. Varotti, coordinamento di G. M. Anselmi. Roma, 2010. T. 2. P. 905–1023.

Machiavelli si rifaceva alla tradizione popolare degli araldi della Signoria, i quali mettevano in versi i principali eventi storici che avevano interessato la città in un dato periodo, generalmente piuttosto limitato. Espressione quindi di una tradizione di poesia popolare, o canterina, come anche veniva definita, il *Decennale* era al tempo stesso il prodotto di uno specifico ambiente culturale e politico esistente in seno all'amministrazione cittadina. In tal senso il *Decennale* – che noi chiamiamo “primo” per distinguerlo da un secondo dello stesso genere, composto alcuni anni dopo e rimasto incompiuto – era anche un testo ‘militante’, di intervento politico a sostegno della linea del nuovo Gonfaloniere perpetuo di Firenze, Piero Soderini. La vicenda alquanto complessa della prima diffusione del poemetto testimonia perfettamente la finalità del testo³.

Dunque agli esordi di Machiavelli storiografo ci sono due distinte ma non divaricate tradizioni: quella della storiografia ufficiale che risaliva alle storie cittadine di Bruni e di Bracciolini, e non poteva che essere in latino; e quella di origine canterina, in volgare e in versi, dall'andamento assai meno solenne e tendente all'espressione alquanto corposa e popolare. In ogni caso si tratta di tradizioni “pubbliche”, che nascono nella pubblica amministrazione e al pubblico tornano con la pubblicazione. Negli anni spesi al servizio della Cancelleria Machiavelli si cimenta in entrambi i generi, ma nel primo si arresta ai primi appunti e schemi preparatori; mentre nel secondo produce un poemetto che oltre a essere il suo primo testo a stampa (1506), dovette portargli una certa

³ Anche in questo caso, per una più ampia contestualizzazione del primo *Decennale*, ci si può riferire alla nota al testo nell'edizione nazionale: *Machiavelli N. Scritti in poesia e in prosa* / A cura di A. Corsaro, P. Cosentino, E. Cutinelli-Rendina, F. Grazzini, N. Marcelli, coordinamento di F. Bausi. Roma, 2012. P. 3–51.

reputazione, nonché qualche fastidio e persino qualche ostilità da parte dei suoi nemici politici.

Le *Istorie fiorentine* nasceranno proprio dal prolungamento di questo impegno di storiografo pubblico, quando Machiavelli – dopo la catastrofe del 1512, e la lenta riconquista della fiducia dei nuovi signori di Firenze – riuscirà a trovare la via per una committenza pubblica e ufficiale. Il che avvenne tra il 1519 e 1520, prima con la *Vita di Castruccio Castracani* e poi, appunto, con le *Istorie fiorentine*, che gli furono commissionate dallo Studio di Firenze, ma di fatto dal cardinale Giulio de' Medici. Il punto di partenza di queste *Istorie fiorentine* – tutto interno alla prospettiva cittadina, come la committenza esigea, e quindi in quanto tale piuttosto tradizionale – viene però superato *in itinere* grazie alla costruzione di un originale discorso storiografico. In tale senso, grazie allo specifico discorso che dispiegano, le *Istorie fiorentine* sono anche la prima vera storia 'politica' del medioevo italiano, con una ben precisa opzione valutativa, che vede nello svolgimento storico dell'Italia medievale una storia di decadenza assoluta, e nella preponderanza politica conquistata dalla Chiesa di Roma l'elemento unificatore di tale storia⁴.

Alquanto diverso rispetto a quello di Machiavelli è il caso di Francesco Guicciardini, il quale pure esperì la medesima traiettoria che lo condusse dalla scrittura storiografica in prospettiva puramente municipale dei suoi esordi, alla prospettiva nazionale, e in verità autenticamente europea, alla quale approdò con la *Storia d'Italia*, prima vera storia

⁴ Importante per un'analisi delle *Istorie fiorentine* in tal senso Sasso G. Niccolo Machiavelli. Vol. II: La storiografia. Bologna, 1993. P. 47–159.

d'Europa quando la si intenda come storia di quel problema europeo che tra fine xv e primi del xvi secolo furono le guerre per la supremazia in Italia. Gli esordi di Guicciardini non hanno nulla dell'ufficialità che aveva visto l'avvio della scrittura storiografica presso il suo più anziano amico, segretario della Seconda Cancelleria della Repubblica fiorentina: avvengono piuttosto per impulso personale e nel solco di una scrittura familiare, di fatto segreta, tipica nei fiorentini del suo tempo e del suo ceto. La tradizione a cui si riallacciava Messer Francesco era quella di una scrittura tutta risolta nell'ambito familiare, scrittura che poteva oscillare tra la cronaca cittadina e la registrazione memorialistica di materia più o meno privata, ma il cui scopo rimaneva comunque una sorta di *paideia* politico-civile a beneficio dei discendenti della famiglia. Questi ultimi in effetti dovevano imparare a muoversi nella vita pubblica facendo tesoro della saggezza che i più vecchi consegnavano alle loro scritture segrete (il libri di famiglia, i diari, i "ricordi", ossia gli avvisi e gli ammonimenti che i più anziani stendevano in raccolte di brevi riflessioni e massime). Questa è insomma la radice delle *Storie fiorentine*, che Guicciardini scrisse prima dei suoi trent'anni, poco dopo il proprio matrimonio. Dopo d'allora, a motivare e nutrire la sua scrittura storiografica – sempre al di fuori di qualsiasi committenza pubblica, e anzi praticata nella pressoché totale segretezza – valse più di tutto l'esperienza personale e i ruoli via via sempre più prestigiosi che egli ricoperse sulla scena politica dei suoi tempi, fino a divenire l'artefice della politica della Chiesa nei primi anni del papato di Clemente vii.

Per comprendere a pieno la svolta della sua scrittura storiografica, bisogna infatti riferirsi alla sua eccezionale carriera politica, e poi anche alla catastrofe a cui essa andò incontro. Il fallimento della linea che egli aveva impresso alla politica pontificia, con il disastro della lega di Cognac, il

successivo sacco di Roma e la prigionia del papa (1527), imposero a Guicciardini una meditazione su quella sconfitta, che era stata una sconfitta personale ma anche più in generale una sconfitta del ‘sistema’ degli stati italiani. Questa nuova meditazione fu nel suo fondamento anzitutto personale, visto il ruolo e le responsabilità che aveva avute, e risultò quanto mai tormentata dispiegandosi in molteplici testi: per rimanere a quelli di più diretta impostazione e strutturazione storiografica, vanno ricordati il ritorno, dopo le *Storie fiorentine*, sulla storia di Firenze delle origini, con le *Cose fiorentine*, rimaste in tronco dopo due libri e qualche altro più o meno ampio frammento; i *Commentari della luogotenenza*, tutti centrati sulla propria esperienza diplomatica di artefice della lega di Cognac e di luogotenente degli eserciti papali, testo anche questo abbandonato per l’insoddisfazione nei confronti dell’impianto generale che non spiegava veramente la materia da trattare; e quindi, infine, la *Storia d’Italia*, la cui genesi a partire dal nucleo dei *Commentari della luogotenenza* trova autentica giustificazione nella volontà di comprendere la propria personale sconfitta politica nel quadro della catastrofe generale e della fine della libertà italiana⁵.

Machiavelli giungeva insomma alla storia nazionale da un’esperienza personale di attore sulla scena politica relativamente modesta e ormai cronologicamente piuttosto remota, ma con una commissione prestigiosa e pubblica da parte dei nuovi signori della città, i quali con quell’opera si

⁵ Per un’analisi più accurata di questa parabola intellettuale ed esistenziale, che si riverbera poi nell’opera storiografica, mi permetto ancora di rinviare al *Cutinelli-Rendina E. Guicciardini...* P. 148–217, dove si troverà anche l’indicazione della principale letteratura critica pregressa.

illudevano di uscirne glorificati. Al contrario Francesco Guicciardini, senza dover soddisfare alcun pubblico impegno né doversi rivolgere ad alcun pubblico determinato, vi giungeva con una motivazione tutta personale e privata, ossia per chiarirsi il contesto e il senso della propria sconfitta, e così costruiva in sede storiografica quell'autentica prospettiva nazionale che non era riuscito a costruire in sede politica.

Raffaele Ruggiero,
Aix-Marseille Université
Centre Aixois d'Études Romanes

GUICCIARDINI STORICO DEL PRESENTE E L'ARCHEOLOGIA MACHIAVELLIANA

Il lessicografo Arpocrazione, autore a metà del II secolo d. C. di un *Lessico dei dieci oratori*, ci ha conservato un frammento tratto dal presumibile prologo metodologico dell'opera storica di Eforo, scolaro di Isocrate. Eforo sottolineava una differenza notevole tra scrivere di storia contemporanea e scrivere degli eventi di un remoto passato: “Per gli eventi accaduti nel nostro tempo, noi riteniamo massimamente fededegni coloro che ne scrivono con ricchezza di particolari; chi scriva allo stesso modo di storia arcaica – soggiungeva Eforo, – noi pensiamo che sia massimamente inaffidabile, tenuto conto che sia tutti gli accadimenti sia la maggior parte dei discorsi non è verisimile siano ricordati con tanta acribia”¹. Questa distinzione tra le modalità che debbono esser proprie a chi scriva di storia contemporanea e quelle, assai diverse, di chi si accosti al passato più remoto non è stata forse espressa altrove con altrettale chiarezza, ma faceva parte integrante dei saperi condivisi di una tradizione classicista che, nell'età di

¹ “περὶ μὲν γὰρ τῶν καθ’ ἡμᾶς γεγενημένων» φησὶ «τοὺς ἀκριβέστατα λέγοντας πιστοτάτους ἡγοῦμεθα, περὶ δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς οὕτω διεξιόντας ἀπιθανωτάτους εἶναι νομίζομεν, ὑπολαμβάνοντες οὔτε τὰς πράξεις ἀπάσας οὔτε τῶν λόγων τοὺς πλείστους εἰκόδες εἶναι μνημονεύεσθαι διὰ τοσοῦτων”: *FGrHist* 70 F 9. Ha attirato l'attenzione su questo testo, discutendone la trama di rimandi: *Canfora L. Le vie del classicismo. Vol. 3: Storia, tradizione, propaganda. Bari, 2004. P. 171–175* (il capitolo deriva da un saggio relativo al rapporto tra mito e storiografia risalente al 1990).

Machiavelli e Guicciardini, poteva senz'altro fondare una riconoscibile teoria storiografica su testi canonici (dalle battute di Antonio nel II libro del *De oratore* ciceroniano all'impegnativa elaborazione del *Brutus*), per non dire di quella teoria storiografica vivente e diffusa *in re* che, tra XV e XVI secolo, si andava ricostruendo attraverso la frequentazione intensiva degli autori antichi².

In parallelo rispetto al maturare di una nuova sensibilità teorica, emergeva anche un'attenzione particolare per la selezione e l'impiego del materiale documentario nella scrittura storiografica, proprio con particolare riguardo a chi si impegnava a fare storia delle vicende a lui contemporanee o di cui era stato, magari per necessità d'ufficio, testimone in prima persona. Una cosa è informare tempestivamente, sull'onda schiacciante degli eventi, di quanto accada in un teatro di guerra o presso una corte straniera, altra cosa è dare senso a quel racconto; trasformarlo, attraverso una scrittura che si propone come inchiesta del mondo, in un discorso di senso, in una *storia*. Machiavelli senz'altro ha primeggiato in questa attività che, tradizionale e 'classica' quant'altre mai, diremmo tipica del procedere di uno storico antico o di uno moderno educatosi nel solco della cultura umanistica; ed egli la trasforma e declina secondo guise originali e proprie della sua prassi scrittoria.

² Occorre ricordare che un estratto dal *De oratore*, II xv 63–64; e uno dall'*Orator*, XII xxxvi 39, figurano tra le note preparatorie all'inizio della sezione del manoscritto AGF CGF X contenente i guicciardiniani *Commentari della luogotenenza* (poi destinati a rifluire, modificati, nei libri XVI e XVII della *Storia d'Italia*). Cf. *Ridolfi R.* *Genesi della storia d'Italia* (1938) // *Idem.* *Studi guicciardiniani*. Firenze, 1978, dove a p. 82 n. 2 lo studioso soggiungeva: «Non voglio dire che il Guicciardini scrisse così la *Storia d'Italia* perché vi fu indotto dai precetti ciceroniani: dico che mai, forse, precetto letterario e natura di scrittore s'incontrarono in modo così mirabile e singolare».

Non ricorderò certo i casi celebri di trasposizione machiavelliana di materiali documentari in monografie storiche e quindi in pagine di trattatistica politica che, ben riconoscibili e da tempo indicate all'attenzione degli studiosi, hanno fatto recentemente l'oggetto di indagini approfondite: dalle lettere della cosiddetta 'seconda' legazione al Valentino, al *Modo che tenne il duca Valentino*, alle pagine del VII capitolo del *Principe*; o ancora dalle lettere tirolesi della 'prima' legazione imperiale alle operette sulla Germania fino al capitolo X del *Principe*. Un *modus operandi* che non sfuggì certo a Guicciardini il quale, lo ha più volte dimostrato Emanuele Cutinelli-Rendina (per esempio nel caso celebre della *descriptio urbis* dedicata a Verona), dall'alto della sua autorevolezza l'archivio dei Dieci se lo era addirittura portato a casa, per poter fruire con maggiore agio di tutti i documenti ivi raccolti nell'attendere alla sua *Storia d'Italia* e, possiamo forse dire, dedicare una lettura particolarmente attenta alle corrispondenze di quel sodale in cui si rispecchiava con sentimenti alterni, ma di cui forse per primo riconobbe la geniale e sconvolgente originalità intellettuale³.

Le opere storiche di questi due autori, tuttavia, segnano una differente scelta di campo⁴. Machiavelli, nelle vicende della 'prima' repubblica fiorentina, aveva impegnato ogni energia e poteva ben dire a Vettori che “quindici anni, che io

³ Cutinelli-Rendina E. La geografia nella Storia d'Italia, in La Storia d'Italia di Guicciardini e la sua fortuna / A cura di C. Berra e A.M. Cabrini. Milano, 2012. P. 305–327.

⁴ Per le edizioni delle *Istorie fiorentine* e della *Storia d'Italia* si farà riferimento a: Machiavelli N. Opere storiche / A cura di A. Montevecchi e C. Varotti, coordinamento di G.M. Anselmi. Roma; Salerno, 2010. T. 1–2; Guicciardini F. Storia d'Italia / A cura di S. Seidel-Menchi, con un saggio introduttivo di F. Gilbert. Torino, 1971; e *Idem*. Storia d'Italia / A cura di E. Scarano. Torino, 1981.

sono stato a studio all'arte dello stato, non gli ho né dormiti né giuocati”⁵. Chiamato finalmente dal card. Giulio de' Medici a scrivere una storia fiorentina, un compito – è bene sottolinearlo – tipico del “cancelliere a riposo”, e dunque un duplice riconoscimento per colui che a lungo era stato tenuto dai Medici lontano dagli uffici, Niccolò rinuncia a una storia contemporanea e ci propone un'archeologia (ma su questo, e sulla ‘completezza’ delle *Istorie fiorentine*, torneremo tra poco)⁶. Guicciardini, che per tutta la vita ha scritto solo per sé e al massimo per il ristrettissimo pubblico dei familiari, che ha concepito la scrittura in una dimensione privata e strumentalmente conoscitiva, impegnandosi per la prima volta in un'opera che si vuole pubblica – al punto da sottoporla a una complessa revisione linguistica e formale – sceglie il più scottante dei temi: la storia contemporanea di cui egli stesso è stato protagonista. Egli assoggetta così il proprio operato al giudizio della posterità: un rischio, calcolato quanto si voglia nei chiaroscuri del racconto, che a quel punto della sua esperienza esistenziale nessun vantaggio poteva comportare, ma che una volta di più ci mostra quale fosse l'atelier di uno storico classicista, e l'impegno raffinato nella selezione delle fonti, nel dosaggio dei dettagli, nella costruzione del racconto.

Un documento ben noto risulta di singolare interesse per avviare una prima analisi sulle scelte di metodo che si prospettarono a Niccolò Machiavelli sul volgere dell'estate 1520, accingendosi al progetto – a quel momento non definito nei suoi contorni – delle *Istorie fiorentine*. Si tratta

⁵ *Machiavelli N.* Lettere (corrispondenza privata) // Idem. Opere / A cura di C. Vivanti. Torino, 1999. Vol. 2. P. 297.

⁶ Nuovi lumi verranno sul tema con la pubblicazione dei frammenti storici machiavelliani scoperti da Daniele Conti presso la Biblioteca nazionale centrale a Firenze e di cui si annuncia l'imminente edizione critica (“Corriere della sera”, 8 ottobre 2020).

della lettera che Niccolò indirizzò a Francesco del Nero, suo cognato e provveditore dello Studio, databile ai primi mesi dell'autunno 1520 e comunque anteriore all'8 novembre. Lo Studio, sotto l'autorità del card. Giulio de' Medici, e per sollecitazione di un influente quanto dovizioso gruppo di notabili fiorentini di cui si era fatto portavoce Battista della Palla, dava a Machiavelli, l'8 novembre 1520, formale commissione di scrivere *annalia et cronacas* della città; Niccolò si era premurato di redigere per il cognato la minuta della commissione che egli si accingeva (finalmente!) a ricevere. Seguiamo la successione degli avvenimenti e dello scambio epistolare. Battista Della Palla informa da Roma Niccolò di un colloquio assai positivo con Leone X intorno al futuro di Machiavelli:

“Ho preso commissione di dire al cardinale de' Medici da parte di Sua Santità, come io sarò costi, che gli fia molto grato che oramai la buona volontà che ha Sua Signoria Reverendissima di farvi piacere, abbia effetto: e credi dirlielo con tale efficacia et essermi in modo creduto, che non sarà stato invano; e questo è intorno a farvi dare una provisione per scrivere o altro, come s'è ragionato più di fa, del che parlai distesamente al papa, et in su questo presi la soprascripta commissione”⁷.

Nell'autunno 1520, comunque prima dell'8 novembre, data in cui fu redatta la commissione dello Studio, Machiavelli scriveva a Francesco del Nero:

“La sustanza della condotta sia questa. Sia condotto per anni ecc. con salario ogni anno ecc. con obbligo che debba e sia tenuto scrivere gli annali o vero le istorie delle cose fatte da lo stato e città di Firenze, da quello tempo gli parrà più

⁷ Ivi. P. 362.

conveniente, et in quella lingua o latina o toscana che a lui parrà”⁸.

Ciò che emerge con maggior evidenza nella minuta che l'autore redige per le istruzioni che egli stesso sta per ricevere è il bisogno di tenersi le mani libere sotto ogni aspetto: l'opera potrà essere scritta in latino o in “lingua toscana”, potrà avere un'estensione cronologica variabile, potrà assumere la forma di “istorie” ovvero “annali”. Dunque a quest'altezza cronologica, quando finalmente sta per materializzarsi una commissione retribuita per conto dei nuovi signori di Firenze, quando finalmente Niccolò sembra in procinto di uscire dal limbo in cui è stato per otto anni, quando egli sta per ricevere un agognato incarico (per il quale egli ha forse anche fatto una sorta di ‘prova generale’, costituita dalla monografia storica alquanto fantasiosa, ma non priva di raffinata elaborazione retorica, relativa alla *Vita di Castruccio Castracani* allestita nel corso della stessa estate 1520), ecco che le scelte di fondo sono ancora tutte da fare: i limiti cronologici, la forma letteraria e la lingua sembrano ancora essere indecisi nella mente del futuro storico-scrittore⁹.

E l'incertezza era destinata a durare se il *Proemio* alle *Istorie*, che con ogni probabilità sembra scritto quando i primi quattro libri erano già composti (di essi infatti fornisce un ragguglio preciso, mentre sul seguito l'autore resta cautamente vago), propone ancora una situazione fluida e non definita¹⁰. Machiavelli avrebbe voluto dare avvio alla

⁸ Ivi. P. 367.

⁹ Si veda in generale: *Varotti C.* Le Istorie fiorentine e la Vita di Castruccio Castracani // Machiavelli / A cura di E. Cutinelli-Rendina e R. Ruggiero. Roma, 2017. P. 97–117.

¹⁰ Cf. *Sasso G.* Niccolò Machiavelli. Vol II: La storiografia. Bologna, 1993. P. 11 e n. 10. Il grado di fluidità nella strutturazione dell'opera appare evidente ancora nel cap. 2 del libro II, laddove – occupandosi di

propria opera con il 1434, allorquando la famiglia de' Medici, in particolare con Giovanni e Cosimo, aveva assunto un riconoscibile primato politico nella città. Questo *terminus a quo* era scelto nella convinzione che Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini, suoi predecessori immediati nell'impegno storiografico 'fiorentino', avessero assolto in modo definitivo il compito per gli anni che precedono. Egli si avvide però che i due illustri modelli avevano trattato sì con acribia della politica 'estera' fiorentina, ma avevano invece volutamente trascurato la politica 'interna' e soprattutto la cronaca delle numerose lotte intestine e faziose che la occupano. Preoccupazione comprensibile la loro, soggiunge Machiavelli, nel non voler recare offesa ai discendenti di quelle influenti famiglie che si spartirono il potere nel corso del tempo; e tuttavia un'omissione che priva la storia di quel fondamentale insegnamento politico che essa può dare, dal momento che "se niuna lezione è utile a cittadini che governano le repubbliche, è quella che dimostra le cagioni degli odi e delle divisioni delle città, acciò che possano, con il pericolo d'altri diventati savi, mantenersi uniti" (*Istorie fiorentine*, proemio). E dunque la "istoria" di Niccolò dovrà cominciare dalla fondazione di Firenze, dedicando un'attenzione particolare alle lotte intestine fino al 1434 (trascurate da Bruni e Poggio), e poi dedicando una uguale attenzione alla politica interna e a quella estera per le vicende che seguono, e che nel proemio non sono

fondazione romana e nome della città di Firenze, della rifondazione ad opera di Carlo Magno, e infine delle prime discordie intestine – Machiavelli fa riferimento alla condizione della città sotto i successori di Carlo come di un argomento affrontato nel suo «trattato universale», così definendo l'intero primo libro delle *Istorie fiorentine*. E' evidente che, chi così scriva, sta definendo in modo progressivo il raggio cronologico e spaziale del proprio oggetto di studio. Cf. ancora Sasso G. Op. cit. P. 24 e n. 29 (con la bibliografia indicata) per la cronologia del *Proemio*.

specificate, né si specifica il numero di libri necessario a trattarle.

Occorre a questo punto sottolineare un aspetto che, tra le molte scelte che si impongono a chi si accinga a scrivere una storia e che Machiavelli cercò di mantenere fino a un certo punto aperte e *in fieri*, emerge all'attenzione. Gennaro Sasso ha a suo tempo sottolineato come l'opzione del volgare e la presa di distanza rispetto a Bruni e Poggio (e forse implicitamente rispetto a Bartolomeo Scala) coincida con la più forte censura sollevata a carico delle storie dei cancellieri umanisti che lo avevano preceduto: essi avevano mancato di dare opportuno rilievo ai conflitti intestini e al loro ruolo propulsivo nella storia della città¹¹. Machiavelli, che nel suo specialissimo volgare, aveva fatto di quei conflitti un nocciolo problematico della sua teoria politica, indossando i panni dello storico e riproponendo alla propria attenzione il medesimo oggetto, ma sotto una prospettiva di lungo periodo, sente con evidenza il bisogno di farlo nella lingua che egli ha usato per chiarire a se stesso e a tutti gli addetti ai lavori, che sono i suoi lettori d'elezione, la portata politica di quel tema¹². E' questa una dimostrazione patente, se mai ce ne fosse bisogno, della consapevolezza che Machiavelli ebbe, nel solco della tradizione classicista, che la storia non vive se non attraverso la scrittura.

La questione del conflitto tra le parti (e probabilmente altre considerazioni non esplicitate ma non meno efficaci) indussero l'autore non solo ad anticipare largamente il *terminus a quo*, fino a partire dalla fondazione della città, ma anche a premettere un primo libro che, nel progressivo delinarsi del suo progetto scrittorio, assumeva i caratteri di

¹¹ Ivi. P. 18–21.

¹² Cf. *Bruni F.* La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini. Bologna, 2003. P. 459–489.

un «trattato universale» (*Istorie* II, 2 e qui n. 9). Ancora più scottante è la questione del *terminus ad quem*, proprio per i caratteri ambigui, e ancora una volta aperti a rispondere a differenti opportunità, con cui Machiavelli propone nella *Dedica* a Giulio de' Medici (asceso nel frattempo al soglio pontificio con il nome di Clemente VII) il punto d'arrivo: il 1492 della morte di Lorenzo il Magnifico (o il 1494 della discesa in Italia di Carlo VIII), o piuttosto una data che addirittura coincida con il suo presente.

“Ed essendo pervenuto, scrivendo, a quelli tempi i quali, per la morte del Magnifico Lorenzo de' Medici, feciono mutare forma alla Italia, e avendo le cose che di poi sono seguite, sendo più alte e maggiori, con più alto e maggiore spirito a descriversi, ho giudicato essere bene tutto quello che insino a quelli tempi ho descritto ridurlo in uno volume e alla Santissima V.B. presentarlo, acciò che Quella, in qualche parte, i frutti de' semi Suoi e delle fatiche mie cominci a gustare” (*Istorie fiorentine*, dedica).

Se Clemente VII può “cominciare a gustare” le “fatiche” di Niccolò, non è escluso che egli possa poi continuare, specie se a questo primo “volume”, l'autore sia indotto ad aggiungerne uno o più successivi “con più alto e maggiore spirito”. Altrettanto certo è però che quella diagnosi secondo cui la morte di Lorenzo “fece mutare forma alla Italia”, costituisce un solido argomento per fissare il punto d'arrivo razionale di un processo storico che si intende per una parte concluso e seguito da una fase diversamente connotata, anche se qui cautamente indicata con la generica espressione di “cose... più alte e maggiori”.

A far pendere la bilancia per la possibilità concreta di una continuazione della storia fino all'età presente, è la dichiarazione che conclude il *Proemio*, scritto invece quando i primi quattro libri sono compiuti, ma non i quattro restanti, e soprattutto quando il committente cardinale de' Medici non

solo non è ancora asceso al pontificato, ma probabilmente versa in una situazione politica delicata all'indomani della congiura della primavera-estate 1522. A conclusione di questo proemio Machiavelli, dopo aver in dettaglio chiarito i contenuti dei primi quattro libri, scrive: “dal qual tempo di poi particolarmente le cose seguite dentro a Firenze e fuora, infino a questi nostri presenti tempi, si descriverranno” (*Istorie fiorentine*, proemio). Il permanere, nella copia di dedica, di questa duplice opzione cronologica (fino alla morte di Lorenzo ovvero “infino a questi nostri presenti tempi”) rinforza in termini materiali il carattere premeditato di una tale ambiguità e la possibilità di una continuazione.

Accingendosi con il quinto libro a dare avvio alla seconda parte delle *Istorie*, quella in cui non occorre più risarcire le lacune lasciate da Bruni e Poggio in tema di politica interna fino al 1434, ma l'autore può procedere liberamente con quella storia che fin da principio si era proposta come proprio oggetto, ecco che la cesura del 1494 si riaffaccia con tutta la sua evidenza, nel quadro di una diagnosi severa della corruzione italiana: “quella virtù che per una lunga pace si soleva nelle altre provincie spegnere fu dalla viltà di quelle in Italia spenta, come chiaramente si potrà cognoscere per quello che da noi sarà da il 1434 al '94 descritto dove si vedrà come alla fine si aperse di nuovo la via a' barbari e riposesi la Italia nella servitù di quelli” (*Istorie fiorentine* V, 1). Data l'importanza del capitolo proemiale del quinto libro, un vero 'secondo prologo' nella struttura delle *Istorie*, è evidente che qui Machiavelli annuncia di voler giungere fino al 1494, e lì concludere almeno questo primo “volume”.

Una prima considerazione è che nel rapporto che si instaura tra la data del 1492 (morte di Lorenzo proposta come punto d'arrivo del primo volume delle *Istorie* nella dedica a un pontefice che è il secondo papa di casa Medici) e quella del 1494 (discesa di Carlo VIII in Italia e conseguente

estromissione dei Medici dal governo e dalla città di Firenze) c'è in primo luogo un rapporto di opportunità, che induce nella dedica a mettere in evidenza una data piuttosto che l'altra, e in secondo luogo un rapporto di causalità che Machiavelli non sente il bisogno di esplicitare, ma che Guicciardini non avrà invece problemi a rendere evidente nel capitolo primo, e più in generale nei capitoli 1-9 del primo libro della *Storia d'Italia*.

L'idea poi di proseguire ben oltre il 1494 e davvero "infino a questi nostri presenti tempi" trovava poi un duplice e opposto ostacolo: per un verso implicava il discutere dell'allontanamento dei Medici da Firenze, della repubblica savonaroliana e poi soprattutto soderiniana, e del ruolo in essa svolto dal segretario della seconda cancelleria (con tutto il retaggio di odio non sopito dei Medici verso Piero Soderini, morto il 13 giugno 1522 ancora col sospetto di essere stato coinvolto a distanza nella congiura contro il cardinale de' Medici, e i cui beni furono infatti sequestrati); e per altro opposto verso implicava il discutere del trionfale ritorno dei Medici nel 1512, delle loro oscillazioni tra un reggimento "civile" o principesco della città, e comunque dell'allontanamento di Niccolò dai pubblici uffici. Ma proprio perché di segno così diverso e francamente opposto, non si possono queste due motivazioni addurre congiuntamente come cause di una decisione machiavelliana di fermare la storia *al di qua* di quei difficili momenti; e proprio il carattere in certa misura compensativo che una vicenda ha sull'altra, ben si sarebbe prestatto a una virtuale continuazione delle *Istorie*, da chi non solo aveva tutti gli strumenti per farlo, ma anche da chi sia in privato (le lettere a Vettori e poi quelle a Guicciardini, talune espressamente concepite per essere mostrate a Leone X o almeno al card. Giulio) sia in pubblico col *Principe*, coi *Discorsi*, e infine con gli scritti costituzionali del 1520-1522, su questi temi

aveva già preso posizione a più riprese, scopertamente. Al punto in cui si era tra il 1520 (commissione delle *Istorie*) e il 1522 (progetto di riordino costituzionale e suo fallimento conseguente la congiura contro Giulio de' Medici), una trattazione storiografica avrebbe solo potuto giovare a meglio delineare e, ove occorresse, smussare quanto già ben noto sulla posizione politica di Machiavelli. Se poi si ricordi come all'indomani di una congiura in cui i maggiori amici e sostenitori di Machiavelli si trovarono ad essere implicati, lui restò a tal punto al di là di ogni sospetto da conservare la sua commissione 'storica' e dunque le grazie di Giulio de' Medici, risulta evidente come una continuazione delle *Istorie* su terreni difficili ma certo non impossibili non fosse affatto impraticabile.

E' ben vero che le varie occorrenze in cui nelle *Istorie* Machiavelli promette, magari implicitamente, un prosiegua della narrazione fino al tempo presente, possono ritenersi dettate da ossequio a una consuetudine retorica: così per il preannuncio della futura fama e gloria di quel Giulio, figlio naturale destinato al pontificato (*Istorie* VIII, 9: "il quale fu di quella virtù e fortuna ripieno, che in questi presenti tempi tutto il mondo cognosce, e che da noi, quando alle presenti cose perverremo, concedendone Iddio vita, sarà largamente dimostro"), ovvero per l'opposto ammonimento sulle imminenti sciagure d'Italia che chiude l'ultimo capitolo delle *Istorie* (VIII, 36: "subito morto Lorenzo cominciarono a nascere quegli cattivi semi i quali, non dopo molto tempo, non sendo vivo chi gli sapesse spegnere, rovinarono, e ancora rovinano, la Italia"). Ma è altrettanto vero che il numero delle attestazioni che indirizzano verso un almeno possibile prosecuzione dell'impegno storiografico si fa più consistente, e induce a prendere in considerazione se non l'assoluta genuinità del proposito, almeno la percezione che in Machiavelli dovette essere acuta di una distinzione a più

effetti rilevante tra storia contemporanea e storia di un passato remoto, e la correlativa idea che il passaggio da un'attività all'altra esigesse un impegno specifico.

Ed è proprio quando il racconto è giunto “infino alla morte di Lorenzo” (così Vettori in una lettera a Machiavelli dell'8 marzo 1525) che, con il solito consiglio frigido e indeciso di Vettori, Niccolò decide di recarsi a Roma e di offrire il manoscritto di dedica di quel primo volume a Clemente VII¹³. E basterebbe dire che siamo due settimane dopo la battaglia di Pavia per intendere agevolmente di cosa si discutesse in quei giorni e in quelle ore nella curia pontificia. Ancora dal cognato Francesco del Nero, e siamo ora al 27 luglio del 1525, Niccolò riceve una lettera che attesta delle sollecitazioni per un rinnovo dell'incarico storiografico e per un aumento di salario, un'istanza alla quale non era estraneo un personaggio di spicco nelle finanze medicee e pontificie come Filippo Strozzi. Colui che aveva appena presentato al papa il primo “volume” della propria storia, non sembra dunque affatto alieno al proposito, almeno eventuale, di proseguire l'opera.

“Filippo Strozzi mi scrive avere parlato a la Santità di nostro Signore, sopra a lo augmento de la vostra provisione, e truovala benissimo disposta. Onde ricorda che, quando prima siate in Firenze, gli scriviate un motto, ricordandoli la faccenda vostra: e Filippo mostrerà il capitolo a Sua

¹³ *Machiavelli N.* Lettere. P. 391: “[il papa] mi domandò per se medesimo di voi e disse mi se avevi finito la Istoria, e se l'avevo veduto; e dicendo io averne veduto parte e che avevi fatto insino alla morte di Lorenzo, e che era cosa da soddisfare, e che voi volevi venire a portargnene, ma io rispetto a' tempi ve n'avevo dissuaso, mi disse: “E' doveva venire, e credo certo ch' e libri suoi abbino a piacere e essere letti volentieri” (F. Vettori a Machiavelli, 8 marzo 1525: “[il papa] mi domandò ...”).

Beatitudine, et opererà che qui ne venga la commissione; sì che le felicità vostre moltiplicano”¹⁴.

E addirittura la continuazione dovette forse cominciare ad abbozzarla: l'interessamento dello Strozzi sembra determinante, la decisione assunta a Roma giunge a Firenze e il rinnovo dell'incarico con aumento di stipendio è perfezionato nell'autunno. Machiavelli può scrivere dopo il 21 ottobre 1525 a Francesco Guicciardini: “Io ebbi quello aumento insino in cento ducati per la Istoria. Comincio ora a scrivere di nuovo, e mi sfogo accusando i principi, che hanno fatto tutti ogni cosa per condurci qui”¹⁵.

Se dunque non è impossibile, anzi è espressamente dichiarato dall'interessato, che un proseguimento dell'esercizio storiografico lo impegnasse nei mesi e negli anni successivi alla presentazione del primo “volume” a Clemente VII, da un lato questa constatazione nulla sottrae alla coerenza interna di quel primo volume, dall'altro richiede di tornare al *terminus a quo* delle *Istorie*. Avendo dichiarato di voler cominciare se non dalla storia contemporanea, almeno da un passato assai recente (il 1434, per qualcuno che era nato appena trentacinque anni dopo quella data), Machiavelli si impegna poi in un “trattato universale” (il primo libro), in cui il vero inizio della storia è fissato al 1215, l'anno della prima grande divisione intestina: un punto d'inizio che giustifica il senso che egli intende dare al racconto. E l'autore fa di più, egli concepisce un'archeologia, muovendo dal crollo dell'Impero romano in occidente, in risposta al particolare profilo interpretativo che egli intende conferire al discorso, un'archeologia che ha la

¹⁴ Ivi. P. 393–94.

¹⁵ Ivi. P. 411. Cf. *Sasso G.* Niccolò Machiavelli. Vol. II: La storiografia... P. 35–36.

sua ragion d'essere non all'esterno, ma nella costruzione stessa della narrazione storica.

Quella 'storia contemporanea', che Machiavelli annuncia di aver intrapreso nella lettera a Guicciardini del tardo autunno 1525 all'insegna della censura severa per la vergognosa incapacità dei principi italiani, egli non poté proseguirla, travolto dagli eventi ben noti nei suoi ultimi mesi di vita, fino al 21 giugno 1527. Quella storia la scrisse invece Guicciardini, e scelse di impegnarsi in una storia contemporanea, sottolineando le ragioni della propria scelta:

“Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, dappoi che l'armi de' franzesi, chiamate da' nostri principi medesimi, cominciarono con grandissimo movimento a perturbarla: materia, per la varietà e grandezza loro, molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti; avendo patito tanti anni Italia tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri mortali, ora per l'ira giusta d'Iddio ora dalla empietà e sceleratezze degli altri uomini, essere vessati. <...> Ma le calamità d'Italia (acciocché io faccia noto quale fusse allora lo stato suo, e insieme le cagioni dalle quali ebbero l'origine tanti mali) cominciarono con tanto maggiore dispiacere e spavento negli animi degli uomini quanto le cose universali erano allora più liete e più felici” (*Storia d'Italia* I, 1).

E il quadro di quanto “le cose universali” fossero “liete e felici” si accentua ancora nel capitolo successivo (*Storia d'Italia* I, 2), affinché più aspro e violento appaia poi il baratro delle calamità che seguirono.

Che la prospettiva storiografica guicciardiniana fosse rivolta alla contemporaneità (o quasi) e comunque fosse nettamente orientata politicamente, emerge già da quel primo ambizioso progetto costituito dalle *Storie fiorentine*, concepite nel 1508 sul solco sì della memorialistica familiare già ben consolidata nella tradizione fiorentina del XV secolo,

ma con un disegno preciso e una mira elevata: colmare la lacuna che la storiografia ufficiale (sempre Bruni e Poggio) aveva lasciato dopo la pace di Lodi del 1454¹⁶. Anche qui le date dicono già quasi tutto della prospettiva assunta: la pace di Lodi, traguardo della diplomazia laurenziana, aveva però lasciato la città “con sospetti di fuori e con movimento drento”¹⁷, e proprio per dare spazio a quella conflittualità interna così significativa nella visione guicciardiniana, il racconto non comincia con la pace di Lodi, ma ritorna, almeno rapidamente, a un antefatto che si assume come determinante, il tumulto dei Ciompi del 1378. Il punto d’arrivo di un’opera lasciata sotto diversi aspetti incompiuta, ma forse proprio per questo ancor più significativa per il nostro discorso, è l’attualità più bruciante: le *Storie* sono lasciate in tronco, a metà di una frase dedicata alla riconquista di Pisa nel 1509. E quanto alla prospettiva ideologica esse, animate da un’evidente tendenza filo-aristocratica, non mancano di esercitare una critica serrata e di dar luogo ad un giudizio severo sull’operato di Piero Soderini.

Anche in questo caso il giudizio su Lorenzo, sulle sue strategie e sul regime instaurato su Firenze, costituiscono, come accadrà nell’approdo delle *Istorie* machiavelliane, l’elemento cardine di una prospettiva politica complessiva. Come ha avuto modo di sottolineare Emanuele Cutinelli, il ritratto di Lorenzo e della sua *aetas* non è univoco e non dà adito a una valutazione lineare: si tratta (e si ricordi che chi scrive, in questo caso, scrive nel 1508–1509, dunque in piena repubblica soderiniana) di un profilo assai articolato, nutrito

¹⁶ Cf. *Cutinelli-Rendina E.* Guicciardini. Roma; Salerno, 2009. P. 145–156.

¹⁷ *Guicciardini F.* *Storie fiorentine* / A cura di A. Monteverchi. Milano, 1998. P. 88.

anche attraverso il parallelo con l'esperienza di Cosimo, un ritratto dai tratti variegati che prende in conto i caratteri più oscuri della tirannide laurenziana, ma anche gli sviluppi positivi e felici di quel regime per l'equilibrio e il prestigio della città; e infine annuncia le "calamità" che, dopo la sua morte, si sarebbero abbattute su Firenze.

Abbiamo dato avvio al discorso osservando la differenza tra una storia contemporanea che può e deve essere ricca di dettagli ed una storia arcaica, in cui l'eccesso di particolari induce il sospetto di una scarsa attendibilità. Questo elemento discriminante nella scelta tra storia di un passato remoto e storia del presente costituisce il nodo della riflessione storiografica guicciardiniana condotta tra il 1527 e il 1534, in parallelo alla stesura delle, anch'esse incompiute e – si vedrà – *pour cause*, *Cose fiorentine*. Nel catastrofico 1527, lontano da Firenze dove un ritorno gli è precluso, Guicciardini si accinge a un progetto di storia della città che ricalca la cronologia machiavelliana (la redazione manoscritta delle *Istorie* gli era ben nota). A essere profondamente diverso e originale è il metodo di selezione delle fonti: Guicciardini, forse per primo, abbandona la tradizione umanistica – seguita ancora da Machiavelli (come hanno mostrato le ricerche di Anna Maria Cabrini) – che si affidava a un singolo racconto, scelto come spina dorsale del discorso. Egli mette in pratica un vaglio sistematico e di largo orizzonte delle fonti, che in gran parte egli attinge manoscritte, dunque attraverso un moderno lavoro filologico d'archivio, sia antiche (cioè più vicine o addirittura coeve ai fatti narrati), sia di quelle via via più moderne e prossime. Egli costruisce così due libri giunti ad una fase alquanto avanzata di elaborazione: l'uno dedicato alle origini della città, l'altro dal 1375 al 1402. Altri due libri, in uno stadio di abbozzo alquanto lacunoso giungono fino al 1441 e segnano

il punto d'abbandono del progetto¹⁸. La rivoluzione metodica è notevole, e contiene in sé le ragioni dell'incompiutezza: l'*habitus* alla verifica critica delle fonti produce insoddisfazione allorché per fatti remoti (è il caso dell'episodio di una riedificazione carolingia di Firenze, esemplarmente addotto da Cutinelli) non sia possibile alcun controllo e, nella disparità o oscurità delle testimonianze, finisce per essere preferibile l'*epoké*. In uno dei *Ricordi* della redazione finale risalente al 1530, dunque un testo coevo al lavoro sulle *Cose fiorentine*, Guicciardini si sofferma sul rapporto tra attendibilità e dovizia nel dettaglio:

“Parmi che tutti gli storici abbino, non eccettuando alcuno, errato in questo, che hanno lasciato di scrivere molte cose che a tempo loro erano note, presupponendole come note <...> Ma se avessino considerato che con la lunghezza del tempo si spengono le città, e si perdono le memorie delle cose, e che non per altro sono scritte le istorie che per conservarle in perpetuo, sarebbero stati più diligenti a scriverle in modo che così avessi tutte le cose innanzi agli occhi chi nasce in una età lontana, come coloro che sono stati presenti, che è proprio el fine della istoria” (C 143)¹⁹.

Più temi sono compresenti in questo *ricordo*: il maggiore o minor grado di dettaglio possibile nella narrazione storica, il tema umanistico ed eminentemente machiavelliano dell'“eternità del mondo” (*Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* II v), ma soprattutto l'evidente accrescersi di un'insofferenza per una storia poco o nulla verificabile, al cospetto di una storia in cui l'attualità bruciante si coniugasse con la partecipazione diretta ai fatti e permettesse di offrire un discorso profondamente sentito come *vero*.

¹⁸ Cutinelli-Rendina E. Guicciardini... P. 156–161.

¹⁹ Guicciardini F. *Ricordi* / Introduzione e commento di C. Varotti. Roma, 2013. P. 230–231.

Il bisogno di una scrittura storica fondata su fonti documentarie attendibili, e soprattutto sull'autopsia condotta in posizione privilegiata indussero Guicciardini all'esperimento dei *Commentari della luogotenenza*: l'idea era di coprire un solo biennio (dalla battaglia di Pavia del febbraio 1525 al sacco di Roma del maggio 1527), durante i quali Francesco aveva tenuto il ruolo di luogotenente pontificio nel corso delle operazioni militari della lega di Cognac, fino alla catastrofe finale. Le acute ricerche documentarie condotte da Paola Moreno hanno oggi rivelato anche il metodo seguito dal Guicciardini scrittore di storia nella selezione di una massa documentaria ingentissima e interamente disponibile presso di lui, anche attraverso la commissione di copie scelte di una corrispondenza diplomatica imponente, affidate a segretari-amanuensi di rango²⁰.

Questi *Commentari* si arrestano al secondo libro e restarono poco dopo sepolti tra i materiali preparatori della *Storia d'Italia*, dove li ha ritrovati Roberto Ridolfi. La ragione dell'abbandono, congiunta come spesso accade per Guicciardini con una ripresa della vita politica attiva, è profonda e piena di significato, e risiede ancora una volta nel dialogo tra storia contemporanea e storia di un passato remoto: quel punto d'inizio, il 1525, scelto per la fattuale congiuntura di coincidere con un'esperienza personale (ancorché sentita subito come epocale in ogni suo aspetto), non poteva soddisfare una storia che si voleva al tempo stesso affidabile e piena di senso. E' dunque attraverso una

²⁰ *Moreno P.* Il carteggio guicciardiniano 'fabbrica' della Storia d'Italia // *La Storia d'Italia di Guicciardini e la sua fortuna...* P. 67–88; e *Eadem.* Quando l'autore corregge se stesso. Il caso unico del copialettere di Francesco Guicciardini // *Epistolari dal Due al Seicento / A cura di C. Berra, P. Borsa, M. Comelli, S. Martinelli Tempesta.* Milano, 2018. P. 235–251.

diagnosi personale, e non già seguendo la pur evidente e certo nota traccia machiavelliana, che Guicciardini perviene ad arretrare il *terminus a quo* a quel 1494, da tenere naturalmente congiunto con il 1492 della morte del Magnifico.

I due storici fiorentini condividono però pienamente una prospettiva comune, e cioè l'idea che quel 1492–1494 non è una data 'fiorentina', non è più possibile percepirla come momento di una storia cittadina. Non saprei trovare parole più adatte di quelle recentemente usate da Giorgio Inglese nell'introduzione alla nuova edizione del *Principe*: "Come oggetto di pensiero, lo spazio politico *Italia* nasce con Machiavelli, in funzione di una disperata ma forte iniziativa pratica. Si dissolve in Guicciardini, quando la sconfitta ha troncato ogni possibilità di agire in grande"²¹. La data del 1494 è scelta da Guicciardini per dare una prospettiva di senso a una guerra di equilibrio europea che ha l'Italia come preda e campo di battaglia²².

Chiaritosi l'arco cronologico, che costituisce come si è visto già una scelta politica, il metodo della storia (cioè della ricerca e del discorso: l'una non esistendo senza l'altro) è minuzioso negli spogli di fonti (documenti e cronache) e nel rigore di un'autoanalisi condotta sulle progressive fasi di elaborazione, e testimoniata da *memoranda* ordinati e dettagliati, come la *Nota delle cose delle quali s'ha a investigare la verità della giornata di Vaill*²³.

Un dato significativo lega sul piano del progetto teorico l'affacciarsi di Machiavelli alla trattatistica politica nel 1513

²¹ *Inglese G.* Introduzione / *Machiavelli N.* Il Principe / Nuova edizione critica commentata, con un saggio di F. Chabod. Torino, 2013. P. XIX.

²² *Fournel J.-L., Zancarini J.-Cl.* Introduction / *Guicciardini F.* Histoire d'Italie. Paris, 1996. P. XXXIV–XXXV.

²³ Dipendo ancora da *Cutinelli-Rendina E.* Guicciardini... P. 176.

e l'avvio dell'impegno storiografico guicciardiniano all'indomani del 1527 e quindi, con un obiettivo definitivamente precisatosi nella mente dell'autore, dopo il 1534: l'uno come l'altro sentono il bisogno di chiarire, in primo luogo a sé medesimi attraverso l'esercizio di una scrittura concepita come strumento ermeneutico, le ragioni di una sconfitta, la catena di eventi precipitati in una non rimediabile catastrofe. Per Machiavelli, con il *Principe*, si era trattato di interrogarsi, all'indomani del crollo della repubblica fiorentina, sui fondamenti che assicurano il solido permanere degli organismi politici, sulle loro patologie, sui possibili rimedi, e infine sulle soluzioni straordinarie che debbono imporsi per medicare una repubblica malata. Per Guicciardini, l'esigenza di fare "storia d'Italia" e storia dei suoi tempi, nasceva dal bisogno di spiegarsi e di spiegare lo scacco della lega di Cognac, di chiarire le condizioni che avevano determinato il chiudersi, allora e per i successivi quattro secoli, di una dimensione politica *italiana*²⁴. E allora scegliere i capisaldi cronologici della storia, servirsi strategicamente dei discorsi (specie agonali), selezionare le fonti e i dati: tutte queste strategie sono piegate verso l'obiettivo di ridurre all'unità del racconto quei "casi particolari" che "si possono male scrivere altrove che nel libro della discrezione" (*Ricordi*, B 35)²⁵. In questo senso, il racconto storico di Guicciardini non si costruisce per accumulazione di dati, ma attraverso un processo inverso che mira a risalire la catena delle cause e concause, esplicitando nella prosa la mobile complessità del reale.

²⁴ Cf. Ruggiero R. Introduzione / Machiavelli N. Il Principe / Edizione e commento a cura di R. Ruggiero. Milano, 2008. P. 5–6; e Fournel J.-L., Zancarini J.-C. Introduction... P. XVIII.

²⁵ Cf. Fournel J.-L., Zancarini J.-C. La grammaire de la République. Langage de la politique chez Francesco Guicciardini (1483–1540). Genève, 2009. P. 443.

Un'ultima considerazione s'impone quindi alla nostra attenzione, tornando su quel preannuncio, dato da Niccolò a Francesco nell'autunno 1525, di una continuazione già in cantiere delle *Istorie fiorentine*, una continuazione in cui l'autore poteva "sfogarsi, accusando i principi, che hanno fatto tutti ogni cosa per condurci qui". Se quella continuazione fosse mai stata compiuta, se le *Istorie fiorentine* avessero mai ricevuto quel possibile "secondo volume", esse non sarebbero certo potute in alcun modo restare *Istorie "fiorentine"*.

М.И. Дмитриева
Санкт-Петербургский Государственный университет
Институт истории

СИЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (ПО СОЧИНЕНИЯМ МАКИАВЕЛЛИ И ГВИЧЧАРДИНИ)

В эпоху Возрождения Сиенская республика – одно из значительных государств Тосканы с ярко выраженными особенностями социально-политического развития¹. Соседка и давняя соперница Флоренции, Сиена на протяжении большей части этого периода сохраняла (дольше других тосканских городов, в том числе Флоренции) республиканскую форму правления; затем в городе установилась тирания семьи Петруччи (1487–1524 гг.). Когда у власти находился ее основатель Пандольфо Петруччи, Сиена, подобно другим государствам Италии, стала участницей Итальянских войн (1494–1559 гг.). После «падения» семьи Петруччи и восстановления республики, Сиена почти на три десятилетия попала под испано-имперское влияние: представители императора участвовали в политической борьбе и выборах ее должностных лиц. В 1552 г. в ходе городского восстания испанский гарнизон был изгнан, республика обратилась за помощью к французам, что привело к началу военных

¹ *Дмитриева М.И.* Народные правительства и партии: образы власти в Сиене XIV века // *Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени.* 2017. № 3–1. С. 7–26.

действий – Сиенской войне², в ходе которой Сиена, подержанная Францией, выступила против Флоренции с Империей. В итоге, по окончании Итальянских войн, Сиенская республика, обладавшая второй по величине территорией в Тоскане, прекратила свое существование, став частью государства Медичи³.

Политическая история Сиены эпохи Возрождения – периода с середины XIV до середины XVI в., всегда представляла большой интерес для исследования: от первой «Истории Сиены» Орландо Малавольти⁴ до современных трудов, посвященных истории последних лет городской независимости⁵. В исторических трудах второй половины XX – начала XXI в.⁶, политическая история Сиены эпохи Возрождения рассматривается в качестве особого «сиенского пути», во многом альтернативного флорентийскому⁷, а сопоставление ренессансных

² Сиенская война (Guerra di Siena, 1553–1555 гг.) – один из последних эпизодов Восьмой Итальянской войны между Габсбургами и Валуа (1551–1559 гг.).

³ С 1569 г. – Великое герцогство Тосканское.

⁴ Первая из опубликованных историй Сиены охватывает период от основания города до середины XVI в. Конечной датой повествования, ее автор – представитель древнего сиенского рода Малавольти, избрал 1555 г., положив начало традиции изучения истории Сиенской республики. *Malavolti O. Historia de fatti e Guerra de`Sanesi, cosi esterne, come civili, seguite dall`origine della lor Citta a`fino al`anno MDLV. Venezia, 1599.*

⁵ См., например: *Pellegrini E. La caduta della Repubblica di Siena. La Guerra. Siena, 2007.*

⁶ Основные направления изучения политической истории Сиены этого периода проанализированы в статье: *Дмитриева М.И. «Сиенский случай»: политическое развитие Сиены эпохи Возрождения в историографии второй половины XX–XXI века // Научный диалог. 2019. № 9. С. 276–292.*

⁷ *Ascheri M. L'altro potere: la citta` – Stato italiano e il caso di Siena // Siena e la la citta` – Stato del Medioevo italiano. Siena, 2003. P. 45–66.*

Флоренции и Сиены приводит исследователей к идее о формировании в этих городах разных моделей ренессансного государства⁸. Продолжается изучение проблем независимой Сиенской республики, вопросов политической и административной автономии «нового» государства Сиены, а также его отношений со «старым» государством Флоренцией в составе Великого герцогства Тосканского⁹.

Одной из важнейших проблем сиенской истории периода Возрождения представляется проблема восприятия современниками политической жизни общества. В процессе ее изучения анализируются представления разных социальных групп городского населения. Исследователи обращаются к комплексу нарративных источников XIV – XVI вв.: городским хроникам Сиены¹⁰, сочинениям сиенских гуманистов, в том числе, историческим¹¹ и, конечно, к историческим трудам флорентийских авторов Никколо Макиавелли и Франческо Гвиччардини¹².

⁸ Zorzi A. *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII–XV)*. Milano, 2010; Tanzini L. *Tuscan states: Florence and Siena // The Italian Renaissance State* / Ed. by A. Gamberini and I. Lazzarini. Cambridge, 2012. P. 90–112.

⁹ Ascheri M. *Storia di Siena dalle origini ai giorni nostri*. Pordenone, 2013.

¹⁰ Историю Сиены второй половины XIV в. описывает хроника Нери Донато, XV в. – хроники Паоло Томазо Монтаури, Томмазо Фечини, Кристофоро Кантони. *Cronache senesi* / Ed. A. Lisini, F. Iacometti // *Rerum Italicarum Scriptores*. Bologna, 1931–1939. Т. 15. Parte 6. P. 564–944.

¹¹ В частности, см.: Tizio S. *Historiae senensis* / A cura di G. Tomasi Stuzzi // *Rerum italicarum scriptores recentiores*. Vol. X. 1995.

¹² См., например: D'Amico J.C. *Nemici e liberta a Siena: Carlo V e gli spagnoli // L'ultimo secolo della Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società* / A cura di M. Ascheri e F. Nevola. Siena, 2007. P. 107–139.

Великие флорентинцы и творцы «новой» истории¹³ во многих своих сочинениях рассуждают об итальянских государствах и их властителях, в том числе, и о Сиене. В данном случае для изучения их представлений о политическом развитии Сиены будут рассмотрены два сочинения флорентийских мыслителей: «История Флоренции» Никколо Макиавелли¹⁴ и «История Италии» Франческо Гвиччардини¹⁵. Целью нашего исследования станет определение места и роли Сиенской республики в политической жизни Италии эпохи Возрождения в интерпретации великих флорентинцев.

«История Флоренции» Макиавелли и «История Италии» Гвиччардини – сочинения, освещающие историю Сиены эпохи Возрождения. Макиавелли в своем сочинении подробно описывает период XIV – XV вв., «История Италии» Гвиччардини – большую часть Итальянских войн (до 1534 г.). Хотя ни Макиавелли (ум. 1527 г.), ни Гвиччардини (ум. 1540 г.) не застали «финала» независимой Сиенской республики: вхождения Сиены в состав флорентийского государства по окончании Итальянских войн, но их рассуждения позволяют представить политическую жизнь Сиенской республики в «динамике», начиная со второй половины XIV в. до середины 30-х гг. XVI в., сделать выводы относительно роли Сиены в итальянской политике этого периода. На основании изу-

¹³ Юсим М.А. Великие флорентинцы и эволюция исторического знания в Европе // Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени. Материалы международной научной конференции. Москва, 23–24 сентября 2019 г. М., 2019. С. 135–154.

¹⁴ Макьявелли Н. История Флоренции / Пер. Н.Я. Рыковой. Общ. ред., послесл. и комм. В.И. Рутенбурга. 2-е изд. М., 1987.

¹⁵ Гвиччардини Фр. История Италии. В 2 т. / Пер. с итал. и подготовка издания М.А. Юсима. М., 2018.

чения текстов «Истории Флоренции» и «Истории Италии» мы попытаемся обобщить рассуждения их авторов о Сиене, отметим выделяемые ими особенности сиенской политики, сравним их взгляды. Следуя логике историописания великих флорентинцев, рассмотрим два больших аспекта проблемы: во-первых, положение Сиены в Тоскане и в Италии; во-вторых, внутреннее устройство города.

Итак, в своей «Истории Флоренции», Макиавелли рассказывает о военных действиях, в которых участвует его родная республика во второй половине XIV в. Из этих описаний следует, что соседняя Сиена постоянно (явно или скрыто) поддерживает противников Флоренции ради сохранения своего положения в Тоскане. Самым ярким примером ее политики данного периода становятся события конца XIV в., когда Сиена даже жертвует своей независимостью, входя в состав государства миланского герцога Джангалеаццо Висконти (1399 г.), чтобы противостоять Флоренции, воюющей с Миланом¹⁶. Смерть Висконти (1402 г.) спасает свободу Флоренции и приводит к восстановлению самостоятельности Сиены¹⁷. Отметим, Макиавелли не пишет о мотивах сиенских властей, он лишь констатирует сам факт завоевания Миланом Сиены, наряду с Болоньей, Пизой и Перуджей¹⁸. В отношении внутреннего устройства Сиены флорентийский историк еще более лаконичен. Характеризуя положение Сиенской республики в начале XV в., он пишет: «Большая часть Тосканы принадлежала флорентийцам, независимыми оставались лишь Лукка и

¹⁶ *Макьявелли Н.* Книга 3, глава XXV. С. 136.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

Сиена, причем Луккой владели Гвиниджи, а Сиена была свободна»¹⁹.

Согласно Макиавелли, Сиена продолжала активно поддерживать противников Флоренции и в первой половине XV в. Так, во время войн Флоренции с Владиславом Неаполитанским, она была «захвачена» королем для ведения военных действий в Тоскане²⁰, а в ходе Ломбардских войн (1425–1454 гг.) присоединилась к союзу Лукки и Милана (в 1431 г.), в то время как Флоренция возобновила свой союз с Венецией²¹. Согласно Макиавелли, по условиям мирного договора, заключенного в 1433 г., флорентинцам, луккцам и сиенцам возвращались захваченные у них владения²². Описывая военные действия Альфонса Арагонского в Тоскане в 30–40-е гг. XV в., Макиавелли стремится объяснить позицию Сиены: «Король со своим войском уже вступил на территорию Сиены и всячески старался перетянуть этот город на свою сторону, но сиенцы оставались верны своей дружбе с Флоренцией и не открывали королю ни ворот Сиены, ни других своих городов. Правда, они снабжали его продовольствием, но оправданием им служила их слабость и военное превосходство неприятеля»²³. В данном случае, оправдывая действия Сиены, Макиавелли представляет ее слабой в военном отношении и зависимой от Флоренции и крупных «внешних» сил (Милан, Неаполь).

Дальнейшие рассуждения Макиавелли касаются изменений итальянской политической обстановки в сере-

¹⁹ Там же. Кн. 1, гл. XXXIX. С. 49.

²⁰ Там же. Кн. 3, гл. XXIX. С. 142.

²¹ Там же. Кн. 4, гл. XXV. С. 168.

²² Мир 1433 г. был заключен, как пишет Макиавелли, «поневоле», из-за усталости сторон. Там же. Кн. 4, гл. XXV. С. 168.

²³ Там же. Кн. 6, гл. XV. С. 239.

дине XV в., связанных с приходом к власти в Милане Франческо Сфорца. Как пишет Макиавелли, Сфорца «...охотно сблизился с флорентийцами, а венецианцы объединились с королем Альфонсом против общего врага»²⁴, к этим последним примкнула и Сиена²⁵. Рассказывая далее о подготовке к войне²⁶, Макиавелли описывает флорентийское посольство, отправленное в соседний город: «Сиенцы встретили флорентийских послов с дружескими излияниями: они боялись, что их разобьют еще до того, как Венеция и король смогут им помочь и решили усыпить бдительность тех сил, противостоять которым были не в состоянии»²⁷. Действительно, из дальнейшего рассказа историка становится ясно, что Сиена и на этот раз стала плацдармом для ведения военных действий против Флоренции, в частности, он пишет: «...арагонцы, не решаясь войти в соприкосновение с неприятелем, ушли под защиту укреплений Сиены, откуда совершали частые набеги на флорентийские земли, учиняя разорение, грабежи и нагоняя на жителей великого страху»²⁸. Таким образом, Макиавелли снова настаивает на военной слабости Сиены, подчеркивая, что Флоренция является для нее самой главной и ближней угрозой, и в то же время говорит о потенциальной опасности Сиены для Флоренции.

²⁴ Там же. Кн. 6, гл. XXV. С. 252.

²⁵ Кроме Сиены союзниками Венеции и Неаполя в Лиге, образованной весной 1451 г., выступили Людовик Савойский и Джованни Монферратский. *Рутенбург В.И.* Комментарии / *Макьявелли Н.* История Флоренции... С. 413.

²⁶ Флорентийские послы были отправлены в Сиену, Рим, Неаполь, Венецию и Милан. *Макьявелли.* История Флоренции... Кн. 6, гл. XXVI. С. 253–254.

²⁷ Там же. Кн. 6, гл. XXV–XXVI. С. 254.

²⁸ Там же. Кн. 6, гл. XXX. С. 258.

В 1454 г. участники Ломбардских войн заключили Лодийский мир, закрепивший интересы главных итальянских политических «игроков» и обеспечивший почти на четверть века мир на Апеннингах. Сиена в их число не вошла, хотя, в силу своего расположения, продолжала представлять интерес для оппонентов Флоренции. Однако, создание своеобразной системы «баланса сил» и условия мира, исключавшие помощь итальянским государствам извне, обеспечивали относительное спокойствие и в Тоскане. В конце 50-х – середине 60-х гг. XV в. Сиена пользовалась особым вниманием папства: во время понтификата римского папы Пия II²⁹ – представителя знатного сиенского рода и знаменитого гуманиста Энея Сильвия Пикколомини, город находился под его особым покровительством.

Последующие рассуждения Макиавелли о Сиене относятся к периоду конца 70 – началу 80-х гг., когда политическая обстановка в Тоскане и в Италии снова изменилась: римский папа Сикст IV после неудачи заговора Пацци отлучил от церкви Лоренцо Медичи и всю флорентийскую синьорию и развязал войну против Флоренции³⁰ (1478–1480 гг.). Сиена вновь поддержала ее врагов: Сикста IV, неаполитанского короля Фердинанда Арагонского и его сына, герцога Альфонса Калабрийского, а также графа Урбино Федерико Монтефельтро³¹. Когда военные действия закончились³², Альфонсо Калабрийский продолжал оставаться в Сиене, поскольку собирался, по мнению Макиавелли, подчинить город

²⁹ Пий II – римский папа с 19 августа 1458 г. по 14 августа 1464 г.

³⁰ Там же. Кн. 8, гл. X. С. 318.

³¹ Там же. Кн. 8, гл. XII. С. 321–322.

³² Мирный договор между папой, Неаполем, Миланом, Флоренцией и Сиеной был заключен в марте 1480 г. и оформлен как новый оборонительный союз сроком на двадцать пять лет.

своей власти³³. Решение Фердинанда Арагонского отозвать своего сына из Тосканы спасло и Сиену, и Флоренцию, по словам Макиавелли: «...одна, казалось, вновь обрела независимость, а другая избавилась от опасностей, угрожавших ее свободе»³⁴. Очевидно, Макиавелли вновь подчеркивает зависимость Сиены от внешних сил и, в данном случае, даже отводит ей место (вместе с Флоренцией) в лагере пострадавших (и спасшихся) от военной угрозы со стороны Неаполя.

В целом, рассуждения Макиавелли о политике Сиены позволяют судить об ее особенностях, которые фактически не меняются на протяжении второй половины XIV–XV в. Историк подчеркивает традиционную враждебность Сиены и ее военную слабость по отношению к Флоренции, а также ее политическую зависимость от крупных «внешних» сил (Милана, Неаполя, папы), приводящую к необходимости «хитрить» в отношениях со своей влиятельной соседкой и поддерживать врагов Флоренции не слишком явно.

В то же время, Макиавелли подчеркивает влияние Флоренции на внутреннюю политику Сиены. Так, из его рассуждений о приходе к власти в Сиене представителя партии Девяти и основателя сиенской синьории Пандольфо Петруччи можно предположить наличие поддержки Петруччи из Флоренции: «В Сиене, после ухода герцога Калабрийского ... смут было больше, чем где бы то ни было, и после ряда переворотов, когда верх брали то городские низы, то нобили, возобладал, в конце кон-

³³ Макиавелли пишет: «...поведение герцога вскоре вызвало не только у сиенцев, но и у флорентийцев подозрения, не намеревается ли герцог объявить себя владетелем этого города». Там же. Кн. 8, гл. XIX. С. 330.

³⁴ Там же. Кн. 8, гл. XXI. С. 331.

цов, нобилитет. В нем особым влиянием пользовались Пандольфо и Джакомо Петруччи: первый славился своей мудростью, второй – мужеством, и в своем родном городе они стали как бы носителями верховной власти»³⁵. Известно, что представители партии Девяти (Монте де' нове), к которой принадлежали Петруччи, в период своего изгнания из Сиены (1483-1487 гг.) были тесно связаны с Флоренцией, управляемой Лоренцо Медичи. Отметим, что наличие дружеских связей между Петруччи и Медичи подчеркивает в своей «Истории Италии» и Франческо Гвиччардини, довольно подробно рассказывающий о братьях Петруччи: Джакомо и Пандольфо – «старых друзьях» Лоренцо Медичи и его сына Пьеро³⁶. Таким образом, замечания обоих флорентийских историков свидетельствуют о поддержке и Петруччи из Флоренции.

Гвиччардини в своей «Истории Италии», содержащей подробные сведения о жизни итальянских государств конца XV – трех первых десятилетий XVI в., создает масштабное и очень подробное историческое полотно. Согласно мнению М.А. Юсима – автора новейшего отечественного издания «Истории Италии» Гвиччардини, придавая большое значение деталям и разнообразию ситуаций, Гвиччардини пишет свою «Историю» в соответствии с формируемым им самим принципом протоисторизма³⁷.

³⁵ Там же. Кн. 8, гл. XXXV, С. 349.

³⁶ Описывая одну из неудавшихся попыток возвращения во Флоренцию изгнанного еще в начале Итальянских войн Пьеро Медичи, Гвиччардини сообщает о том, что она была предпринята из Сиены. *Гвиччардини Фр.* История Италии... Кн. 3, гл. 13. С. 211–212.

³⁷ Юсим М. А. Франческо Гвиччардини – историк Итальянских войн // *Гвиччардини Фр.* История Италии. Т. 2. С. 606.

В своем сочинении историк довольно много внимания уделяет Сиене. Согласно Гвиччардини, в начале Итальянских войн Сиене, управляемой Пандольфо Петруччи³⁸ (1487–1512 гг.), удается вполне успешно лавировать между крупными политическими силами, отстаивая свои интересы в Тоскане. Описывая начало похода французского короля Карла VIII, он приводит подробное описание соседней республики: «Город Сиена, густонаселенный и расположенный на плодородных землях, с давних пор занимал в Тоскане второе место после флорентийцев и был независимым. Но это была свобода на словах, а не на деле, ибо, будучи разделен на многочисленные группировки и коалиции граждан, называемые у них «орденами», город подчинялся той партии, которая возвышалась над другими благодаря стечению обстоятельств и поддержке извне»³⁹. Данное описание точно определяет роль Сиены в Тоскане (и в Италии), Гвиччардини «схватывает» и емко излагает суть ее внутренней политики.

По мнению Гвиччардини, Сиена внушала подозрение Карлу VIII, поэтому он оставил в городе свой гарнизон на пути в Неаполь⁴⁰, а возвращаясь, задержался в Сиене на целую неделю, обсуждая, в том числе «...управление этим городом, ибо многие из жителей и сторонники реформ, желавшие подорвать власть партии Монте де' нове, настаивали, чтобы был введен новый порядок, снята стража Монте де' нове во дворце Синьории и была по-

³⁸ После смерти в 1497 г. Джакопо, Пандольфо стал обладателем семейного состояния, которое он «прирастил», женившись на Аурелии Боргезе, дочери влиятельного Никколо Боргезе. Поддержка тестя помогла Пандольфо стать самой влиятельной политической фигурой в Сиене.

³⁹ *Гвиччардини Фр.* История Италии... Кн. 1, гл. 17. С. 79–80.

⁴⁰ Там же. Кн. 1, гл. 17. С. 80.

ставлена стража под командованием Линьи⁴¹...». Французский король взял город под свое покровительство и одобрил избрание Линьи капитаном коммун, а тот – обязался охранять крепость и защищать все владения Сиены, «...за исключением Монтепульчано⁴², в вопросе о котором король не хотел принимать ни сторону флорентийцев, ни сиенцев» – замечает Гвиччардини⁴³. Из его дальнейших сообщений ясно, что вскоре после ухода Карла VIII из Италии, партия Девяти, возглавляемая Петруччи, вернулась к власти, изгнав из Сиены французский гарнизон⁴⁴.

Внутреннюю политику Сиены начала XVI в. Гвиччардини описывает, как взаимодействие нескольких политических сил: Пандольфо Петруччи, вынужденного лавировать в поисках компромисса между своими интересами, желаниями союзников и устремлениями противников; его тестя Никколо Боргезе, проводящего собственную политическую линию, а также городских групп, оппозиционных Петруччи⁴⁵. Традиции партийно-коалиционного устройства, сложившиеся в Сиене во второй половине XIV в. и сохранявшиеся на протяжении всего XV столетия, не позволили семье Петруччи создать прочную синьорию. Даже после разгрома заговора

⁴¹ Линьи – «...кузен короля (сын сестры его матери) и его любимец...». *Гвиччардини Фр.* Кн. 2, гл. 5. С. 118.

⁴² Вопрос о контроле над Монтепульчано стоял в отношениях Сиены и Флоренции на протяжении нескольких столетий. В XIII – XIV вв. перевес был на стороне Сиены. В начале XV в. город был захвачен Флоренцией, против которой восстал в начале Итальянских войн (1495 г.). Сиена пользовалась ситуацией и удерживала Монтепульчано до 1511 г.

⁴³ Там же. Кн. 2, гл. 5. С. 118.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же. Кн. 4, гл. 3. С. 234.

Никколо Боргезе (1500 г.) и сосредоточения всей власти в руках одного Пандольфо Петруччи его положение продолжали «оспаривать» семьи других влиятельных горожан (Белланти, Лути) и представители народных группировок⁴⁶.

Сведения о внешней политике города в начале XVI в., приводимые Гвиччардини, свидетельствуют о том, что во время войн французского короля Людовика XII Сиене по-прежнему удавалось лавировать между Флоренцией, папством, Францией, императором и Неаполем. Гвиччардини подробно описывает события 1503 г. в Средней Италии. Из его рассуждений следует, что главным соперником Пандольфо Петруччи в этот период выступал Чезаре Борджиа. По словам Гвиччардини, герцог Валентино был обеспокоен ростом влияния сиенского тирана в Тоскане и рассчитывал захватить власть в Сиене⁴⁷, поэтому требовал изгнания Пандольфо как «...главного возмутителя спокойствия из Сиены, обещая после этого удалиться с войском в Римскую область и не причинять больше никакого беспокойства сиенцам»⁴⁸. Гвиччардини сообщает, что в обмен на отступление Борджиа от города, Петруччи ненадолго покинул Сиену и, отправившись в Лукку, заручился поддержкой Людовика XII, не желавшего допускать новых изменений в Тоскане⁴⁹. По словам историка, эта поддержка обошлась Пандольфо недешево: он обещал «...по-прежнему повиноваться королю и в качестве заложника отправить во Францию своего старшего сына, а также выплатить остаток долга

⁴⁶ *Cagliaritano U.* The History of Siena: An Outline of the Political, Literary and Artistic History. Siena, 1986. P. 167.

⁴⁷ *Гвиччардини Фр.* История Италии. Кн. 5, гл. 12. С. 339.

⁴⁸ Там же. С. 338–339

⁴⁹ Там же. Кн. 5, гл. 12. С. 340.

по оговоренной сумме в 40 000 дукатов и возратить флорентинцам Монтепульчано»⁵⁰. В итоге сиенский тиран сохранил свое влияние и в Сиене, и в Тоскане, где после смерти папы и падения Чезаре Борджиа, его авторитет возрос: Сиена стала еще активнее поддерживать Пизу, восставшую против Флоренции в самом начале Итальянских войн⁵¹.

Возвращение Пизы под власть Флоренции, организация Людовиком XII созыва Пизанского собора, а также создание римским папой Юлием II антифранцузской Священной лиги (5 октября 1511 г.) изменили ситуацию в Италии и в Тоскане. По мнению Гвиччардини, Юлий II стремился не допустить помощи Франции в возврате Флоренции Монтепульчано, поэтому оказывал давление на Сиену, которую он, в конце концов, заставил вернуть Монтепульчано Флоренции (1511 г.) и заключить с ней мир⁵².

В дальнейших сообщениях Гвиччардини рассказывается о битве при Равенне (11 апреля 1512 г.), оставившей французов без армии и вынудившей их отступить из Милана и Ломбардии и ее последствиях, одним из которых стало возвращение во Флоренцию Медичи. В начале сентября 1512 г. во Флоренцию во главе испанских войск вернулись младшие братья уже умершего к тому времени Пьеро Медичи: Джованни (будущий папа

⁵⁰ Там же. С. 341.

⁵¹ Пиза попала под власть Флорентийской республики в 1406 г.; в начале Итальянских войн она восстала и на короткое время вернула свою независимость (1494–1509 гг.). Как пишет Гвиччардини: «...города, враждебные флорентийцам... с радостью восприняли весть о мятеже в Пизе и поэтому снабдили ее деньгами, а сиенцы еще и выслали туда конных воинов». Там же. Кн. 2, гл. 1. С. 93.

⁵² Мир между республиками был заключен сроком на двадцать пять лет. Там же. Кн. 10, гл. 2. С. 607–608.

Лев X⁵³) и Джулиано II⁵⁴. В течение следующих полутора десятилетий Медичи находились во Флоренции (1512 – 1527 гг.), были тесно связаны с Римом и влияли на политику соседней Сиены.

Из сообщений Гвиччардини становится ясно, что в Сиене после смерти Пандольфо Петруччи (май 1512 г.) к власти пришел его старший сын – Боргезе (1512–1515 гг.), а затем – его племянник, кардинал Раффаэле (1516–1522 гг.), которого вскоре сменил младший сын Пандольфо – Фабио (1523–1524 гг.). Утверждение у власти кардинала Раффаэле, а потом – Фабио Петруччи происходило под влиянием пап из семейства Медичи: Льва X⁵⁵ и Климента VII⁵⁶, соответственно. По словам Гвиччардини, Раффаэле изгнал из Сиены своего кузена Боргезе, поскольку «...для папы было предпочтительным, чтобы в Сиене, расположенной между церковными и флорентийскими владениями, правило его доверенное лицо, но скорее всего он надеялся при удобном случае... передать город под власть своего брата или племянника»⁵⁷.

Суждения Гвиччардини, относящиеся к внешней политике Сиены второго – начала третьего десятилетий XVI в., показывают, что город продолжал «лавировать» между папством, представленным семьей Медичи, но-

⁵³ Лев X – римский папа с 11 марта 1513 г. по 1 декабря 1521 г., в миру – Джованни Медичи.

⁵⁴ Номинальным правителем Флоренции был объявлен Джулиано II Медичи, а после его смерти (1516 г.) – Лоренцо II, герцог Урбинский, сын Пьеро II, но фактически управление республикой находилось в руках папы Льва X. После смерти Лоренцо Урбинского (1519 г.) Флорентийская республика была передана под управление кардинала Джулио Медичи (с 1523 г. – римского папы Климента VII).

⁵⁵ Там же. Кн. 12, гл. 18. С. 65.

⁵⁶ Там же. Кн. 15, гл. 13. С. 263.

⁵⁷ Там же. Кн. 12, гл. 18. С. 65.

вым французским королем Франциском I, возобновившем военные действия в Северной Италии и разгромившем швейцарские войска в битве при Мариньяно (13–14 сентября 1515 г.), а также Испанией, с 1519 г. входившей в состав владений Карла V. Гвиччардини подробно рассказывает, как эти силы влияли на внутреннее устройство Сиены, выделяя также те эпизоды ее истории, в которых это влияние не сказывалось. Хорошей иллюстрацией и подобного влияния, и его отсутствия служит недолгое правление последнего представителя семьи Петруччи – Фабио.

Итак, правление Фабио Петруччи началось, по словам Гвиччардини, с того, что «...главы Монте деи нове... просили у посла кесаря герцога Сессы и у кардинала Медичи изменить форму правления и либо вернуть городу свободу, либо передать власть сыну Пандольфо Петруччи Фабио... После длительных препирательств, когда Климент был, наконец, избран папой⁵⁸, по его и кесаря обоюдному согласию Фабио был, наконец, водворен на место отца»⁵⁹. Далее историк отмечает, что влияние Фабио сильно уступало отцовскому, да и «...настроения граждан клонились в пользу свободы, а вожди Монте деи нове не очень ладили с ним, да и между собой спорили...» – пишет он⁶⁰. В итоге, рассказывая о конце тирании Петруччи в сентябре 1524 г., Гвиччардини замечает, что восставший народ изгнал Фабио из Сиены «...безо всякого участия чужеземцев...»⁶¹ и восстановил в городе республику, несмотря на усилия Кли-

⁵⁸ Климент VII – римский папа с 19 ноября 1523 г. по 25 сентября 1534 г., в миру – Джулио Медичи.

⁵⁹ Там же. Кн. 15, гл. 15. С. 263.

⁶⁰ Там же. Кн. 15, гл. 15. С.263.

⁶¹ Там же. Кн. 5, гл. 12. С. 339.

мента VII, отправившего на помощь Петруччи свои войска⁶².

О событиях середины 20-х гг. XVI в. (от битвы при Павии до создания Коньякской лиги) Гвиччардини рассказывает как их участник и очевидец⁶³. Он подробно повествует о том, что происходило с городами, союзными Франции, после битвы при Павии (24 февраля 1525 г.) и, в частности, описывает очередную смену власти в Сиене. Приведем его рассказ полностью, поскольку в данном случае он прекрасно показывает зависимость сиенской внутренней политики от хода военных действий и расклада политических сил: «С одной стороны, сторонники Монте де' нове, по настоянию папы и с помощью герцога Олбани, вернули себе власть, хотя и не успели укрепиться; с другой, те, кого в народе называли «либертинами», потому что они объявляли себя приверженцами свободы, после битвы при Павии, набрались храбрости и выступили против правительства, опиравшегося на силы французского короля; обе партии послали своих людей к королю, чтобы добиться от него одобрения своих планов, но так как он не дал определенного ответа по поводу формы правления, противники решили поскорее заключить соглашение. Когда оно было подписано и люди от вице-кесаря прибыли получить деньги, в то время как их отсчитывали и в присутствии этих людей сиенский горожанин Джироламо Северини, находившийся при вице-короле, убил главу нового правительства Алессандро Бики, которому папа тогда намеревался передать всю власть; после этого другие граждане... взяли за оружие и подняли население, недо-

⁶² Там же. Кн. 15, гл. 15. С. 263.

⁶³ Юсим М.А. Франческо Гвиччардини – историк Итальянских войн... С. 622.

вольные тем, что в Сиене была восстановлена тирания; вожди Монте де' нове были изгнаны и власть в городе вернулась к народу, враждебному папе и приверженному кесарю»⁶⁴. В приведенном фрагменте заслуживают внимания два важных момента: во-первых, хорошая осведомленность Гвиччардини о политическом «раскладе» внутри Сиены (описание восстания, начавшегося с убийства представителя Монте де' нове и папского избранника на пост главы правительства), во-вторых, упоминание о деньгах, передаваемых «людям вице-кесаря». Вообще, судя по сообщениям Гвиччардини, деньги «участвуют» во всех важных событиях политической истории Сиены этого периода: военных действиях, мирных договорах, смене власти⁶⁵.

Из дальнейших сообщений Гвиччардини ясно, что изгнание партии Девяти из Сиенской республики⁶⁶ вызвало ее войну с папой и Флоренцией: в 1526 г. папские войска вместе с флорентинцами и сиенскими изгнанниками вторглись на ее территорию и осадили Сиену. Гвиччардини рассказывает о сомнениях папы по поводу целесообразности взятия города, о слабой организации его войска и разногласиях в лагере осаждающих⁶⁷ и, по сути дела, заранее объясняя его грядущее поражение. Действительно, во время вылазки сиенцев и сражения, начавше-

⁶⁴ *Гвиччардини Фр.* История Италии. Кн. 16, гл. 4. С. 287.

⁶⁵ Согласимся с мнением М.А. Юсима об убедительности Гвиччардини, считавшего деньги мотором войны, в отличие от Макиавелли, утверждавшего, что нервом войны является армия. *Юсим М.А.* Франческо Гвиччардини – историк Итальянских войн... С. 617.

⁶⁶ Партия Девяти будет возвращена из изгнания в 1530 г., что, впрочем, не изменит форму правления. *Гвиччардини Фр.* История Италии. Кн. 20, гл. 4. С. 566–567.

⁶⁷ Там же. Кн. 17, гл. 7. С. 369–371.

гося у Порта Камоллия (25 июля 1526 г.), папское войско позорно бежало, осада была снята, Сиена одержала триумфальную победу⁶⁸. После этого республика на длительное время попала под влияние Карла V. По словам Гвиччардини, император был заинтересован в лояльности Сиены, поскольку ему «...выгодно... было бы привлечь к себе этот могущественный город, обладающий морскими портами, расположенный в плодородной местности, соседствующий с Неаполитанским королевством и находящийся между Римом и Флоренцией»⁶⁹.

Из дальнейших сообщений Гвиччардини следует, что трагические события 6 мая 1527 г. в Риме⁷⁰ привели к восстановлению последней республики во Флоренции (1527–1530 гг.)⁷¹ и восстанию в Сиене. Когда в Сиену, спасаясь от чумы, начавшейся в Вечном городе, прибыл командующий испано-имперской армией принц Оранский вместе с отрядом в сто пятьдесят всадников⁷², то «...жители города, подстрекаемые мятежными вождями, восстали, разграбили дома членов Монте де` нове и убили влиятельного гражданина Пьетро Боргези вместе с сыном и еще шестнадцать или восемнадцать человек»⁷³.

⁶⁸ Там же. Кн. 17, гл. 10. С. 381.

⁶⁹ Там же. Кн. 16, гл. 4. С. 288.

⁷⁰ Там же. Кн. 18, гл. 8. С. 441–443.

⁷¹ Когда представитель папы предложил горожанам «взять в свои руки управление республикой...» и покинул Флоренцию, на пост гонфалоньера справедливости был избран Никколо Каппони – «весьма уважаемый человек и поборник свободы» и созван Большой совет из числа противников Медичи. Как пишет Гвиччардини, «...флорентийцы ненавидели Медичи по многим причинам, прежде всего за то, что им пришлось оплачивать затеянные теми предприятия собственными деньгами». Там же. Кн. 18, гл. 10. С. 448–449.

⁷² Там же. Кн. 18, гл. 12. С. 455.

⁷³ Там же.

Впрочем, по сообщению Гвиччардини, это восстание не привело к новой смене власти. Гвиччардини описывает деятельность Климента VII, продолжавшего вести переговоры с императором, его попытках восстановить власть Медичи во Флоренции и его интриги в отношении Сиены. По словам историка, папа стремился вернуть к власти в Сиене Фабио Петруччи, чтобы потом «...воспользовавшись Сиеной, посеять смуту во Флоренции»⁷⁴. События лета 1529 г. историк описал подробно: в конце июня император заключил Барселонский мир с папой, по условиям которого он обязывался вернуть во Флоренцию Медичи⁷⁵, в начале августа был заключен Камбрейский мир с Францией⁷⁶, после этого военные действия переместились в Тоскану.

По свидетельству Гвиччардини, в то время, как Флоренция готовилась к обороне, «сиенцы... не только повсеместно занимались разбоем, но и послали своих людей занять Монтепульчано, в надежде, что принц потом оставит его за ними», но эта попытка оказалась неудачной⁷⁷. Когда началась осада Флоренции⁷⁸, Сиена снабжала войско императора продовольствием⁷⁹ и оружием⁸⁰. Описывая эти события, Гвиччардини снова демонстрирует специфику политического положения Сиены: с одной стороны, сиенцы «...готовили свои пушки как

⁷⁴ Там же. Кн. 19, гл. 2. С. 498.

⁷⁵ Там же. Кн. 19, гл. 11. С. 534.

⁷⁶ Там же. С. 535.

⁷⁷ Там же. Кн. 19, гл. 15. С. 549–550.

⁷⁸ Осада Флоренции (24 октября 1529 г. – 10 августа 1530 г.) – завершающий эпизод войны Коньякской лиги.

⁷⁹ По сообщению Гвиччардини, при подходе к Флоренции принцу сразу же сдались города Колле и Сан Джиминьяно, важные для доставки продовольствия из Сиены. Там же. Кн. 19, гл. 15. С. 550.

⁸⁰ Там же. С. 548–549.

можно медленнее <...> из ненависти к папе и желания помешать его возвышению путем смены правления у флорентийцев, с которыми они ввиду общей неприязни к понтифику на протяжении многих месяцев поддерживали мир и договаривались...»⁸¹, с другой – не могли не подчиниться решению папы и императора отправиться в Сиену, чтобы «...содействовать продолжению осады с близкого расстояния...»⁸², несмотря на общую с флорентинцами «неприязнь к понтифику». В конце февраля 1530 г. Климент VII короновал Карла V императорской короной в Болонье⁸³, а полгода спустя, в августе 1530 г. закончилась героическая оборона Флоренции. В город вместе с папско-имперскими войсками вошли Медичи⁸⁴.

«История» Гвиччардини завершается описанием событий 1534 г.: смертью Климента VII и избранием нового папы Павла III⁸⁵. В одной из последних глав своей «Истории» Гвиччардини отводит место и Сиене⁸⁶. Он сообщает, что после вывода имперского войска из сиенских владений в 1530 г. туда «...были возвращены приверженцы Монте деи нове, которые могли теперь жить на родине и пользоваться своим имуществом, однако форма правления не была изменена»⁸⁷. Охранять республику остался гарнизон из трехсот испанских пехотинцев под командованием герцога Амальфитанского⁸⁸.

⁸¹ Там же. С. 548.

⁸² Там же. Кн. 20, гл. 1. С. 558.

⁸³ Там же. Кн. 20, гл. 1. С. 558.

⁸⁴ Там же. Кн. 20, гл. 2. С. 563.

⁸⁵ Павел III – римский папа с 13 октября 1534 г. по 10 ноября 1549 г., в миру – Алессандро Фарнезе.

⁸⁶ Там же. Кн. 20, гл. 4. С. 566–567.

⁸⁷ Там же. Кн. 20, гл. 4. С. 566–567.

⁸⁸ Там же. Кн. 20, гл. 4. С. 567.

С этого времени (событий 1530 г.), отношения Сиены с императором начали ухудшаться: после коронации Карла V и введения испанского гарнизона⁸⁹, как пишет Гвиччардини, «...беспорядки возобновились и те, кто вернулся в город, из страха снова уехали»⁹⁰ – последнее, что историк сообщает о Сиене в своем сочинении. Как известно, Сиенская республика находилась под испанским влиянием в течение еще двух десятилетий, вплоть до кризиса начала 1550-х гг., когда ее граждане изгнали испанский гарнизон (1552 г.) и обратились за помощью к Франции, после этого началась Сиенская война (1553–1555 гг.), ставшая последней страницей в истории независимой Сиенской республики.

Подведем некоторые итоги. Во-первых, рассуждения флорентийских историков Макиавелли и Гвиччардини о Сиене – соседке и многовековой сопернице Флоренции, демонстрируют их понимание роли и места Сиены в политической жизни Италии эпохи Возрождения. Они воссоздают картину развития Сиены: ее политических традиций, государственности, прошедшей путь от народных коалиционных правительств к синьории, и обратно к республике; ее внешней политики, оказывавшей сильное влияние на формы и характер городской власти.

Во-вторых, во взглядах флорентийских историков на Сиену много общего: оба автора, в принципе, выявляют одни и те же особенности политического развития Сиены: наличие «партий», нестабильность власти, переменчивость политики, скрытую или явную враждебность по отношению к Флоренции. Оба автора стремятся объяснить нахождение Сиены в рядах противников Флоренции в большинстве военных конфликтов эпохи, оба связывают

⁸⁹ D'Amico J.C. Nemici e liberta a Siena... С. 253.

⁹⁰ Гвиччардини Фр. История Италии. Кн. 20, гл. 4. С. 567.

данное положение с притязаниями республик в Тоскане и их зависимостью от ситуации на Апеннинах в целом.

В-третьих, во взглядах флорентийских историков на Сиену есть существенные отличия. Макиавелли, чье сочинение содержит суждения об истории Сиены Раннего Возрождения, создает образ Сиены как города, существенно более слабого в политическом и военном отношении, чем Флоренция. Политика Сиены, в интерпретации Макиавелли, носит исключительно региональный характер, имеет «тосканский» масштаб. Гвиччардини характеризует Сиену Высокого Возрождения в качестве могущественного города, в «дружбе» с которым заинтересованы и французские короли, и папство, и император. Гвиччардини, как бы, возвращает Сиенскую республику в число основных итальянских политических «игроков», поэтому созданный им образ Сиены представляет ее в качестве одной из важных составляющих общей картины наиболее яркого и драматичного периода Итальянских войн.

M. Dmitrieva
Università Statale di San Pietroburgo
Istituto di storia

SIENA NELLE OPERE DI MACHIAVELLI E GUICCIARDINI

La storia di Siena medievale e rinascimentale dipendeva dai fattori esterni, tra i quali la rivalità (economica e militare, politica e culturale) con Firenze era una di più importanti. Pertanto, il ricorso alla storia senese è difficile immaginare senza “colpo d'occhio” da parte della città più vicina – Firenze. L'autore di questo rapporto fornisce le informazioni su Siena dalle opere di Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini – famosi scrittori politici e storici del Rinascimento. “Istorie fiorentine” e “Storia d'Italia” abbracciano la storia italiana dall'inizio del Medioevo fino alla fine del XV secolo (Machiavelli) e una parte significativa delle Guerre italiane (Guicciardini) e contengono molte informazioni sulla città di Siena.

Ovviamente, la maggior parte delle osservazioni di entrambi gli autori sulla storia di Siena concerne il periodo del Rinascimento. La vita politica di Siena di questo periodo è stata costruita sulla concorrenza dei “monti” – gruppi sociali e politici o partiti, creati dai membri dei governi del popolo, i loro sostenitori e i discendenti (“noveschi”, “dodicini” “riformatori” e “popolari”). Durante la seconda metà del XIV e tutto il XV secolo, i quattro “monti” formarono tutti i governi di coalizione. Per lungo tempo hanno frenato la formazione della Signoria (1487–1524). Il potere della famiglia Petrucci si è sviluppato tardi e si è rivelato di breve durata.

Le osservazioni dei nostri autori riguardano la specificità della vita interiore della città di Siena, creano l'immagine di Pandolfo Petrucci e caratterizzano il suo potere. Entrambe le

Storie raccontano, per la maggior parte, la politica “esterna” di Siena, la sua diplomazia e e la sua partecipazione alle guerre, e queste osservazioni mostrano, prima di tutto, scala regionale della sua politica.

La “Storia d'Italia” di Guicciardini crea un'immagine politica di Siena più dettagliata. All'inizio delle Guerre italiane (1494–1559), la città riesce a destreggiarsi tra le diverse forze politiche per difendere i propri interessi. Quando Pisa si ribellò contro Firenze, l'ostilità verso Firenze costrinse Siena a sostenere Pisa, ma dopo aver completato il problema di Pisa, Siena ha concluso la pace con Firenze e ha dato la città di Montepulciano (1512). Dopo l'espulsione di Petrucci (1524), Siena è caduta sotto l'influenza della Spagna e dell'Impero. Durante L'assedio di Firenze (1529–1530), Siena ha fornito le armi all'esercito imperiale. Eventi delle Guerre italiane dopo il 1534, non sono entrati nella narrazione di Guicciardini. Come si sa, dopo la fine della Guerra di Siena (1553–1555) la città ha perso la sua indipendenza ed è entrata a far parte dello Stato Mediceo.

Informazioni su Siena, che contengono le opere storiche di Machiavelli e Guicciardini, in gran parte spiegano la specificità del rapporto di due repubbliche, definiscono la posizione di Siena nel sistema politico dell'Italia alla fine del XV – prima metà del XVI secolo, dimostrano le dimensioni la scala della sua politica e la sua capacità di diventare uno Stato del Rinascimento.

**МАКИАВЕЛЛИ ИСТОРИК,
ФИЛОСОФ И ПОЛИТИК**

III

**MACHIAVELLI STORICO,
FILOSOFO E POLITICO**

Т.А. Дмитриев,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва

ГРАЖДАНСКИЕ РАСПРИ В «ISTORIE FIORENTINE» Н. МАКИАВЕЛЛИ: БЛАГО ИЛИ ЗЛО ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ?

I

В одном из своих писем Франческо Гвиччардини писал Макиавелли: «Вы всегда были человеком, придерживающимся по преимуществу экстравагантных мнений, несходных с общими, и изобретателем нового и необычного»¹. Темой моей статьи будет рассмотрение одного из таких «экстравагантных» и «несходных с общими» мнений, высказанных Макиавелли в его политических и исторических трудах, а именно – его мысли о пользе и вреде гражданских распрей, свойственных жизни политического сообщества, для республиканской свободы.

С точки зрения Макиавелли, конфликт и борьба противоположных общественно-политических сил представляют собой неотъемлемый, более того – конститутивный момент политической жизни Земного Града. Ясное и недвусмысленное осознание этого конфликта и присущего ему значения для жизни политического сообщества составляет одно из важнейших достижений политической и исторической мысли великого флорен-

¹ Письмо Ф. Гвиччардини к Н. Макиавелли от 18 мая 1521 г.: “voi sempre stato ut plurimum extravagante di opinione dalle commune et inventore di cose nuove et insolite” (*Machiavelli N. Tutte le opere / A cura di M. Martelli. Seconda L’Edizione. Firenze, 2018. P. 2978*).

тийца. Исток этого конфликта в жизни политического сообщества Макиавелли связывает с наличием в каждом городе двух противоположных начал: знати и народа, каждое из которых характеризуется различными устремлениями (*umori diversi*). «В любом городе, – писал Макиавелли в «Государе», – существуют два течения, порождаемые тем, что народ пытается избежать произвола и притеснений со стороны грандов, а гранды желают повелевать и подавлять народ. Борьба этих двух стремлений приводит в республиках к одному из трех результатов: возникновению принципата, режиму свободы или произволу»².

Разумеется, не самому Макиавелли принадлежит честь открытия той фундаментальной особенности совместной политической жизни людей, что она пронизана конфликтами и противоречиями. Уже классики политической философии Запада, – Платон, Аристотель и Цицерон, – были прекрасны осведомлены о том, что политической жизни людей присущи раздоры и вражда (*στάσις*, *seditio*, *tumultus*, *discordia*). Однако для них, как и для всей последующей традиции западной политической мысли вплоть до эпохи Возрождения включительно этот факт политической жизни оценивался скорее как симптом болезни или неблагополучия политического организма, который требовал поиска соответствующих мер для его исцеления. Макиавелли был первым, кто позволил себе взглянуть на гражданские раздоры в более широкой перспективе. От предшественников его взгляд отличает не просто осознание наличия гражданских раздоров в городе-республике, но положительная оценка той роли, которые эти раздоры могут иметь для респуб-

² *Il Principe*, сар. IX. Цит. по: Макиавелли Н. Государь / Пер. с ит. М.А. Юсима // Макиавелли Н. Государь. М.; СПб., 2006. С. 317.

ликанской свободы. На это указывают, в частности, его «Рассуждения», где к тезису о естественном антагонизме между знатью и народом в рамках городской гражданской общины Макиавелли прибавляет более сильный тезис о том, что своей свободой и величию Римская республика была обязана конфликту между патрициями и плебеями. «Те, кто осуждает беспорядки между нобиллями и плебсом, – пишет здесь Макиавелли, – по-моему, порицают саму причину римской вольности, обращая больше внимания на внешнюю сторону этих беспорядков, а не на их благотворные последствия; они не видят, что в любой республике существует два противоборствующих стана, народ и знать, и что все законы, охраняющие свободу, рождаются из этого противоборства»³. На фоне унаследованных гуманистами от классической политической традиции (прежде всего от Цицерона и Саллюстия) взглядов на гражданские раздоры как одну из главных причин упадка и гибели политических сообществ⁴ этот тезис звучал достаточно неортодоксально, если не сказать – вызывающе, на что не преминули обратить внимание современники Макиавелли⁵. «Убеж-

³ *Discorsi*, Libro I, cap. 4. Цит. по: Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Пер. с ит. М.А. Юсима // Макиавелли Н. Государь. М.; СПб., 2006. С. 27–28.

⁴ О взглядах философов и историков классической античности на роль раздоров и конфликтов в политической жизни города-республики см.: Бульст Н., Козеллек Р. и др. Революция (Revolution), бунт, смута, гражданская война (Rebellion, Aufuhr, Bürgerkrieg) // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. Т. 1. М., 2014. С. 526–545; Agamben G. Stasis: Civil War as a Political Paradigm (Homo Sacer II, 2). Stanford, 2015. Ch. 1. Stasis. P. 1–24; Armitage D. Civil Wars. A History in Ideas. New York, 2017. Pt. 1. Roads from Rome. P. 31–90.

⁵ В своих «Размышлениях о «Рассуждениях» Макиавелли» Гвиччардини писал, что «хвалить раздоры все равно, что хвалить

денность в том, – комментирует смысл этих разногласий Квентин Скиннер, – что все гражданские распри должны быть запрещены, равно как и в том, что распри представляют смертельную угрозу политической свободе, стала одной из главных тем флорентийской политической мысли с конца XIII в., когда Ремиджо, Латини, Компаньи и особенно Данте горячо осудили своих сограждан за то, что те ставят под угрозу свою свободу, отказываясь жить в мире. Поэтому ошеломляющее утверждение Макиавелли, что «беспорядки заслуживают величайшего одобрения»... ставило под вопрос одно из самых глубоко укоренившихся убеждений за всю историю флорентийской политической мысли»⁶.

Что же касается «Истории Флоренции», то здесь смысл тезиса о пользе гражданских раздоров для процветания города-республики существенно меняется. В предисловии к этому сочинению Макиавелли высказывает парадоксально звучащую мысль о том, что история его города постоянно сопровождалась распрями между различными группировками граждан, однако эти раздоры вели не к гибели республики, но только делали ее сильнее. «Если в какой-либо республике имели место примечательные раздоры, – пишет он, – то самыми примечательными были флорентийские»⁷. Но, добавляет тут же Макиавелли, «ничто не свидетельствует о величии нашего города так явно, как раздиравшие его распри, –

состояние больного человека, ради целительных свойств лекарства, которое было ему прописано» (*laudare le disunione è come laudare in uno infermo la infermità, per la bontà del remedio che gli è stato applicato*) (*Guicciardini F. Considerazioni sui “Discorsi” del Machiavelli // Machiavelli N. Tutte le opere... P. 707*).

⁶ Скиннер К. Истоки современной политической мысли... С. 308.

⁷ *Istorie Fiorentine*, проеміо. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции / Пер. с ит. Н.Я. Рыковой. М., 1987. С. 7.

ведь их было вполне достаточно, чтобы привести к гибели даже самый великий и могущественный город. А между тем наша Флоренция от них всегда словно только росла и росла»⁸. Как выясняется из дальнейшего повествования, характерной чертой этих раздоров было то, что в них народ раз за разом одерживал победу над знатью, до тех пор, пока последняя полностью не лишилась политического господства⁹. Результатом этой борьбы стало, по мнению Макиавелли, «достойное удивления равенство» (*una mirabile ugalità*), которое в руках мудрого, добродетельного и могущественного гражданина (*un savio, buono e potente cittadino*) могло бы при благоприятном стечении обстоятельств привести к установлению во Флоренции свободного политического строя¹⁰.

Этот шанс, однако, не был использован, в результате чего общественно-политическая жизнь Флорентийской республики и ее влияние на итальянские дела стали клониться к закату. Вряд ли будет преувеличением сказать, что стремление понять причины и последствия гражданских раздоров, которые могли бы поднять величие Флоренции на небывалую высоту, но в итоге привели ее к упадку, составляет одну из главных тем, если только не самую главную тему, «Истории Флоренции».

⁸ *Istorie Fiorentine*, проемio. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 8. Перевод исправлен мной.

⁹ В наиболее сжатой форме этот тезис Макиавелли вкладывает в уста Никколо да Уццано, главного противника Козимо Медичи Старшего, который в своей речи напоминает тем флорентийским гражданам, кто желал изгнания Козимо, «пример древнего нобилитета нашего города, который был изничтожен народными низами» (*esempio delle antiche nobilità di questa città, le quali dalla plebe sono state spente*) (*Istorie Fiorentine*, Libro IV, cap. 27. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 170. Перевод исправлен мной).

¹⁰ *Istorie Fiorentine*, libro III, cap. 1; libro IV, cap. 1.

При создании этого произведения Макиавелли следует тем базовым требованиям, которые предъявляла к подобным сочинениям тогдашняя гуманистическая историография¹¹. Он разделяет свое историческое повествование на книги, каждую из которых предваряет вводная глава, в которой Макиавелли излагает свои политико-философские взгляды на уроки истории; он вкрапляет в текст повествования сочиненные им самим речи вымышленных или реально существовавших исторических персонажей, которые стилизуются им под речи, произнесенные в ходе описываемых исторических событий. Следуя древним, Макиавелли в своем изложении явно отдает приоритет политической истории, будь то история Флоренции или общие итальянские дела. Наконец, к числу важнейших особенностей гуманистической историографии XV – начала XVI в. следует отнести взгляд ее авторов на историю как на учительницу жизни (*historia magistra vitae*). Истории пишутся не для того, чтобы поведать современникам о занимательных событиях, произошедших в прошлом, но для того, чтобы помочь им извлечь из событий прошлого уроки, которые могут иметь политическое значение для настоящего¹². Истинная политическая история, или История с большой бук-

¹¹ Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini. *Politics and History in Sixteenth-Century Florence*. Princeton, 1973. P. 273; Gilbert F. Machiavelli's *Istorie Fiorentine: An Essay in Interpretation* // Gilbert F. *History: Choice and Commitment*. Cambridge (Mass.), 1977. P. 137; Mansfield H. *An Introduction to Machiavelli's Florentine Histories* // Mansfield H. *Machiavelli's Virtue*. Chicago, 1996. P. 130–132; Skinner Q. *Machiavelli*. Oxford, 2000. P. 88–93.

¹² О античном и ренессансном понимании *historia* как *magistra vitae* см. классическую работу Райнхарта Козеллека: Koselleck R. *Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte* // Koselleck R. *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt a. M., 1995. S. 38–66.

вы должна быть прагматической политической историей. Макиавелли прямо говорит об этом в предисловии к «Истории Флоренции». «Если примеры того, что происходит в любой республике, – подчеркивает он, – приводят нас в волнение, то примеры, касающиеся нашей собственной республики, задевают нас еще больше и являются еще более назидательными»¹³.

На этом, однако, согласие Макиавелли с каноном гуманистической историографии заканчивается и начинается череда разногласий. Своим предшественникам в качестве создателей политической истории Флоренции Леонардо Бруни (1370/1374–1444) и Поджо Браччолини (1380–1459) он бросает упрек в том, что они, подробно описывая в своих исторических повествованиях войны, которые вела Флоренция, и их дипломатическую подоплеку, не уделили должного внимания сотрясавшим ее гражданским раздорам¹⁴. По словам Макиавелли, «в отношении гражданских раздоров и внутренних несогласий и последствий того и другого они многое вовсе замолчали, а прочего лишь поверхностно коснулись, так что из этой части их произведений читатели не извлекают ни пользы, ни удовольствий»¹⁵.

Как считает Макиавелли, так они «поступили либо потому, что не считали эти деяния заслуживающими того, чтобы быть сохраненными в памяти при посредстве письменного слова, либо потому, что опасались недовольства со стороны потомков тех, кого по ходу повествования им пришлось бы осудить. Подобные две причи-

¹³ *Istorie Fiorentine*, проеміо. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 7. Перевод исправлен мной.

¹⁴ Речь идет о таких сочинениях, как «*Historiae Florentini Populi*» Бруни и «*Historia Florentina*» Браччолини.

¹⁵ *Istorie Fiorentine*, проеміо. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 7.

ны (да не осудят они меня за это) представляются мне совершенно недостойными великих людей»¹⁶.

Со своей стороны, Макиавелли доказывает, что именно гражданские раздоры во Флоренции, их причины и последствия являются ключевой темой, обстоятельное знакомство с которой могло бы принести взыскательному читателю ту самую пользу, в которой, с точки зрения гуманистической историографии, заключалась прагматическая ценность исторического повествования. По словам Макиавелли, «если какой-либо урок полезен гражданам, управляющих республикой, так это познание обстоятельств, порождающих внутренние раздоры и вражду, дабы граждане эти, умудренные пагубным опытом других, научились сохранять единство»¹⁷.

Сам тезис о пользе и вреде гражданских раздоров для процветания города и обретения им величия, для Макиавелли как автора «Истории Флоренции» не нов. Речь идет об идее, высказанной им в «Государе» и «Рассуждениях на первые десять книг Тита Ливия», согласно которой распри между знатью и народом не только являются чем-то естественным для республики, но при определенных обстоятельствах могут способствовать ее процветанию и сохранению свободного политического строя¹⁸. Новой в данном случае является та трактовка этого тезиса, которую Макиавелли дает на материале флорентийской истории, причем с учетом того воздействия, которое оказывали на нее итальянские дела.

¹⁶ *Istorie Fiorentine*, проеміо. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 7. Перевод исправлен мной.

¹⁷ *Istorie Fiorentine*, проеміо. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 7.

¹⁸ *Il Principe*, cap. IX; *Discorsi*, Libro I, cap. 4.

II

Как и в «Рассуждениях», в «Истории Флоренции» Макиавелли исходит из признания того непреложного факта, что между народом и знатью любого города существует естественная враждебность, которая находит свое выражение в том, что нобили всегда стремятся господствовать, а народ не хочет попасть к ним в рабство. По его словам, «глубокая и вполне естественная вражда, существующая между пополанами и нобилиями и порожденная стремлением одних властвовать и нежеланием других подчиняться, есть основная причина всех неурядиц, происходящих в городах. Ибо в этом различии устремлений находят себе пищу все прочие причины, вызывающие смуту в республиках»¹⁹.

Отталкиваясь от этого противопоставления устремлений народа и знати, Макиавелли в первой главе третьей книги «Истории Флоренции» проводит сравнение между республиканским Римом и Флоренцией. В этом сопоставлении наибольший интерес представляет данный Макиавелли анализ тех форм, в которых проходила борьба между народом и знатью в этих городах, и сравнение ее результатов. «Различие устремлений, – пишет здесь Макиавелли о противоборстве знати и народа, – поддерживало раздоры в Риме, и оно же, если позволено уподоблять малое великому, поддерживало их во Флоренции, порождая, однако, в обоих этих городах разные последствия. Противоречия, возникавшие с самого начала в Риме между народом и нобилиями, приводили к спорам; во Флоренции они выливались в уличные схватки. В Риме им ставило пределы издание нового закона, во Фло-

¹⁹ *Istorie fiorentine*, Libro III, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 103. Перевод исправлен мной.

рениции они заканчивались лишь смертью и изгнанием многих граждан. В Риме они всегда укрепляли воинскую доблесть, во Флоренции же она из-за них совершенно захирела»²⁰.

Главный вывод, который Макиавелли делает из сравнения политической истории Рима и Флоренции, сводится к тому, что во Флоренции гражданские раздоры вели к принципиально иным результатам, чем в Риме. По его мнению, «это различие в следствиях следует объяснять различием в целях, который ставили перед собой оба народа. Ибо народ римский стремился пользоваться высшими почестями вместе с нобилем, флорентийский же народ боролся за то, чтобы править одному, без участия нобилей»²¹.

Здесь Макиавелли, как справедливо отмечает Гизела Бок, остается верен себе: одни и те же причины могут иметь разные следствия, и даже зло может порождать положительные следствия, оставаясь при этом злом. С этой точки зрения следствия гражданских распри носили в Риме положительный, а во Флоренции – отрицательный характер²². В этом месте параллель между двумя республиками превращается у Макиавелли в политико-полюемическое противопоставление, направленное против традиции флорентийской политической мысли,

²⁰ *Istorie fiorentine*, Libro III, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 103. Перевод исправлен мной.

²¹ *Istorie fiorentine*, Libro III, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 103. Перевод исправлен мной.

²² Bock G. Civil discord in Machiavelli's *Istorie Fiorentine* // Machiavelli and Republicanism / Ed. by G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli. Cambridge, 1990. P. 188.

которая превозносила Флоренцию, уподобляя ее славу славе Римской республики²³.

Однако одними политико-полюемическими сравнениями Макиавелли не ограничивается. Значительно больше его интересует та роль, которую гражданские распри сыграли в политической истории Рима и Флоренции. На этот счет Макиавелли указывает, что «в Риме от равенства граждан между собою они довели этот город до величайшего неравенства; во Флоренции от неравенства они привели их к достойному удивления равенству»²⁴. Здесь напрашивается предположение, что в таком исходе борьбы между знатью и народом Макиавелли мог, в противоположность своим предшествующим оценкам, усматривать известное превосходство Флорентийской республики над Римской, поскольку он считал, что равенство в гражданско-правовом смысле, понятое как равенство всех граждан перед законом и право на равный

²³ Такое уподобление Флоренции Риму является общим местом у флорентийских гуманистов XV в. Его можно встретить, в частности, у Колюччо Салютати в его «Инвективе против Антонио Лоски из Виченцы» (1403) и у Леонардо Бруно в «Восхвалении города Флоренции» (1403–1404). Суть этого уподобления состояла в том, чтобы наделить Флорентийскую республику правами истинного наследника римской свободы. «Быть флорентийцем – писал Салютати, – значит не что иное, как быть по происхождению и по закону гражданином Рима, а следовательно, свободным, а не рабом. Действительно, римскому народу, римской крови присущ тот божественный дар, который называют свободой, присущ настолько, что тот, кто перестает быть свободным, не имеет никакого основания называться ни римским гражданином, ни флорентийцем» (*Салютати К. Инвектива против Антонио Лоски из Виченцы* / Пер. с лат. Н. Х. Мингалеевой // Гуманистическая мысль итальянского Возрождения / Отв. ред. Л.М. Брагина. М., 2004. С. 135).

²⁴ *Istorie fiorentine*, Libro III, cap. 1. Цит. по: *Макиавелли Н. История Флоренции...* С. 103. Перевод исправлен мной.

доступ к государственным должностям, является залогом процветания хорошо устроенной республики²⁵.

Иными словами, Макиавелли выдвигает здесь парадоксально звучащее предположение, согласно которому гражданские распри в Риме привели к падению республики и приходу к власти Цезаря, тогда как намного более ожесточенные распри между народом и знатью во Флоренции создали превосходные предпосылки для учреждения свободного республиканского строя. «Добродетели римские, – пишет Макиавелли, – с течением времени превратилась в гордыню, и дошло до того, что Рим мог существовать лишь под властью самовластного государя. Флоренция же оказалась в таком положении, что мудрый законодатель мог бы установить в ней любой образ правления»²⁶.

Своеобразие политической истории Флоренции Макиавелли, однако, усматривает в том, что здесь, при наличии благоприятных предпосылок для установления свободного политического строя (*lo stato libero*), эта возможность так и не претворилась в политическую действительность. Для того, чтобы это могло произойти, требовалось не только «достойное удивления» равенство между свободными гражданами, но нужен был еще мудрый, добродетельный и могущественный гражданин-законодатель, который, воспользовавшись благоприятным моментом, мог бы установить в городе свободные порядки. Тем самым в центр исторического повествования Макиавелли выдвигается проблема правильного политического руководства республикой, которое, как ста-

²⁵ Этот момент в рассуждениях Макиавелли особо отмечает Гизела Бок: *Bock G. Civil discord in Machiavelli's Istorie Fiorentine...* P. 189.

²⁶ *Istorie fiorentine, Libro III, cap. 1.* Цит. по: *Макиавелли Н. История Флоренции...* С. 104.

новится ясно из дальнейшего изложения, в истории флорентийской коммуны отсутствовало.

Отвечая на вопрос о том, почему Флоренции так не повезло с хорошими республиканскими порядками, хотя для установления их в городе сложились благоприятные условия, Макиавелли в первой главе IV книги «Истории Флоренции» начинает с соображений общего характера, согласно которым губительной для республики борьбе между нобиллями и пополанами, может поставить предел мудрый, добродетельный и могущественный законодатель. По его словам, «города, особенно плохо устроенные, которые управляются под именем республики, часто меняют правительства и порядки правления, будучи вынуждены колебаться, но не между свободой и рабством, как полагают многие, а между рабством и произволом»²⁷. Так происходит потому, объясняет Макиавелли, что «пополаны, которые стремятся к произволу, и нобилли, жаждущие порабощения других, прославляют лишь имя свободы; и те, и другие не хотят повиноваться ни другим людям, ни законам»²⁸.

В этих условиях остается лишь уповать на то, что «благодаря доброй фортуне в городе появляется мудрый, добродетельный и могущественный гражданин, способный наделить его законами, посредством которых можно будет либо умиротворить эти стремления нобилей и попопанов, либо подавить их, лишив возможности творить зло, – вот тогда город этот получит право называться

²⁷ *Istorie Fiorentine*, Libro IV, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 143. Перевод исправлен мной.

²⁸ *Istorie Fiorentine*, Libro IV, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 143.

свободным, а образ правления его – считаться стабильным и прочно установленным»²⁹.

Однако, как с горечью добавляет Макиавелли, такому доблестному любимцу фортуны «всегда грозит опасность быть унесенным смертью или же оказаться обесиленным из-за волнений и усталости»³⁰. В политической истории Флорентийской республики шанс на установление такого свободного образа правления, который, будучи основанным «на справедливых законах и на хороших установлениях», не нуждался бы в «добродетели какого-то одного человека для того, чтобы безопасно существовать», не был реализован, что в значительной степени предопределило, по мнению Макиавелли, ее последующий закат³¹. К этому стоит добавить только то, что саму ситуацию, при которой выживание республики оказывается поставленным в зависимость от доблести одного человека, флорентийский мыслитель оценивает резко отрицательно, поскольку, по его мнению, это свидетельствует о том, что такой город лишен добрых *ordini*³².

Как бы то ни было, отсутствие в городе доблестного и мудрого законодателя, который мог бы установить в нем свободные порядки – не единственная причина круше-

²⁹ *Istorie Fiorentine*, Libro IV, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 143. Перевод исправлен мной.

³⁰ *Istorie Fiorentine*, Libro IV, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 143.

³¹ Там же.

³² О понятии добрых порядков (*ordini*) и их роли в процветании республики у Макиавелли см.: *Ercole F. La Politica di Machiavelli*. Rome, 1926. Cap. II, III; *Whitfield J. H. On Machiavelli's Use of Ordini // Italian Studies*. 1955. Vol. 10. P. 19–39; *Najemy J. M. Arti and Ordini in Machiavelli's Istorie Fiorentine // Essays Presented to Myron P. Gilmore / Ed. by S. Bertelli and G. Ramakus*. Vol. 1. Florence, 1978. P. 161–191.

ния республиканской свободы во Флоренции. Значительную долю вины за этот прискорбный поворот событий Макиавелли возлагает на флорентийский народ, который желал править самовластно, без участия нобилей. Здесь снова сравнение политических устремлений двух народов – флорентийского и римского – оказывается не в пользу первого. «Благодаря победам народа, – пишет Макиавелли, – город Рим приумножал свою доблесть, ибо, получая возможность занимать должности в магистратах, командовать войсками и получать империй наравне с нобилиями, пополаны преисполнялись той же самой доблестью, а город благодаря приумножению доблести обретал новую мощь. Но когда во Флоренции побеждали пополаны, нобили не допускались к должностям, и если они желали быть снова допущенными к ним, им приходилось не только быть, но и казаться подобными пополанам и в поведении своем, и в душе, и в самом своем образе жизни»³³. Из-за этого, заключает Макиавелли, «Флоренция становилась все слабее и униженнее»³⁴.

По мнению Макиавелли, стремясь править самовластно и отказывая знати в праве на политическое участие в делах управления республикой, флорентийский народ тем самым изменял своему естественному стремлению – избегать господства со стороны других (*il volere non ubbedire*), и пытался неправомерно присвоить себе «естественное» для знати, но не для него самого стремление к тому, чтобы господствовать над другими (*il volere comandare*). Такое неестественное стремление народа

³³ *Istorie fiorentine*, Libro III, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 103–104. Перевод исправлен мной.

³⁴ *Istorie fiorentine*, Libro III, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 104.

Макиавелли считает предосудительным; он прямо говорит о том, что это «желание флорентийского народа было столь же оскорбительно, сколь и несправедливо (*il desiderio del popolo fiorentino era ingiurioso e ingiusto*), так что знать стремилась защищать себя, используя всю свою военную мощь, а из-за этого гражданская распря кончалась кровопролитием и изгнанием побежденных. Законы же, издававшиеся после нее, имели целью отнюдь не общее благо, но принимались исключительно ради выгоды победителя»³⁵. Именно по причине нарушения фундаментальных основ гражданской жизни, имеющих естественную, а не рукотворную природу, – недаром Макиавелли говорит о «естественной враждебности, существующей между пополами и нобилиями» (*naturali nimicizie che sono intra gli uomini popolari e i nobili*), – желание флорентийского народа править одному имело пагубные последствия для судеб Флорентийской республики.

Здесь снова у Макиавелли политическая история Флорентийской республики выступает как антитеза истории Римской республики, народ которой стремился править совместно с патрициями, а не самовластно, благодаря чему он проникался воинской доблестью и величием духа, присущим знатному сословию, что делало Римскую республику сильнее не только в гражданско-политическом, но и в военном плане. Ничего подобного не наблюдалось в истории Флорентийской республики, на основании чего Макиавелли приходит к выводу, что устранение старой знати от политического господства было куплено во Флоренции слишком дорогой ценой.

³⁵ *Istorie fiorentine*, Libro III, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 103. Перевод исправлен мной.

III

Тему о естественной враждебности между народом и знатью, поднятую в второй книге «Истории Флоренции», Макиавелли уточняет и дополняет в книге седьмой, где он подробно рассматривает вопрос о том, какие подразделения на партии и группировки существуют в городе (речь идет, конечно же, в первую очередь о Флоренции) и выясняет затем, идут ли эти подразделения городу на благо или во зло. Как доказывает Макиавелли, общественно-политические разломы в городе не ограничиваются горизонтальными делениями групп по «устремлениям» (*umori*), но дополняются вертикальными делениями на «партии» или «фракции» (*sette*), а также на «семейства» и «дома» (*case*). Как выясняется в дальнейшем, из этих делений отнюдь не все полезны для блага и процветания республики. «Имеются разногласия, вредящие республике, – отмечает Макиавелли, – а имеются и благоприятствующие ее существованию. Вредоносны для нее те, что приводят к возникновению враждующих между собой партий и групп: благоприятны – те, которые без этого обходятся. Поэтому, если основатель республики не может воспрепятствовать появлению в ней раздоров, он обязан во всяком случае не допустить образования партий»³⁶.

Согласно Макиавелли, для правильного ответа на вопрос о том, какие гражданские распри являются благом, а какие – злом для республики, следует учитывать целый ряд политических факторов, а именно, какими средствами ведется политическая борьба, ради достижения каких целей и какие общественно-политические силы прини-

³⁶ *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 268.

мают в ней участие. Используя для ответа на этот вопрос материал политической истории Флоренции, Макиавелли в «Истории Флоренции» прибегает к двум важным дихотомиям. Первая из них основана на противопоставлении характера и целей ведущейся политической борьбы. В ее рамках борьба ради общего блага противопоставляется борьбе за частную выгоду и партийные интересы. С этой точки зрения республика во Флоренции начинает приходить в упадок по мере того, как богатые торговые и предпринимательские городские слои в середине XIV в. одолевают старую знать и борьба из плоскости политической, – ее Макиавелли описывает как борьбу за славу, почет и почести (*gli onori*), – перемещается в плоскость социальную, где на кону оказываются уже материальные блага и привилегии (*le sustanze, la goba*), которые бедные хотят отобрать у богатых, а богатые раздают своим сторонникам в награду за их верность и поддержку³⁷. В результате складывается ситуация, когда законы и решения в республике принимаются к выгоде победившей партии, а не ради общего блага. Как говорит у Макиавелли один «наиболее уважаемый» (*di più autorità*) из граждан Флоренции, «воодушевленных любовью к отечеству» (*mossi dallo amore della patria*), с той поры как гражданская жизнь в городе оказалась отравлена борьбой партий, «правила и законы издаются не для общего блага, а ради выгоды отдельных лиц, с той поры решения о войне, мире, заключении союзов выносятся не во славу всех, а в интересах немногих. И если другие города Италии полны этих гнусностей, то наш запятнан ими более всех других, ибо у нас законы, установления, гражданские порядки выработаны и вырабатываются не ради того, чтобы жить свободно, но всегда

³⁷ *Istorie Fiorentine*, Libro III.

и исключительно ради выгоды победившей партии»³⁸. По сути дела, эта речь – настоящая филиппика против засилья партий, разрушающих и коррумпирующих гражданскую жизнь во Флоренции³⁹.

В соответствии со второй дихотомией Макиавелли проводит различие между методами борьбы, используя которые, граждане, стремящиеся к общественному признанию (*reputazione*), могут добиться славы и расположения своих сограждан. В рамках этой второй дихотомии Макиавелли противопоставляет два способа завоевания общественного признания – “*vie publiche*” и “*modi privati*”. По его словам, «в любом городе граждане имеют два способа заслужить признание: первый способ – это пути общественного служения, второй же связан с использованием частных путей»⁴⁰. Разъясняя, чем на практике отличаются друг от друга эти два способа завоевания общественного признания, он указывает, что «истинные общественные заслуги состоят в одержании военной победы, завоевании территории, в ревностном и рассудительном выполнении важного поручения, в мудрых и удачных советах, данных республике»⁴¹. И напро-

³⁸ *Istorie Fiorentine*, Libro III, cap. 5. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 108–109. Перевод исправлен мной.

³⁹ Поводом для этого обращения к синьорам послужили гражданские раздоры, вызванные борьбой между домами Альбицци и Риччи, которые достигли кульминации в 1366–1377 гг.

⁴⁰ *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 1: “*in due modi acquistono riputazione i cittadini nelle città: o per vie publiche, o per modi privati*”. Цит. по: *Machiavelli N. Tutte le Opere*... Р. 2032. Имеющийся русский перевод Н.Я. Рыковой в данном месте чересчур стилистически приглажен и потому плохо передает интересующие нас нюансы. Поэтому это место из «Истории Флоренции» мы цитируем по итальянскому оригиналу.

⁴¹ *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 268. Перевод исправлен мной.

тив, признания добиваются «частными путями за счет поддержки того или иного гражданина, защиты его перед должностными лицами, помощи ему деньгами, предоставления ему незаслуженных почестей или же путем завоевания расположения черни щедрыми даяниями и устройством всевозможных игр. Именно подобный образ действий и приводит к возникновению партий и их сторонников»⁴².

Эти два способа завоевания политической власти и получения общественного признания в республике принципиально отличаются друг от друга. «Пути общественного служения» (*vie publique*) требуют политического действия, которое осуществляется в рамках республиканских институтов, связано с уважительным отношением к законам и направлено на служение общему благу. «Частные пути» (*modi privati*), предполагают такое политическое действие, которое имеет тенденцию игнорировать существующие республиканские институты, и связано либо с использованием насилия для захвата государственной власти, либо с широким использованием подкупа и коррупции⁴³. Именно этот второй путь к власти связан с образованием партий, и именно его Макиавелли резко осуждает, поскольку здесь речь идет об

⁴² *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 1. Цит. по: *Макиавелли Н.* История Флоренции... С. 268. Перевод исправлен мной.

⁴³ Судя по всему, в своем понятии «путей общественного служения» (*vie publique*) Макиавелли удерживает характерное для классического учения о политике понимание «политического» как «публичного», в противоположность «частному». Отсюда же проистекает и противопоставление “*vie publique*” как публичных и законных действий, направленных на общее благо города, альтернативным формам – тем самым “*modi privati*”, в основе которых лежит господство клики и использование насилия и подкупа в качестве средств политического действия и господства.

интересах политических клик и фракций, а также их вождей, а не об общем благе города-коммуны. К осуждению захвата власти при помощи насилия, к которому прибегают сторонники тех или иных городских партий, – Макиавелли называет его использованием «насилия в частном порядке» (*privata violenza*)⁴⁴, – в седьмой книге «Истории Флоренции» добавляется осуждение захвата власти при помощи богатства, примером чего могла служить политика Козимо Медичи Старшего и его внука Лоренцо Великолепного.

Здесь надо остановиться и сделать небольшое отступление. Начиная с четвертой книги «Истории Флоренции» повествование Макиавелли осложняется тем, что ему приходится писать о приходе к власти в городе семьи Медичи, от влиятельного члена которой, – кардинала Джулио де' Медичи, будущего папы Климента VII (1523–1534), – он получил официальный заказ на написание «Истории Флоренции». Макиавелли выходит из этого двусмысленного положения за счет того, что прибегает к особому искусству письма, некоторые из приемов которого он раскрывает в письмах к Франческо Гвиччардини и в беседах с молодым другом-республиканцем Донато Джаннотти (1492–1573)⁴⁵.

Когда Макиавелли в 1524 году приступил к описанию событий XV в., он обратился за советом к Гвиччардини: «Я устроился в деревне, чтобы писать историю, и дал бы десять сольдо, а может быть и больше, чтобы Вы были рядом и чтобы я мог показать Вам, куда я добрался, поскольку, имея дело с некоторыми обстоятельствами, я

⁴⁴ *Istorie Fiorentine*, Libro III, cap. 2.

⁴⁵ Об искусстве письма и его значении для классической и новой политической философии на Западе см.: *Strauss L. Persecution and the Art of Writing*. Chicago, 1988. P. 22–37.

испытываю потребность в Вашем совете, не будет ли сочтено оскорбительным, если я вознесу чрезмерную похвалу или возведу чрезмерную хулу на дела, [о которых я пишу]»⁴⁶. Совет, которого Макиавелли просил у Гвиччардини, касался в данном случае того, как ему ухитриться написать правду, никого при этом не задев. Складывается впечатление, что Макиавелли не испытывал особого желания оценивать чересчур высоко правление Козимо Старшего и его внука Лоренцо Великолепного, но в то же самое время опасался того, что их наследникам, которым он был обязан заказом на написание «Истории Флоренции», не понравится подобное отсутствие энтузиазма при оценке правления семьи Медичи. Судя по всему, Макиавелли нашел выход в том, чтобы сосредоточиться на вопросах внешней политики и написать о внутренних делах Флоренции во времена правления Козимо и Лоренцо лишь самое необходимое – то, без чего никак нельзя было обойтись⁴⁷. Этим, по всей видимости, объясняется то обстоятельство, что «с пятой по восьмую книги «Истории Флоренции» пространство, посвященное внутренней политике, сокращается по сравнению с вниманием, уделяемым внешней политике и войнам»⁴⁸.

⁴⁶ В данном случае имеется в виду следующий фрагмент из письма Н. Макиавелли Ф. Гвиччардини (30 августа 1524 г.): “pagherei dieci soldi, non voglio dir più, che voi fosse in lato che io vi potessi mostrare dove io sono, perché, havendo a venire a certi particolari, harei bisogno di intendere da voi se offendo troppo o con lo esaltare o con lo abbassare le cose” (*Machiavelli N. Tutte le opere...* P. 2993).

⁴⁷ *Gilbert F. Machiavelli and Guicciardini...* P. 239–240.

⁴⁸ *Cabrini A. M. Machiavelli's Florentine Histories // The Cambridge Companion to Machiavelli / Ed. by J. M. Najemy. Cambridge, 2010. P. 139.*

Однако искусство исторического повествования, которым Макиавелли пользуется при написании глав «Истории Флоренции», посвященных правлению Медичи, не ограничивается смещением акцента с вопросов внутренней на вопросы внешней политики. Как явствует из письма Донато Джаннотти, датированного 1533 г., в одной из бесед, относящейся ко времени создания «Истории Флоренции» (1520–1525)⁴⁹, Макиавелли поведал ему о тех приемах письма, которыми он пользовался при создании своего исторического произведения. Я буду описывать, признался Макиавелли, события, которые действительно имели место, и ничего не пропущу, но буду рассказывать только о тех породивших их причинах, которые носят самый общий характер – большего я не могу себе позволить. «Я расскажу о том, как Козимо успешно овладел государством, но умолчу о том, как он достиг таких высот. Тот, кто захочет узнать об этом, пусть внимательно посмотрит на то, что я вкладываю в уста его противников, поскольку то, что я не могу сказать от себя (*da me*), я заставляю сказать его противников (*lo farò dire ai suoi avversari*)»⁵⁰.

Тем самым Макиавелли дает понять своему молодому другу, что его искусство исторического рассказа (и письма) предполагает три важные приема. Первый из них – давать возможность событиям говорить самим за себя; второй – прибегать к намеренным умолчаниям или преувеличениям для того, чтобы резче оттенить смысл поступков тех или иных протагонистов из дома Медичи. Наконец, третий прием, к которому прибегает Макиа-

⁴⁹ Макиавелли получил заказ написание «Истории Флоренции» от Флорентийского университета (*Florentine Studio*) 8 ноября 1520 г. Работа над текстом была завершена в начале 1525 г.

⁵⁰ *Giannotti D. Lettere italiane / A cura di F. Diaz. Milan, 1974. P. 35.*

велли по ходу своего исторического повествования, заключается в том, чтобы вкладывать хулу и критику Медичи в уста их врагов⁵¹. «Тем самым читателю дается шанс реконструировать отношение Макиавелли к Медичи через намеки, разбросанные по тексту, речи противников Медичи, а также через роли различных протагонистов»⁵².

Богатство дома Медичи занимает особое место в истории восхождения Козимо Медичи Старшего к власти во Флоренции, рассказанной Макиавелли в «Истории Флоренции». Макиавелли яркими красками рисует картину подкупа и патрон-клиентских отношений, с помощью которых Козимо удалось обзавестись в городе широким кругом сторонников и последователей (*partigiani* и *amici*)⁵³. В конце концов дело дошло до того, что, как с намеренным преувеличением пишет Макиавелли, к моменту смерти Козимо в городе не осталось ни одного «сколько-нибудь именитого гражданина, которому Козимо не ссудил бы значительной суммы денег»⁵⁴.

Макиавелли показывает, что политика Козимо Медичи всегда была партийной политикой, преследовавшей выгоды его партии и его личной власти, а его методы были «частными путями» завоевания благосклонности сограждан. Тому в «Истории Флоренции» можно найти

⁵¹ *Mansfield H. An Introduction to Machiavelli's Florentine Histories...* P. 134.

⁵² *Cabrini A. M. Machiavelli's Florentine Histories...* P. 138.

⁵³ О политике патрон-клиентских отношений, замешанных на коррупции на примере восхождения к власти дома Медичи см.: *Паджет Д. Ф., Ансел К. К. Устойчивое действие и подъем Медичи (1400–1434) // Патрон-клиентские отношения в истории и современности: хрестоматия. М., 2016. С. 41–115.*

⁵⁴ *Istorie Fiorentine, Libro VII, cap. 5.* Цит. по: *Макиавелли Н. История Флоренции...* С. 273.

множество подтверждений. Так, всё риторическое противопоставление Козимо Медичи и Нери Каппони построено на том, что второй завоевал «уважение» (*reputazione*) в городе «служением общественному делу: поэтому у него было много друзей, но мало приверженцев». Напротив, «у Козимо, перед которым в том, что касалось его власти, были открыты оба пути – и общественный и частный, было вдоволь как друзей, так и приверженцев»⁵⁵. Не брезговал «отец отчества» и использованием насилия, когда это могло укрепить его личную власть или же было выгодно сторонникам его партии. Говоря о преследованиях, обрушившихся на многих граждан Флоренции после триумфального возвращения Козимо в город в 1434 г., Макиавелли отмечает, что «теперь граждане подвергались репрессиям не столько уже за свою принадлежность к враждебной партии, сколько за свое богатство, родственные связи или же по наветам своих недругов»⁵⁶. О правительстве, поставленном Козимо и находившемся у власти в последние годы его жизни (1458–1464), Макиавелли прямо говорит, что оно «действовало только насилием и сделалось для всех невыносимым»⁵⁷. Несмотря на то, что сам Макиавелли списывает подобные эксцессы на старческую немощь Козимо, которая не давала ему «возможности отдаваться общественным делам так ревностно, как он делал это

⁵⁵ *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 2. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 269. Перевод исправлен мной.

⁵⁶ *Istorie Fiorentine*, Libro V, cap. 4. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 269. Перевод исправлен мной.

⁵⁷ *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 4. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 271.

раньше»⁵⁸, картина происходившего в ту пору во Флоренции, нарисованная Макиавелли, говорит сама за себя.

Если же мы последуем совету Макиавелли, который он дал Джаннотти, и посмотрим, какие речи он вкладывает в уста противников Медичи, то также сможем узнать многое о тех методах, с помощью которых Козимо пришел к власти. Особый интерес в этой связи анализ сильных сторон партии Медичи, который у Макиавелли дает Никколо да Уццано. «Что с нашей точки зрения подозрительно в поведении Козимо? Он помогает своими деньгами всем решительно: и частным лицам, и обществу, и флорентийцам, и кондотьерам. Он хлопочет перед магистратами за любого гражданина и благодаря расположению к нему народа может продвигать то того, то другого из своих сторонников на почетные должности... Конечно, к таким способам обычно прибегают те, кто домогается верховной власти, однако не все с нами в этом согласны, а мы не очень-то способны кого-нибудь убедить, ибо наше же поведение лишило нас всякого доверия. Город же наш, будучи естественным образом обуян партийными страстями и, живя в непрестанных раздорах, совершенно развращен, а потому и не подумает прислушиваться к подобным обвинениям»⁵⁹.

Давая общую характеристику стилю правления Козимо Старшего, Макиавелли снова обращает особое внимание на то, что тот всегда держался партийной политики, и приложил массу усилий для того, чтобы собрать вокруг себя широкую когорту сторонников и последователей, используя для этого все бывшие в его распоряже-

⁵⁸ *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 4. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 271.

⁵⁹ *Istorie Fiorentine*, Libro IV, cap. 27. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 171. Перевод исправлен мной.

нии средства: подкуп, незаконные почести, оказание покровительства. По словам Макиавелли, Козимо «никогда не предпринимал ничего ни против гвельфской партии, ни против государства, а стремился только всех улаживать и лишь щедростью своей приобретать сторонников. Пример его был живым укором власть имущим, он же сам считал, что, ведя себя таким образом, сможет жить как человек не менее могущественный и уверенный, чем любой другой, а если бы честолюбие его противников заставило бы его прибегнуть к экстраординарным мерам, он оказался бы сильнее и числом вооруженных сторонников, и народной поддержкой»⁶⁰. Более того, показательно еще и то, что, говоря о заслугах Козимо, Макиавелли ни словом ни обмолвился о его вкладе в общее благо Флоренции, как если бы такого вклада и вовсе не было. Из посмертного «панегирика» Козимо, составленного Макиавелли, мы узнаем только то, что «гражданские раздоры во Флоренции усиливали его влияние, а внешние войны увеличивали его могущество и славу»⁶¹.

Что же касается внука Козимо Лоренцо Медичи Великолепного, то на время его правления (1469–1492) приходится расцвет во Флоренции всевозможных празднеств, представлений, игр и турниров, с помощью которых Лоренцо, с одной стороны, искал расположения городской знати, а с другой – пытался завоевать симпатии городских низов. «Его заботой в эти мирные годы, – пишет Макиавелли, – в родном его городе одни празднества сменялись другими, и на них то происходили воин-

⁶⁰ *Istorie Fiorentine*, Libro IV, cap. 26. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 169. Перевод исправлен мной.

⁶¹ *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 5. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 274.

ские соревнования, то давались представления, в которых изображались какие-либо героические дела древности или триумфы древних полководцев. Целью же Лоренцо Медичи было изобилие в городе, единство народа и почет нобилитету»⁶².

Еще одна сторона правления Лоренцо Великолепного – его покровительство ученым и художникам – также оценивается Макиавелли не слишком высоко, особенно если учесть, что для него расцвет наук и искусств служит симптомом не процветания, но упадка города и разложения гражданских нравов⁶³. «Величайшую склонность, – пишет Макиавелли о Лоренцо, – имел он ко всем, кто отличался в каком-либо искусстве, крайне благоволил к ученым»⁶⁴. На первый взгляд, это суждение Макиавелли выглядит как похвала, однако оно заиграет совершенно иными красками, если вспомнить о том, что, высоко ценяемая Макиавелли как гражданская добродетель воинская доблесть несовместима с культивированием гуманитарных наук и изящных искусств⁶⁵. Поэтому его указание на то, что Медичи оказывали покровитель-

⁶² *Istorie Fiorentine*, Libro VIII, cap. 36. Цит. по: *Макиавелли Н.* История Флоренции... С. 350.

⁶³ Эта тема впоследствии получит свое развитие в политической философии Ж.-Ж. Руссо. Об этом см.: *Руссо Ж.-Ж.* Рассуждение, получившее премию Дижонской Академии наук по вопросу, предложенному этой же Академией: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов» // *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М., 1969. С. 9–30.

⁶⁴ *Istorie Fiorentine*, Libro VIII, cap. 36. Цит. по: *Макиавелли Н.* История Флоренции... С. 350.

⁶⁵ «Мудрецы заметили также, что ученость никогда не занимает первого места, оно отведено военному делу, и что в землях и городах появляются сперва военачальники, а затем уж философы» (*Istorie Fiorentine*, Libro V, cap. 1). Цит. по: *Макиавелли Н.* История Флоренции... С. 181. Перевод исправлен мной.

ство художникам и ученым, можно рассматривать как свидетельство того, что во Флоренции того времени больше не осталось места воинской доблести⁶⁶.

Итогом партийной политики дома Медичи стало крушение республики и гибель флорентийской свободы. Макиавелли очень ярко рисует этот решающий момент в истории Флоренции на примере неудачного заговора, организованного семейством Пацци, пытавшихся силой отстранить от власти и убить Джулиано и Лоренцо Медичи. Когда стало ясно, что заговор провалился, а Лоренцо удалось спастись, один из заговорщиков, мессер Якопо Пацци, надел доспехи, сел на коня и в сопровождении вооруженной свиты направился к дворцовой площади, призывая к себе на помощь народ и свободу. «Однако, – не без издевки пишет Макиавелли, – счастливая судьба и щедрость Медичи сделали народ глухим, а свободы во Флоренции уже не знали, так что призывов его никто не слышал»⁶⁷.

IV

Подведем некоторые итоги. При чтении «Истории Флоренции» складывается впечатление, что особой пользы от гражданских распрей в политической истории Флоренции Макиавелли не видит, за исключением двух моментов, на которых стоит остановиться особо. Во-первых, борьба между народом и грандами привела к установлению во Флоренции в середине XIV в. «достойного удивления равенства»⁶⁸, благодаря чему Флоренция

⁶⁶ Gilbert F. Machiavelli's *Istorie Fiorentine*... P. 143.

⁶⁷ *Istorie Fiorentine*, Libro VIII, cap. 8. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 350.

⁶⁸ *Istorie Fiorentine*, libro III, cap. 1.

получила уникальный шанс обзавестись «добрыми порядками»⁶⁹. Однако из дальнейшего повествования Макиавелли становится ясно, что этот выпавший на долю города благоприятный шанс был упущен (к сходным заключениям Макиавелли пришел еще раньше в «Рассуждениях»)⁷⁰. Эта точка зрения находит свое подтверждение и в речах, которые Макиавелли вкладывает в уста своим протагонистам. Вот, например, что говорит, обращаясь к синьорам – членам городского правительства – «самый уважаемый» из числа граждан, «воодушевленных любовью к отечеству», в одном месте «Истории Флоренции»: «Мы никогда не могли обрести подходящего для нас порядка и оказывались неспособными ни договориться друг с другом об основах свободной жизни, ни примириться с рабской долей»⁷¹.

В итоге Флоренция стала городом-республикой, лишенной хороших *ordini*, и в силу этого остро нуждающейся в необычайной доблести лучших граждан для того, чтобы не скатиться еще дальше по пути коррупции и упадка. Однако именно эти выдающиеся граждане, первыми среди которых были Мазо дельи Альбицци и Никколо да Уццано, в конечном счете проиграли политическую борьбу за политическое будущее Флоренции дому Медичи и сторонникам их партии.

Во-вторых, Макиавелли осторожно допускает, что определенные гражданские распри могут пойти на пользу республике, правда, при условии, что они не сопровождаются проведением тенденциозной партийной политики. «Хотя невозможно помешать разногласиям ме-

⁶⁹ *Istorie Fiorentine*, libro III, cap. 1.

⁷⁰ *Discorsi*, Libro I, cap. 55.

⁷¹ *Istorie Fiorentine*, Libro III, cap. 5. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 109.

жду гражданами из разных партий, – пишет Макиавелли, – эти разногласия, если они не поддержаны их сторонниками, преследующими свои личные цели, не вредят республике, более того – они ей полезны, ибо для того, чтобы одолеть соперника, надо деяниями своими возвеличить республику, а, кроме того, соперники из разных партий еще и следят друг за другом, чтобы ни один не мог нарушить гражданских установлений»⁷².

Однако такой ход событий, как тут же признается Макиавелли, был совершенно нехарактерен для Флоренции, политическая история которой всегда была отмечена печатью ожесточенных партийных распрей. Несмотря на то, что с точки зрения Макиавелли, в политической истории Флоренции присутствовали как положительные, так и отрицательные формы гражданских раздоров, последние, однако же, в ней преобладали, коль скоро речь шла о выходе на первый план общественно-политической жизни социальных конфликтов и узкопартийной политики. По словам Макиавелли, «во Флоренции несогласия неизменно сопровождались появлением всяческих партий, поэтому они всегда бывали пагубны, да и победоносная партия сохраняла единство лишь до тех пор, пока побежденная не была окончательно раздавлена. Когда же она оказывалась уничтоженной, победители, не сдерживаемые никаким страхом и не обуздываемые каким-либо внутренним порядком, тотчас же начинали враждовать между собой»⁷³.

Таким образом, выводы, к которым Макиавелли приходит во «Истории Флоренции», носят глубоко парадокс-

⁷² *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 269. Перевод исправлен мной.

⁷³ *Istorie Fiorentine*, Libro VII, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 269.

сальный характер. С одной стороны, он утверждает, что внутренние разногласия в республике, обусловленные диаметрально противоположными умонастроениями его граждан, – знати и народа, – могут способствовать ее процветанию, не позволяя ни одной из действующих сил одержать безоговорочную победу над другой. Однако те же самые гражданские раздоры между знатью и народом, особенно в том случае, если на них накладываются вертикальные деления политического сообщества города на партии и группировки, использующие насилие и богатство частных лиц в качестве главных средств ведения политической борьбы, способны привести республику к кризису и даже – к гибели. Историю флорентийского народа Макиавелли ясно и недвусмысленно связывает с этим вторым вариантом развития событий. В результате получается, что история Флоренции в изображении Макиавелли – это история упадка и заката, вызванного коррупцией (*corruzione*).

Согласно Ф. Гилберту, «понятия упадка и разложения являются центральными для исторического мышления Макиавелли»⁷⁴. Такая характеристика, будучи в целом правильной, нуждается, однако, в уточнении, поскольку само понятие упадка, а также порождающего его разложения, или коррупции, у Макиавелли довольно многозначно. С одной стороны, понятия разложения, коррупции несут у него на себе отпечаток нравственной порчи и выдвигания на первый план частных и узкопартийных интересов в противоположность общему благу⁷⁵. С дру-

⁷⁴ Gilbert F. Machiavelli's *Istorie Fiorentine*... P. 148. К сходному заключению приходит и К. Скиннер, который отмечает, что вся «История Флоренции» «построена вокруг темы упадка и заката» (*Skinner Q. Machiavelli*... P. 93).

⁷⁵ *Istorie Fiorentine*, Libro III, cap. 1; Libro V, cap. 1; Libro VII, cap. 1.

гой стороны, понятия упадка и коррупции в историческом мышлении Макиавелли содержат в себе явно выраженный структурный компонент, который не поддается ни хвале, ни порицанию на том основании, что он воплощает в себе момент необходимости. По словам Макиавелли, поскольку «от самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, они, достигнув некоего совершенства и будучи уже не способны к дальнейшему подъему, неизбежно должны приходить в упадок, и наоборот, находясь в состоянии полного упадка, до предела подорванные беспорядками, они не в состоянии пасть еще ниже и по необходимости должны идти на подъем. Так вот всегда все от добра снижается ко злу и от зла поднимается к благу»⁷⁶. В своем описании событий флорентийской политической жизни Макиавелли сочетает эти два подхода.

Весьма примечательно еще и то, что в «Истории Флоренции» в общую картину упадка и разложения, задаваемую исповедуемой им теорией исторического цикла, Макиавелли вписывает не только историю Флоренции, но и историю Италии. В его историческом повествовании на малый исторический цикл, являющийся главной темой в «Истории Флоренции», – историю коррупции и заката флорентийской республики, накладывается большой цикл, связанный с историей заката Италии. Если первая книга «Истории Флоренции» посвящена крушению Западной Римской империи и нашествию варваров на Аппенинский полуостров, то заключительная часть первой книги и вторая книга описывают, как «новыми городами и империями, возникшими на римских развалинах, проявлено было столько доблести, что хотя ни

⁷⁶ *Istorie Fiorentine*, Libro V, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 181.

одна из них не сумела возобладать над другими, они оказались настолько хорошо устроенными и упорядоченными, что смогли избавить и защитить Италию от варваров»⁷⁷. Если на протяжении нескольких столетий, описываемых Макиавелли в первых книгах «Истории Флоренции», события в Италии шли своим чередом и об упадке говорить не приходилось, то затем снова наступает полоса заката и события снова начинают развиваться по нисходящей линии. В действие, особенно со второй половины XV в., вступают силы разложения и нравственной порчи, что приводит не только к гибели свободы во Флоренции, но и к подчинению Италии чужеземным захватчикам.

Как доказывает Макиавелли, для поддержания воинской доблести и боевого духа одних распри внутри городов или же войн между итальянскими государствами было мало. Нужны были еще войны с сильными чужеземными врагами, без которых воинская доблесть и боевой дух были обречены на угасание. Именно так случилось с Италией, которая до вторжения французов в 1494 г. знала только местные распри, которые Макиавелли не считает настоящими войнами. Обозревая итальянские дела в период, предшествовавший началу нового этапа истории Апеннинского полуострова, который историки назовут эпохой Итальянских войн (1494–1559), Макиавелли в начале пятой книги «Истории Флоренции» особо отмечает ту «низменную вялость» (“*tanta debolezza*”), с которой велись войны между итальянскими государствами в XV в. «Нельзя также назвать войнами такие распри, – пишет он, – в ходе которых люди не истребляются, города не подвергаются разгрому, а кня-

⁷⁷ *Istorie Fiorentine*, Libro V, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 181–182. Перевод исправлен мной.

жества – не уничтожаются. Подобные войны вообще велись так вяло, что начинали их без особого страха, вели их без особого риска и завершали без серьезного ущерба. Таким образом, воинская доблесть, которая в других землях обычно угасала из-за долгих лет мирной жизни, в Италии исчезла вследствие той низменной вялости, с которой в ней велись войны»⁷⁸. Итогом всех этих событий стало то, что, как с печалью констатирует Макиавелли, «варварам снова была открыта дорога» в Италию, а «Италия сама отдалась им в рабство»⁷⁹.

Несмотря на то, что история современной ему Флоренции (как, впрочем, и Италии) для Макиавелли – это история разложения и упадка, однако и из истории разложения и упадка можно, по его мнению, извлечь полезные уроки. Как показывает Макиавелли в начале пятой книги, отрицательный урок, преподносимый историческими повествованиями, – это тоже урок. «Если в повествованиях о событиях, случившихся в столь разложившемся обществе, – писал Макиавелли, – не придется говорить ни о храбрости воина, ни о доблести полководца, ни о любви к отечеству гражданина, то во всяком случае можно будет показать, к какому коварству, к каким ловким ухищрениям прибегали и государи, и солдаты, и вожди республик, чтобы сохранить уважение, которого они никак не заслуживали. И, может быть, ознакомиться со всеми этими делами будет не менее полезно, чем с деяниями древности, ибо если последние служат великодушным сердцам примером для подражания, то пер-

⁷⁸ *Istorie Fiorentine*, Libro V, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 182. Перевод исправлен мной.

⁷⁹ *Istorie Fiorentine*, Libro V, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 182.

вые вызовут в тех же сердцах стремление избегать их и препятствовать им»⁸⁰.

Таким образом, в «Истории Флоренции» речь идет о таком переосмыслении идеи *historia magistra vitae*, когда примеры из истории современной жизни призваны служить скорее предостережением, нежели образцом для подражания, в отличие от истории «древних», т.е. греков и римлян. Более того, отрицательные исторические уроки могут быть не менее поучительными, чем положительные. «История времен упадка, – комментирует эту мысль Макиавелли Маурицио Вироли, – более поучительна, чем философские размышления, не только потому, что она способна пробуждать чувства, но еще и потому, что она останавливается на деталях и потому лучше приспособлена для научения политической мудрости. В особом случае с Флоренцией, как разъясняет Макиавелли, историческое повествование позволяет детально описать серьезную проблему, которая связана с гражданским раздором и борьбой партий»⁸¹. Тем самым классическая идея «истории – учительницы жизни» получает у Макиавелли на материале политической истории Флоренции новое риторическое звучание.

⁸⁰ *Istorie Fiorentine*, Libro V, cap. 1. Цит. по: Макиавелли Н. История Флоренции... С. 182.

⁸¹ *Viroli M. Machiavelli's God*. Princeton, 2010. P. 145.

*Timofey A. Dmitriev,
National Research University
Higher School of Economics
(Moscow)*

THE CIVIL DISUNION IN MACHIAVELLI'S FLORENTINE HISTORIES: THE GOOD OR THE EVIL FOR THE REPUBLIC?

Abstract. A clear awareness of the conflict and antagonism between the adversary elements as an integral part of the political process is one of the most important achievements of Niccolò Machiavelli's political thought. The political life of the Earthly City is always based on conflict; it is an irreplaceable moment of the political as those things that can do people only together but not alone. In his Discourses Machiavelli puts forward and defends the thesis that the Roman Republic owes its freedom to the conflict between the nobles and the plebs, the patricians and the plebeians. As Machiavelli emphasizes, it is the existence in the city of influential political forces with different interests, none of which has absolute superiority over the other, creates favorable prerequisites for preserving the political freedom and greatness of the city.

However, in the Florentine Histories this thesis was significantly transformed. Here Machiavelli suggests that the civil disunion in Rome led to the fall of the republic and the rise of Caesar, while the much more pernicious antagonism of the Florentine Republic helped to strengthen republican order. The purpose of this article is to show how this idea of political thought of Machiavelli is refracted in his political history of the Florentine Republic in the Florentine Histories. The article will focus on the interpretation of the two interrelated theses expressed by Machiavelli in the preface to this treatise. The first one holds that "If in any other republic

there were ever notable divisions, those of Florence are most notable”; and the second one – that “no other instance appears to me to show so well the power of our city as the one derived from these divisions, which would have had the force to annihilate any great and very powerful city. Nonetheless ours, it appeared, became ever greater from them”.

Andrea Guidi,
Università dell'Insubria

**MACHIAVELLI, LA VALDICHIANA
E LE CONQUISTE E LE ALLEANZE DI ROMA
NELLA PENISOLA ITALICA:
PRIMI SPUNTI DI UNA RICERCA IN CORSO¹**

Molto si è detto e scritto sull'uso di Livio e di altri storici antichi da parte di Machiavelli. Questo contributo riguarda il modo in cui, attraverso una lettura critica dei precedenti storiografici, il Segretario fiorentino commenta l'uso dei *foedera* e delle paci nella storia dell'espansione territoriale di Roma; ovvero quegli accordi, o l'atto formale che li precedeva e seguiva, sanciti dalla città con le nazioni latine e italiche: un insieme di pratiche e consuetudini di carattere pre-giuridico e religioso-sacrale riconducibile agli antichi rituali di guerra e alleanza del *ius fetiale*, di cui oggi conosciamo molto meglio i tratti soprattutto per studi recenti e dettagliati come quelli di Giovanni Turelli². Per la precisione, anzi, questo saggio si concentra sul modo in cui lo stesso Segretario fiorentino si pone di fronte alle rielaborazioni storiografiche che di queste pratiche come del *ius gentium* romano, originariamente offrirono Livio e altri scrittori antichi, quanto poi vari storici più vicini a lui. I modi impiegati da Machiavelli in tale operazione di rilettura rivelano un uso innovativo delle fonti a

¹ Questo saggio rappresenta la prima traccia di un lavoro di ricerca ancora in corso, del quale si presenteranno i risultati conclusivi in prossime pubblicazioni cui si deve rimandare per una analisi più vasta ed esaustiva degli elementi qui esposti. Ringrazio Raffaele Ruggiero per i molti e importanti consigli e suggerimenti.

² Turelli G. "Audi iuppiter". Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana. Milano, 2011.

lui disponibili e una conoscenza acuta delle necessità politiche che sovrastavano a determinate pratiche e a certi istituti giuridici e religiosi relativi alla guerra e alla stipula delle paci e delle alleanze nell'antica Roma. Se da una parte infatti il Segretario fiorentino dimostra consapevolezza della funzione di questi elementi nella costruzione dei rapporti internazionali, nonché, in modo innovativo, della necessità di porli in relazione con la costituzione politica interna di uno stato; dall'altra, ed è ciò che mi interessa sottolineare in questa sede, lo stesso Machiavelli si concentra su elementi tratti dalla storiografia, nel tentativo di comprendere e dare sbocco politico e militare a quelle contraddizioni che derivavano dalle difficili relazioni della Firenze del suo tempo con i territori soggetti al suo dominio.

Sono di grande interesse, a questo proposito, alcuni capitoli del secondo libro dei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*. Per la precisione, mi sembra emblematico il quarto capitolo del secondo libro dell'opera (intitolato "Le repubbliche hanno tenuti tre modi circa lo ampliare"): qui il Segretario fiorentino espone la sua teoria delle tre diverse forme dell'ampliamento territoriale e indirettamente spiega quelle che, secondo lui, erano le principali tipologie di 'confederazione' messe in atto nell'antichità. Uno di questi modi appare centrale rispetto alla questione qui posta: quello tenuto dai Romani, descritto nei *Discorsi* come: "farsi compagni: non tanto però che non ti rimanga il grado del comandare, la sedia dello imperio e il titolo delle imprese"³. Prima ancora di essere influenzato dalla lettura di temi ritrovati in fonti a lui più vicine cronologicamente come l'opera di Biondo e di altri umanisti e

³ *Machiavelli N.* Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (II 4, 10) / A cura di F. Bausi ("Edizione Nazionale delle Opere". Vol. II). Roma, 2001. T. 1. P. 330–331.

storici a lui più vicini⁴, questo modello di confederazione pensato da Machiavelli appare sviluppare elementi presenti in una precisa tradizione storiografica antica che descrive la prassi romana connessa alla stipula dei *foedera*, e in generale relativa ai trattati stipulati da Roma con le nazioni latine e italiche: è infatti una prassi ricordata da Livio, Cicerone e altri scrittori antichi, tanto in funzione nostalgica dei costumi incorrotti dell'età arcaica, quanto in una prospettiva imperialistica (si pensi al riferimento alla “*maiestas*” del popolo romano nell'orazione *Pro Balbo* di Cicerone), ovvero con l'obiettivo di spiegare storicamente la conquista di altre nazioni da parte di Roma⁵.

Per illustrare il caso più nel dettaglio, conviene iniziare dal racconto con cui Livio celebra il ruolo avuto da Numa nel dotare Roma di *iura* e costumi religiosi destinati non solo a ridurre alla civiltà i propri abitanti dalla natura troppo “feroce”, ma anche a regolamentare i rapporti della città con alleati e nazioni vinte in guerra:

⁴ V. Pedullà G. Machiavelli in tumulto. Conquista, cittadinanza e conflitto nei “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”. Roma, 2011. P. 397.

⁵ Il caso di Livio è affrontato più avanti nel testo. Per ciò che concerne Cicerone, il riferimento è a *Pro Balbo* 16.35: “...*maiestatem populi Romani comiter conservanto. Id habet hanc vim ut sit ille in foedere inferior. Primum verbi genus hoc conservanto, quo magis in legibus quam in foederibus uti solemus, imperantis est, non precantis*”. È utile, peraltro ricordare qui anche la menzione che dei diversi tipi di *foedera* si fa in un brano di Proculo, relativo alla *libertas* di un *populus*, nel Digesto, 49.15.7.1: *Proculo*, Libr. VIII epist.: “*Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestate est subiectus: sive is foederatus est item, sive aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret*”. Cfr. Luraschi G. *Foedus, Ius Latii, Civitas*. Aspetti costituzionali della romanizzazione in transpadana. Padova, 1979. P. 39 e 45 sgg. V. anche il recente Ziegler K.H. *From foedera pacis to foedera, paces // Peace Treaties and International Law in European History from the Late Middle Ages to World War One* / Ed. by R. Lesaffer. Cambridge, 2004. P. 147–161.

“Qui [Numa] regno ita potitus urbem novam conditam vi et armis, iure eam legibusque ac moribus de integro condere parat. Quibus cum inter bella adsuescere videret non posse – quippe efferari militia animos – mitigandum ferocem populum armorum desuetudine ratus, Ianum ad infimum Argiletum indicem pacis bellique fecit, apertus ut in armis esse civitatem, clausus pacatos circa omnes populos significaret. Bis deinde post Numae regnum clausus fuit, semel T. Manlio consule post Punicum primum perfectum bellum, iterum, quod nostrae aetati di dederunt ut videremus, post bellum Actiacum ab imperatore Caesare Augusto pace terra marique parta. Clauso eo cum omnium circa finitimorum societate ac foederibus iunxisset animos, positus externorum periculorum curis, ne luxuriarent otio animi quos metus hostium disciplinaque militaris continuerat, omnium primum, rem ad multitudinem imperitam et illis saeculis rudem efficacissimam, deorum metum iniciendum ratus est”⁶.

Scrivendo nell’età di Augusto, Livio ricostruì la storia dell’evolversi di questa prassi nella logica finalistica dell’espansione di Roma e della giustificazione dell’impero. Emblematico ai fini di questa analisi è, d’altronde, tutto il resoconto che della prassi relativa alla prima fase di espansione romana diede lo stesso storico patavino, giacché costituisce il materiale che Machiavelli usa al fine di concepire i suoi propri modelli esemplari di conquista e di federazione, fondati – al pari di quello liviano – su di una apparente verità storica e sulla discussione di elementi di natura giuridica e religiosa (patti e trattati) utili alla dimostrazione dell’efficacia della propria dottrina. Senza potere addentrarsi in questa sede nel merito di specifici elementi tecnici che a una lettura di carattere giurisprudenziale emergono dalla trattazione liviana, si può ricordare brevemente, ad utilità di chi legge, alcuni dei passi nei

⁶ Livio I 19.

quali Livio ricorda emblematicamente i doveri degli alleati “federati” verso Roma (come il fornire soldati e denari), oppure quelli nei quali in generale affronta la questione della preminenza di Roma. Sono esempi che danno il senso dell'interpretazione liviana del *foedus*, di tutti i trattati e del diritto di guerra in generale, quali importanti strumenti dell'espansione di Roma.

Sulla scorta proprio di Livio ed altri autori, Machiavelli riserva pari importanza al ruolo avuto da Numa nello sviluppo di quella “religione de’ Romani” che fu, come si spiega in *Discorsi* I 11, “intra le prime cagioni della felicità di quella città”. A questo proposito, occorre notare che la questione non va ricondotta solo alle vicende della costituzione interna di Roma trattata in linea generale nel primo libro dell’opera, bensì a tutto il complesso della storia romana: ivi comprese, dunque, quelle “imprese” di successo citate nel medesimo passo del capitolo, le quali vanno appunto identificate anche con le varie tappe dell’espansione territoriale di Roma:

“<...>conchiudo che la religione introdotta da Numa fu intra le prime cagioni della felicità di quella città, perché quella causò buoni ordini, i buoni ordini fanno buona fortuna, e dalla buona fortuna nacquero *i felici successi delle imprese*”⁷.

⁷ Machiavelli N. *Discorsi* (I 11, 17). T. 1. P. 81. Corsivo aggiunto. L’idea che il ruolo della religione introdotta da Numa in questo capitolo sia da riferire anche agli ordini “di fuori” è rafforzata dal soggetto del successivo capitolo 15, dove pure si opera una esplicita digressione sulle “cose estrinseche” (come registra il curatore Francesco Bausi, v. ivi, par. 12, p. 99 e note) in merito al ruolo della religione in guerra, seppure solo sul piano della motivazione dei soldati. Per una trattazione complessiva della funzione della religione nel pensiero di Machiavelli, resta insuperata l’analisi di *Cutinelli-Rendina E. Chiesa e religione in Machiavelli*. Pisa; Roma, 1998. In particolare su Numa e il tema della religione si vedano: *Varotti C. Le figure di Romolo e Numa creatori di istituzioni nei Discorsi* // Niccolò Machiavelli politico storico letterato, Atti del Convegno di Losanna, 27–30 settembre 1995 / A cura di J.-J. Marchand. Roma, 1996. P. 120–130, alle p. 124 sgg; e

Scendendo più nel dettaglio dell'opera di Livio, inoltre, emergono altri importanti elementi. Innanzitutto, lo storico patavino ricorda come già con Servio Tullio, e perciò sin dall'epoca dei Re, si fosse ottenuto quel riconoscimento della supremazia di Roma (“caput rerum Romam esse”), una supremazia per la quale s'era fino ad allora combattuto con le armi:

“Aucta magnitudine urbis, formatis omnibus domi et ad belli et ad pacis usus, *ne semper armis opes acquirerentur, consilio augere imperium conatus est* <...> Eum consensum deosque consociatos laudare mire Seruius inter proceres Latinorum, cum quibus publice priuatimque hospitia amicitiasque de industria iunxerat”; “Ea erat confessio *caput rerum Romam esse*, de quo totiens armis certatum fuerat”⁸.

Livio, quindi, ricorda come nell'accrescere il proprio dominio, sin dalle origini Roma ricorse sia alle armi, sia alla saggezza e ad una politica accorta nei confronti dei Latini. La stessa linea di pensiero si coglie anche nel brano in cui lo storico, riferendosi al tempo delle guerre latine, fa parlare il pretore di Sezze, Lucio Annio, per conto dei Latini, lamentando i soprusi insiti negli accordi: “sub umbra foederis aequi servitutem pati possumus” (VIII 4, 2). Un passaggio particolarmente significativo per la lettura dei *foedera* quali strumenti favorevoli ai Romani espressa dall'autore. La frase testimonia, infatti, di un'evidente coscienza del valore ‘politico’ dell'istituto in ogni sua forma, perfino quella mitigata da *aequitas*, e offre la misura della coscienza liviana dell'importanza di quest'elemento, nonché del suo contenuto

Raimondi F. “Usi a vivere liberi”. Guerra e religione nell'ordinamento machiavelliano della libertà // *Scienza & Politica*. Per una storia delle dottrine. Vol. 30. № 58 (2018). Data di accesso: 08 feb. 2020, doi: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/8390>.

⁸ Livio I 45.1–3. Corsivo aggiunto.

politico-giuridico sperequato a favore dei Romani⁹. Non a caso, d'altronde, la frase di Annio è ripresa letteralmente da Machiavelli in *Discorsi* II 13, al fine di sottolineare il contenuto sperequato degli accordi tra Romani e Latini: talmente ineguale che lo stesso Segretario fiorentino è spinto in quel capitolo – e all'interno, peraltro, di una ampia cornice concettuale – a giudicare esplicitamente quel tipo di accordo una “fraude” ben celata, utile ad ampliare il proprio dominio¹⁰.

Sviluppando queste tracce storiografiche ritrovate in Livio, Cicerone, ed altri autori (su cui attualmente chi scrive sta ancora lavorando), Machiavelli impernia la sua personale interpretazione della storia dell'espansione della Roma repubblicana sull'analisi di elementi tanto consuetudinari, quanto pattizi, che oggi gli storici riferiscono appunto al *ius gentium* e al *ius belli* romani, nonché alla prima espressione di carattere sacrale, ritualistico e religioso che di essi diede quello che oggi è noto come *ius fetiale*. Il Segretario fiorentino dimostra soprattutto di intendere appieno tanto il valore storico-politico, quanto appunto – modernamente – le reali motivazioni che ispiravano l'uso di tali strumenti giuridico-religiosi nell'antica Roma. È evidente, infatti, la capacità con la quale Machiavelli, molto al di là delle semplici alterazioni storiche degli annalisti¹¹, coglie gli intenti e i risultati politico-militari

⁹ Lo ricorda *Luraschi G.* *Foedus Ius Latii Civitas...* P. 39 e nota 43.

¹⁰ *Machiavelli N.* *Discorsi* (II 13, 17). T. 1. P. 387. Il concetto di frode è messo in rilievo da *Connell W. J.* *Machiavelli on Growth as an End // Historians and Ideologues: Essays in Honor of Donald R. Kelley / Ed. by A. Grafton, J. H. M. Salmon.* Rochester, 2001. P. 259–277. Appare un po' riduttivo il commento di *Ilari V.* *L'interpretazione storica del diritto di guerra romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo.* Milano, 1981. P. 40, il quale si concentra più che altro sul contenuto formale del testo di Machiavelli.

¹¹ Rispetto a tali alterazioni, v. *Bickerman E. J.* *Bellum Philippicum: Some Roman and Greek Views Concerning the Causes of the Second Macedonian War // Classical Philology.* Vol. XL. № 3 (July 1945), e il più recente

che a Roma sovrastavano alla regolamentazione dei, ed erano garantiti dai *foedera*: per l'appunto la pratica di fare alleanze o stipulare paci o patti di vario genere con le popolazioni latine e italiche, fondandoli tuttavia sulla propria posizione di preminenza politico-militare (ovvero quel retroterra culturale già sottolineato tempo fa anche da antichisti come Giorgio Luraschi e dagli storici del diritto romano)¹²; una preminenza che diventerà poi un vero e proprio predominio, pur mascherato dal riconoscimento di certi diritti, già nei trattati stipulati più tardi con il resto delle popolazioni italiche¹³.

Machiavelli, perciò, sulla scorta di una specifica tradizione storiografica, prima di tutto comprese gli effetti che la regolamentazione di questi istituti aveva garantito nella storia di Roma: l'ampliamento della popolazione atta alle armi, quindi la forza militare e le conquiste territoriali, nelle varie fasi di età regia e repubblicana. Facendo di questi ingredienti storiografici uno degli aspetti principali della sua dottrina, in secondo luogo, il Segretario fiorentino intese gli effetti politico-militari che una politica basata anche su questi istituti pattizi poteva assicurare in ogni età storica (cioè appunto garantire l'ampliamento territoriale e quindi accrescere la forza militare di uno stato). In particolare, enfatizzando un altro elemento essenziale della storia di Roma, la quale attraverso alleanze con i vinti impediva il coalizzarsi dei nemici, Machiavelli proponeva quindi una 'attualizzazione' della politica romana concernente la concessione di patti politicamente e militarmente squilibrati – in modo non sempre manifesto – da applicare al caso della Firenze dell'epoca.

Aigner-Foresti L. Il federalismo nell'Italia antica (fino all'89 a.C.) // Il federalismo nel mondo antico / A cura di G. Zecchini. Milano, 2005. P. 89.

¹² Cfr. *Luraschi G.* *Foedus, Ius Latii, Civitas...* P. 39, 67–98, e *De Martino F.* *Storia della costituzione romana.* Napoli, 1977. Vol. II. P. 109. (1 ed. – 1955)

¹³ Cfr. *ibid.*

Rispetto a molti suoi contemporanei, d'altra parte, Machiavelli non si diffonde in una lettura tradizionalistica e di carattere erudito/giurisprudenziale del *foedus*. Ad esempio, non si concentra sulla necessità di mantenere i vincoli pattizi e anzi fece scandalo affermando la necessità talvolta di fare il contrario. Soprattutto allarga l'orizzonte storico e geo-politico della sua analisi e non lo usa esclusivamente in una accezione legata alle sole necessità di Firenze, come per esempio fa Poggio Bracciolini, il quale, ancora ad esempio, appare adottare una prospettiva strumentalmente funzionale e utile alla città gliata – peraltro, in continuità con il senso tecnico dell'istituto e del patto – narrando del, e al tempo stesso utilizzando proprio l'elemento del mancato rispetto del *foedus* tra Milano e Firenze da parte di Bernabò Visconti per giustificare apertamente la politica aggressiva praticata dai fiorentini (così, secondo Gary Ianziti, Bracciolini nell'episodio dell'aiuto offerto dal Visconti ai ribelli di San Miniato nel 1369: “Bernabò <...> contra foedus antea cum Florentinis contractum...”) ¹⁴. In effetti, Machiavelli allarga l'orizzonte teorico della questione alla funzione dell'uso dei patti e delle confederazioni appunto rispetto al caso di qualsiasi stato (sebbene suggerendo poi, naturalmente, che specificamente Firenze adottasse questa prassi), focalizzando dunque la propria analisi storiografica sulla funzione storica, politica e militare più profonda dei *foedera* romani, senza affatto limitarsi all'utilità pratica di breve periodo, né solo, strumentalmente, rispetto a un singolo episodio. Pure se, naturalmente, Machiavelli aveva contemplato molti casi simili a quello descritto da Poggio, diversamente da quest'ultimo quel che gli interessava di più era una riflessione più generale sulla funzione di tali strumenti e vicende nella storia e nella politica.

¹⁴ Poggii. *Historia florentina*. Venetia, 1715. P. 36. Cfr. Ianziti G. Poggio, Bruni e le Storie fiorentine // *Hvmanistica*. Vol. 2. № 1–2. 2007. P. 18–19.

Va ribadito ancora che l'interesse di Machiavelli rispetto a quello che oggi conosciamo come *ius fetiale* e al *ius gentium* romano non ha una natura tecnico-giuridica in senso moderno, bensì appunto politica¹⁵. Occorre, perciò, registrare questo contributo come volto soprattutto a illustrare i dettagli dell'uso libero dei detti elementi da parte di Machiavelli. Un uso che si discosta anche dagli intenti filo-aristocratici di Leonardo Bruni¹⁶; che, inoltre, come ha spiegato Gabriele Pedullà, tende a diversificarsi da alcuni precedenti tentativi di conciliazione tra la realtà comunale e l'antica Roma messi in atto da Francesco Patrizi da Siena; e che, infine, si nutre e al tempo stesso si differenzia dai rilievi dettagliati di storici antiquari come Biondo. Tutto ciò trova conferma nella scelta del *quondam* Segretario di enfatizzare soprattutto gli aspetti politici più radicali ritrovati in questa tradizione storiografica¹⁷, peraltro mediante un largo impiego del suo solito metodo di estrapolare e rimaneggiare le fonti nei propri testi, secondo le necessità del tempo presente.

Preme, tuttavia, rimarcare anche l'interesse di certe osservazioni machiavelliane rispetto alla storia della fondazione di un nuovo diritto di guerra, e come in particolare abbia nutrito

¹⁵ Queste modalità saranno più estesamente adottate da molti scrittori di poco successivi e ascrivibili al filone della cosiddetta *ragion di stato*, cf. *Vergerio C. Alberico Gentili's De iure belli: An Absolutist's Attempt to Reconcile the jus gentium and the Reason of State Tradition // Journal of the History of International Law*. Vol. 19. 2017. P. 1–41, a p. 37: “reason of state writers had little consideration for the role of the law of nations in regulating relations between states. Their language was not that of law, but that of political necessity, state interest, and, especially from the 1590s, balance of power”.

¹⁶ Su questo aspetto filo-aristocratico di Bruni, v. *Hankins J. Civic knighthood in the Early Renaissance: Leonardo Bruni's De militia* (ca. 1420). Working paper. Faculty of Arts and Sciences. Harvard University, 2011. URL: <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:5473602>

¹⁷ *Pedullà G. Machiavelli in tumulto...* P. 372, 381.

l'elaborazione giurisprudenziale di un giurista e storico-antiquario della seconda metà del secolo XVI come Alberico Gentili. Un diritto per il quale gli storici propongono notoriamente una datazione al 1494, con l'inizio delle cosiddette Guerre d'Italia¹⁸. Se Gentili, infatti, fondò la sua proposta sull'*interpretatio* del giurista, restando aderente alla tradizione dello studio del *Corpus*, l'operazione di allargare il problema delle relazioni internazionali anche alle 'leggi non scritte' e alle istituzioni antiche restava influenzato dalle osservazioni machiavelliane, anche al di là della tradizione romanistica¹⁹. Gentili perciò attinse largamente ai *Discorsi* nel redigere il terzo libro del *De iure belli*, sebbene

¹⁸ V. Kelly J. M. *Storia del pensiero giuridico occidentale*. Bologna, 1996. P. 254; Panizza D. *Machiavelli e Alberico Gentili // Il Pensiero Politico*. Anno II. № 3. 1969, e *Idem*. *Alberico Gentili's De armis Romanis: The Roman Model of the Just Empire // The Roman foundation of the Law of the Nations: Alberico Gentili and the Justice of Empire / Ed. by B. Kingsbury, B. Straumann*. Oxford, 2010. P. 53–84. Sul ruolo dei *Discorsi* in Gentili, cfr. anche un utile cenno fatto da Carta P. *Dalle guerre d'Italia del Guicciardini al diritto di guerra di Alberico Gentili // Laboratoire italien*. № 10. 2010. Può essere utile notare qui che, come ha efficacemente notato Vergerio C. *Alberico Gentili's De iure belli...* P. 16: "For Gentili, Roman law constituted the content of both the *jus gentium* (at the time, roughly interpreted as what we would call the 'positivist' law of nations, though in the twentieth century it has been equated with the specific law of individuals, e.g. human rights) and the *jus naturale* (natural law), making the *jus gentium* not only universal but also immutable".

¹⁹ Cfr. Vergerio C. *Alberico Gentili's De iure belli...* P. 40. Dalla discussione con l'amico Raffaello Ruggiero su questi temi, emerge la centralità di questi concetti per definire il caso di Machiavelli nel contesto della formulazione del diritto dei decenni successivi. In particolare, suggerisce Ruggiero, il concetto di *interpretatio iuris* è fondamentale perché l'*interpretatio* è creatrice di nuovo diritto. Il giurista, interpretando il diritto (vale a dire applicandolo a fattispecie concrete), in effetti crea nuovo diritto. È per questo che, all'origine di un sistema di diritto internazionale 'moderno', non poteva che porsi una riflessione sulle torsioni interpretative del diritto internazionale antico, cioè del *ius gentium*.

differenziandosi dal realismo politico del Segretario fiorentino²⁰.

Resta ovvio che agli occhi di un interprete (il *quondam* Segretario) per il quale non esisteva ancora un diritto internazionale codificato, la questione dei rapporti interstatali e tra i popoli si fondava su di una congerie di elementi che prescindono dalla moderna nozione normativistica di diritto. Come ha spiegato Paolo Carta, in una “concezione premoderna del diritto” era forte la “contaminazione fra diritto, politica e storia”; e da questa concezione del diritto “il pensiero filosofico e politico traeva il proprio lessico e l’armamentario concettuale”. Era insomma “un diritto ‘per principî’ e non già ‘per regole’ di epoca più tarda”²¹. L’elemento giuridico, insomma, tanto per i Romani quanto per Machiavelli non poteva prescindere da quello politico e storico e viceversa. Per questo motivo si deve ribadire che la questione non può essere osservata da una prospettiva che separi, oppure intenda percepire l’uso che il Segretario fiorentino fece di questi elementi ritrovati nella tradizione storiografica antica come appartenenti all’una o all’altra categoria di politico o di diritto. Le due cose andavano insieme.

In effetti, non si deve solo ribadire come per Machiavelli il diritto – e nella fattispecie la tradizione romanistica – costituisca una dimensione fondante della società, nella sua capacità di elaborare una costruzione normativa: quegli “ordini”, come ha spiegato Diego Quagliani, di cui “i latore di

²⁰ V. ancora *Panizza D.* Machiavelli e Alberico Gentili... P. 476–477, 479–480; cfr. inoltre *Sbriccoli M.* Presentazione degli Atti della seconda giornata gentiliana // Alberico Gentili: l’ordine internazionale in un mondo a più civiltà. Milano, 2004. P. 273 sgg. Infine, di nuovo *Carta P.* Dalle guerre d’Italia del Guicciardini... *Passim*.

²¹ *Carta P.* Francesco Guicciardini... P. 9. Cfr. anche *Quagliani D.* La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna. Roma; Bari, 2004. P. 115–116.

leggi”, attraverso la loro opera di codificazione hanno costituito il sostrato basilare²²; un antico e lungo lavoro di sistemazione che Machiavelli cita emblematicamente in apertura dei *Discorsi*, quale fondamento del proprio lavoro di interprete, e che rappresenta il punto di partenza di quello straordinario processo di adeguamento del diritto alle nuove necessità della politica che caratterizza i suoi testi²³. È necessario anche registrare l’importanza di quel metodo di analisi fondato sull’utilizzo costante dell’esempio storico, che il più maturo umanesimo giuridico farà suo²⁴ e che nell’opera machiavelliana rappresenta piuttosto materiale per la formulazione della regola politica.

L’intenzione di Machiavelli, in altre parole, non era affatto di svolgere una trattazione dettagliata e sistematica del *foedus*,

²² Cfr. *Quaglioni D.* La sovranità. Roma; Bari, 2004. P. 40 sgg. Alcuni spunti in merito anche in *Gadoffre G.* Guillaume Budé e la storia di Roma // Studi romani. Vol. XXXV. № 3/4. 1987. P. 263–276, alle p. 264–265.

²³ Cfr. *Quaglioni D.* La sovranità... P. 40 sgg.

²⁴ Cfr. *Ibid.* P. 43. Cfr. inoltre *Koskenniemi M.* International Law and raison d’état. Rethinking the Prehistory of International Law // The Roman Foundation of the Law of the Nations... P. 298–339. Alcuni accenni in questo senso anche in *Vivanti C.* “Iustitia et armi” nell’Italia di Machiavelli // Guerra e pace / A cura di W. Barberis. Torino, 2002 (“Storia d’Italia”, “Annali”. Vol. 18). P. 356, dove è ricordata l’evoluzione degli studi umanistico-giuridici in Francia, verso una maggiore interazione tra storia e studio del diritto. Per l’esempio importantissimo di Guillaume Budé, si vedano *Budé G.* De Asse et partibus eius / L’As et ses fractions (livres I–III) / Edizione critica di L.-A. Sanchi. Genève, 2018; e i molti eccellenti studi dello stesso curatore di quest’opera, tra cui: *Sanchi L.A.* Les “Commentaires de la langue grecque” de Guillaume Budé: l’œuvre, ses sources, sa préparation. Genève, 2006; *Idem.* Budé et Plutarque: des traductions de 1505 aux “Commentaires de la langue grecque”. Paris, 2008; *Sanchi L. A., La Garanderie M.-M. de.* Guillaume Budé, philosophe de la culture, Paris, 2010. Cfr. infine in generale *Garin E.* Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli XV e XVI // *Idem.* L’età nuova. Napoli, 1969. P. 235–260, alle p. 242, 249–250, 254.

dei trattati e in generale del diritto di guerra e dei popoli, come poteva fare e aveva forse fatto prima di lui uno storico antiquario come Biondo, il quale pure, peraltro, come già accennato, aveva sottolineato la stretta connessione tra la politica di alleanze e di concessione della cittadinanza di Roma, sebbene “non facendone una proposta politica per il presente”²⁵. Piuttosto, Machiavelli si interessò di interpretare storicamente questi elementi ritrovati nella tradizione storiografica tanto antica, quanto a lui più vicina, al fine di fondare una importante componente del suo pensiero politico su di una loro rielaborazione concettuale, attualizzandoli a partire proprio dall’analisi delle procedure di carattere giuridico e religioso-sacrale che accompagnavano il momento tanto dell’ampliamento territoriale, quanto della conquista (rispetto ai quali il diritto aveva comunque una funzione importante). La dottrina che ne scaturì sottolinea perciò l’utilità pratica di certi strumenti ritrovati nella tradizione di norme e consuetudini che regolarono la politica della guerra e delle paci romana rispetto alla necessità di costruire alleanze che assicurassero l’ampliamento territoriale. Strumenti che, al tempo stesso, garantissero ai vinti di evitare una completa distruzione (unica vera alternativa nel pensiero di Machiavelli) e permettessero al conquistatore, rinforzando il carattere inclusivo dello stato, quella assimilazione delle nuove “province” in grado di favorire la propria forza militare e politica: essendo in particolare quest’ultimo un elemento centrale della dottrina politica machiavelliana, nella quale, per la prima volta nella

²⁵ Pedullà G. Concedere la civiltà a' forestieri: Roma, Venezia e la crisi del modello municipale di res publica nei ‘Discorsi’ di Machiavelli // *Storica*. Anno IX. 2003. P. 163 (ora anche in *Idem*. Machiavelli in tumulto... P. 341–418).

storia del pensiero, politica interna ed esterna rappresentano aspetti interattivi e inseparabili²⁶.

Come è ovvio, insomma, non si tratta di attribuire alla pagina di Machiavelli un valore giuridico, né di enfatizzare eccessivamente la funzione del diritto di guerra dell'antica Roma nella sua opera, ma solo di mettere più chiaramente in connessione certi elementi del suo pensiero con alcuni aspetti specifici di una tradizione culturale che aveva messo in risalto l'utilità e la funzione di certe alleanze a carattere giuridico-religioso nella storia dell'espansione di Roma. In più, tuttavia, occorre precisare e sottolineare un punto di grande importanza su cui la critica machiavelliana non si è forse soffermata a sufficienza. Il Segretario fiorentino aveva inteso perfettamente quale fosse stata la funzione storica di certe qualità originarie delle consuetudini e dei rituali del diritto di guerra e dei popoli del tempo della Roma dei re e della Repubblica (o che lui, sulla scorta di Livio, riteneva tale). Caratteristiche insite nel loro aspetto pratico, basato sul senso comune, poi diluite, forse, dal positivismo e da certi formalismi di età moderna. Come hanno spiegato studiosi come John M. Kelly, in effetti, il *ius fetiale* come poi l'elaborazione del *ius gentium* su cui erano fondati i patti e le alleanze dei Romani, avevano permesso la lenta ma progressiva assimilazione politica di altre nazioni mediante l'estensione del diritto romano anche a popoli che originariamente non avevano la cittadinanza: probabilmente nel corso del III e II sec. a.c., quando il dominio di Roma sull'Italia fu completo, ma la cittadinanza non era appunto ancora estesa all'intera popolazione peninsulare²⁷. Tralasciando le questioni

²⁶ Cfr. Ardito A. Machiavelli and the Modern State. Cambridge, 2015. P. 132, 134 e *passim*.

²⁷ Kelly J. M. Storia del pensiero giuridico occidentale... P. 88. La centralità politica del tema della cittadinanza (soprattutto della cittadinanza agli italici), come vero motore della guerre civili e del collasso della Repubblica romana, è stato sottolineato da Canfora L. Giulio Cesare: il dittatore democratico.

meramente formali di ordine giuridico, ed anzi recuperando il carattere originario di questo elemento di carattere pratico connaturato ai primi istituti di diritto di guerra e di diritto internazionale elaborati al tempo della conquista della penisola italica da parte di Roma, il discorso svolto da Machiavelli permetteva dunque di superare l'acceso ed erudito, ma sterile dibattito storiografico di natura ideologica sulla cittadinanza praticato da alcuni contemporanei. Come Livio, dunque, a volte Machiavelli usò questi elementi in senso atecnico, ma sempre con il fine, stavolta solo suo, di edificare l'impalcatura di una costruzione politico-culturale utile alla formulazione di un modello di stato in cui la politica estera era un elemento inscindibile dagli ordinamenti interni e che lo stesso Segretario fiorentino riteneva come il migliore possibile.

Se l'obiettivo di Machiavelli era, da una parte, rimarcare la necessità di uno stato di includere popolazioni straniere all'interno del suo sistema sociale e politico, con qualsiasi mezzo giuridico-politico praticamente 'praticabile' (uso volutamente un gioco di parole), secondo un approccio anti-ideologico capace di adeguare le risposte al variare dei tempi e delle situazioni mutuato dalla sua esperienza cancelleresca²⁸, dall'altra c'era, però, anche il simultaneo tentativo di ricondurre il caso fiorentino contemporaneo a vicende (quelle della Roma delle origini) che avrebbero dovuto esemplificare in parte – almeno dal punto di vista dell'autore – le modalità

Roma; Bari, 1999. P. 48–49 e n. 21, e *passim*, per il Cesare 'mariano' che cerca una soluzione politica al delicato tema della cittadinanza. E in relazione al caso di Machiavelli, è stata discussa da *Ruggiero R.* I soggetti politici in Machiavelli: il popolo, i grandi e il principe civile // *La Cultura*. Vol. LVI. 2018. P. 225–247 (v. soprattutto p. 225–235).

²⁸ Per questi elementi, v. *Guidi A.* Esperienza' e 'qualità dei tempi' nel linguaggio cancelleresco e in Machiavelli (con un'appendice di dispacci inediti di vari cancellieri e tre Scritti di governo del Segretario fiorentino) // *Laboratoire italien*. № 9. 2009. P. 223–272.

dell'evoluzione della struttura geo-politica della Toscana del suo tempo: le quali, come ha spiegato Mikael Hörnqvist, secondo la teoria di *Discorsi* II 4, per essere efficaci avrebbero dovuto lentamente ma inesorabilmente rifarsi appunto al caso romano delle origini (non a quello di fase imperiale), ovvero al metodo del “farsi compagni” e del tenere al contempo per sé “la sedia dello imperio”²⁹.

Come è stato scritto da vari studiosi, infatti, è utile e necessario mettere bene in evidenza le connessioni che la rilettura di questa tradizione ha nei testi machiavelliani con la condizione politica contemporanea di Firenze. Questo quadro, in particolare, va visto in relazione con le proposte di riforma avanzate da Machiavelli per dare una soluzione alle ribellioni delle città soggette all'autorità di Firenze (Pisa e Arezzo, centri urbani ai cui abitanti non era appunto concessa la cittadinanza fiorentina), oltre che con gli accenni fatti negli stessi *Discorsi* alla politica di espansione fiorentina in Toscana. E ciò, mi permetto di aggiungere, va fatto in parallelo all'analisi della tradizione statutaria che regolava i rapporti della città con il suo territorio. Come ho già scritto altrove, si può supporre che la proposta di Machiavelli potesse indicare una possibile soluzione nella questione della revisione degli Statuti locali e dei trattati concessi da Firenze alle comunità soggette al suo controllo³⁰. Lo indica la chiara ed esplicita menzione di quei “capitoli” (gli Statuti) in un passo del *Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati* mediante i quali si potevano ‘riguadagnare’ con benefici: “Cortona, Castiglione, Il Borgo,

²⁹ Hörnqvist M. *Machiavelli and Empire*. Cambridge, 2000. P. 122–128, il quale, tuttavia, come quasi tutti i commentatori, non si sofferma sulla tradizione relativa alla stipula dei patti di alleanze e di sottomissione tra Roma e le nazioni latine ed italiche.

³⁰ Guidi A. *Guerra, milizia e amministrazione: fonti antiche e prassi di governo fiorentina in Machiavelli // L'Illuminista*. Vol. 49–50–51. 2017. P. 185–217.

Foiano”, sulla scorta di quanto fatto dai Romani con i “Lanuvini, Aricini, Nomentani, Tusculani e Pedani, de' quali [appunto] nacque da' Romani un simile giudizio”³¹. Uno scritto minore, databile al 1502, nel quale notoriamente la questione trattata successivamente in *Discorsi* II 23 era anticipata e riferita in modo puntuale e specifico al caso della Valdichiana³². Si tratta di un punto che resta ancora da indagare ulteriormente ed è questo forse il principale tra quelli che la mia ricerca vuole sottolineare e indagare. Solo mediante questi “capitoli”, in effetti, si sarebbe potuta mettere in atto quella ‘frode’ – si deve aggiungere rispetto a quanto scritto in proposito da Hörnqvist – che la Repubblica romana aveva perpetrato nei confronti degli alleati latini e italici, facendo loro credere di entrare in una alleanza paritaria, attraverso quell’abile utilizzo di strumenti attinenti a quelle antiche consuetudini religiose e giuridiche proprie del *ius fetiale* e del *ius gentium*. È evidente infatti la necessità di tenere in conto le pratiche di negoziazione dei Capitoli all’interno del contesto territoriale fiorentino, al fine di intendere il nodo delle proposte del *quondam* Segretario in materia di Repubblica ed espansione territoriale. Pratiche da lui conosciute e spesso sperimentate in

³¹ *Machiavelli N.* Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati (§ 11) // *Idem.* L’arte della guerra. Scritti politici minori (“Edizione Nazionale delle Opere”. Vol. III) / A cura di J.-J. Marchand, G. Masi, D. Fachard. Roma, 2001. P. 461.

³² Cfr. *Marchand J.-J.* Niccolò Machiavelli, i primi scritti politici (1499–1512), nascita di un pensiero e di uno stile. Padova, 1975. P. 111; e *Guidi A.* Machiavelli fra tradizione e innovazione // “Pigliare la golpe e il liono”. Studi rinascimentali in onore di Jean-Jacques Marchand / A cura di A. Roncaccia. Roma, 2008. P. 83–102, specialmente le p. 88 e 93–94. Sulle vicende della ribellione di Arezzo e della Valdichiana, v. la retrospettiva inedita offerta dalla recente pubblicazione dei dispacci di quel tempo in Luca d’Antonio degli Albizzi, Francesco Soderini Legazione alla corte di Francia, 31 agosto 1501–10 luglio 1502 / A cura di E. Cutinelli-Rendina, D. Fachard. Roma, 2015.

prima persona durante il suo servizio di cancelleria, come dimostra non solo la citazione del tema nel rapporto sulla Valdichiana, ma anche la costante presenza di riferimenti a tali processi di negoziazione nei suoi Scritti di governo³³. Proprio

³³ Una rassegna delle modalità con le quali venivano trattati affari connessi agli Statuti di governo locale dei territori fiorentini nei documenti di cancelleria autografi di Machiavelli è in *Guidi A. Un Segretario militante. Politica, diplomazia e armi nel Cancelliere Machiavelli*. Bologna, 2009. P. 269–271, 306–307, 358–359. È utile confrontarsi con *Connell W. J. Machiavelli on Growth as an End...* P. 267–268, il quale ha correttamente sottolineato l’aspetto pragmatico insito nel pensiero di Machiavelli su tali temi, specialmente rispetto alla evidente intenzione da lui manifestata di riformare l’assetto che aveva regolato i rapporti di Firenze con le comunità soggette. D’altronde, rispetto alla tesi generale di Connell in questo saggio (cioè che il fine della Repubblica ideale per Machiavelli non è la formazione di uno stato territoriale, bensì la riforma dei rapporti tra centro e comunità soggette nel senso della concessione a queste ultime di una maggiore autonomia), occorre precisare che il fatto che Machiavelli mischiasse temi e strumenti derivati dalla storia dell’evoluzione dell’antico diritto delle genti per creare una repubblica inclusiva, ma fondata sulla centralità di una città dominante, non è interamente in contraddizione con il quadro statutale fiorentino, il quale, come rileva lo stesso Connell in altri suoi studi, era “deprived of a unitary constitution”, proprio perché nato nel contesto dei processi negoziazione dei vari Capitoli/Statuti locali (*Connell W. J. Introduzione / Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power / Ed. by W. J. Connel, A. Zorzi. Cambridge, 2000. P. 22*). *Tanzini L. Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*. Firenze, 2007. P. 35–37, ha spiegato come il processo di approvazione degli Statuti delle comunità locali fosse fondato su di un periodico rinnovo. Pur nel crescente peso politico dato al potere centrale, tali Statuti appaiono come il risultato di un dialogo tra il ceto dirigente fiorentino e le medesime comunità, che, a partire dalla metà del Quattrocento, più che a sottolineare l’autonomia delle singole realtà del dominio, era tuttavia teso in misura crescente a favorire il processo di integrazione delle élites locali nello stato, da queste ultime ritenuto ormai un luogo di preminenza sociale (p. 199–200). Come ha ben intuito Connell e come io sostengo ora con i nuovi argomenti portati in questo saggio, dunque, è su questo tipo di

sul rinnovo di questi patti si fondavano termini e condizioni, nonché il ruolo, le concessioni e le autonomie locali delle comunità suddite della città: secondo un processo che, tuttavia, non metteva mai in discussione il predominio di Firenze³⁴. Ecco ancora una volta, perciò, la necessità per lo stesso *quondam* Segretario di porre al centro della sua analisi nei capitoli dei *Discorsi* su cui si è soffermati, l'aspetto della storia romana che richiamava maggiormente il postulato della *maiestas* di Firenze³⁵.

Da un altro punto di vista, la ricostruzione in chiave storico-politica di norme e usi che regolarono l'espansione territoriale romana delle origini rappresenta emblematicamente il tentativo di Machiavelli di risolvere quelle contraddizioni in cui, a detta di molti studiosi, spesso egli stesso cade nei *Discorsi* quando si passa dal caso di Roma a quello di Firenze rispetto al tema della concessione della cittadinanza a sudditi e alleati di città e province toscane anticamente libere e ora sotto il controllo della Repubblica: un tentativo che pare fondato sulla elaborazione di un processo di inclusione nel quale non si escludevano appunto soluzioni pragmatiche intermedie rispetto all'obiettivo teorico esemplato sul modello romano *de iure* della concessione della

processo di negoziazione che Machiavelli intendeva intervenire con un programma riformatore.

³⁴ V. ancora *Guidi A.* Guerra, milizia e amministrazione... P. 213–214.

³⁵ Già *Fasano Guarini E.* Machiavelli and the Crisis of the Italian Republics // Machiavelli and Republicanism / Ed. by G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli. Cambridge, 1990. P. 17–40, a p. 39, aveva giustamente messo in luce come l'interpretazione machiavelliana in questo passo sia da riconnettere alla tradizionale politica comunale nei confronti delle comunità soggette. A questa analisi, tuttavia, a mio parere sfugge il valore polifunzionale della discussione sulla cittadinanza svolta da Machiavelli: valore messo in luce dalle questioni da me evidenziate nel testo, che rivelano una ben altra complessità del pensiero del Segretario fiorentino rispetto alla questione del rapporto tra sudditi e centro dominante, nonché tra città e nuove province, così come scaturito dalla tradizione comunale.

cittadinanza vera e propria, fondate su concessioni di benefici, premi e concessioni quale passo concreto verso una assimilazione *de facto* più efficace e reale nelle strutture socio-politiche dello stato. Soluzioni che non possono essere ritenute completamente estranee a quello schema di pensiero pratico già sviluppato da Machiavelli rispetto al caso dei contadini toscani (sudditi di Firenze) reclutati nella milizia fiorentina del 1506, quando Niccolò ancora possedeva il suo posto in Cancelleria³⁶, pur se nei *Discorsi* differiscono nella loro formulazione teorica. Ecco perché è importante tenere tale elemento in considerazione. Quando si tratta di affrontare questo tema specifico, peraltro non si deve dimenticare che le procedure attraverso cui il *ius gentium* rispondeva a concreti problemi sociopolitici determinati dall'accrescersi del dominio territoriale romano ben si adattavano ad una realtà nella quale la appartenenza cittadina si caratterizzava di una congerie di istituti giuridici nutriti anche di diritto consuetudinario comunale, declinabile in varie sfumature di cittadinanza, e in particolare quella *attiva* (cioè con diritto di voto e partecipazione nei consigli cittadini) e quella *passiva* (senza il diritto di voto e di sedere nei consigli). Una realtà geo-politica in cui esisteva appunto una diversificazione dei rapporti dei territori toscani con la capitale Firenze, rispetto ai livelli di autonomia di governo locale che la assegnazione di Capitoli e Statuti locali aveva generato nel corso dei secoli. Anche per il carattere originario del *ius gentium* cui ho fatto riferimento poc'anzi, il Livio dei "tria genera foederum" rappresentava un modello capace di consentire 'a senso' una applicazione concreta al caso fiorentino dei modelli di conquista e/o aggregazione di territori originariamente liberi, come è stato

³⁶ Guidi A. Un Segretario militante... P. 23–24, 327–337, 383–386.

vagamente suggerito da Luca Mannori³⁷. Agli occhi di Machiavelli, infatti, il punto centrale era quello di pragmaticamente trovare un modello di appartenenza e partecipazione alla compagine statale o federativa (non solo la cittadinanza dunque, almeno non quella intesa nel senso in cui la concepiamo univocamente oggi secondo il diritto moderno), senza escludere perfino quelle modalità di applicazione ‘fraudolente’ da lui stesso discusse nei *Discorsi*. Modalità che lasciassero immaginare, insomma, una partecipazione degli alleati su base paritaria e che, tuttavia, inclinassero verso una subordinazione politica reale rispetto a chi teneva la “sedia dello imperio” (ovvero, con Cicerone, la “maiestas” che spettava al popolo romano), e che perciò, rispetto in particolare al caso specifico suggerito per il caso fiorentino, puntassero solo in linea teorica, e nel lungo periodo, a una completa assimilazione giuridica e integrazione degli abitanti dei territori acquisiti e/o federati mediante la concessione della cittadinanza vera e propria (per l’appunto *de iure*) a quelle province che si erano dimostrate fedeli, partendo invece piuttosto da concessioni e benefici di vario genere legati alla stipula e alla rinegoziazione dei *foedera*/Capitoli come primo passo pragmatico.

Recenti ricerche, d’altra parte, hanno formulato l’ipotesi che la cultura giuridica del padre di Niccolò, messer Bernardo, potesse lasciare più di una traccia nella formazione del figlio: non solo o non unicamente per la presenza di certi libri di diritto nella biblioteca lasciatagli in eredità³⁸. Simili tesi sono

³⁷ *Mannori L.* Il “piccolo stato” nel “grande stato”. Archetipi classici e processi di territorializzazione nell’Italia tardo-medievale e proto-moderna // Polis e piccolo stato tra riflessione antica e pensiero moderno / A cura di E. Gabba e A. Schiavone. Como, 1999. P. 48–66 (ma v. soprattutto p. 66).

³⁸ Si veda la centralità data all’ipotesi dell’influenza del canonista Giovanni D’Andrea sul metodo di Machiavelli nelle recenti ricerche di *Ginzburg C.*

emerse riguardo al ruolo delle fonti giuridiche concernenti il prototipo assolutistico della sovranità³⁹. La questione dell'influenza di componenti e del lessico tipico della cultura giuridica è da intendere come un elemento che intervenne nel processo di redazione delle opere di Machiavelli in modo spesso inaspettato, e certamente eterodosso rispetto alle modalità tecniche che, ad esempio, ci si aspetta invece da un giurista come il già menzionato Francesco Guicciardini. Da un altro punto di vista, sembra evidente come nella regolamentazione dei rapporti interstatali e tra popoli diversi, in un tempo in cui essi non erano ancora stabiliti in modo sistematico e universalmente riconosciuto (fatta eccezione per il campo specifico delle relazioni diplomatiche), Machiavelli interpretò liberamente la storia della sistemazione istituzionale e giuridica delle conquiste, delle alleanze e delle paci di Roma alla luce di temi e problemi degli stati dell'Italia del tempo (e soprattutto di Firenze) e al fine di fondare un modello di federazione su di una sorta di commistione di storia, politica e diritto. Una miscela in cui quest'ultimo elemento è sempre inteso, tuttavia, nei suoi aspetti consuetudinari e pratici, più che su una codificazione tecnica: in un'ottica, perciò, intesa a superare pragmaticamente i requisiti di carattere formale che la stessa Repubblica fiorentina, nella fattispecie, applicava al caso di tali patti⁴⁰.

Machiavelli, l'eccezione e la regola // *Idem*. Nondimanco. Machiavelli, Pascal. Milano, 2018. P. 19–42.

³⁹ V. *Ruggiero R.* Machiavelli e la crisi dell'analogia. Bologna, 2015, in particolare il capitolo "Nuovi paradigmi formali: dal diritto dei privati alle strutture dello stato".

⁴⁰ Ci si deve confrontare, in un senso più ampio su questi temi in generale, con il lavoro di *Bottini G.* Costumi e consuetudine in Machiavelli. Philosophy. Université de Lyon, 2017. <NNT: 2017LYSEN077> (URL: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01968049>. accesso online gennaio 2019). Per un esempio specifico, v. *Ibid.* P. 111–112, 250–254.

Al termine delle ricerche in corso avrò modo di tornare su tutto ciò con maggiore ampiezza di argomenti e con una più vasta analisi delle fonti. Qui ho proposto solo una anticipazione sintetica dei primi risultati e alcune delle linee interpretative finora emerse. Per il momento, e per concludere questo contributo, va rilevato come, tuttavia, anche solo questi primi accenni a mio parere ben spieghino come Machiavelli fosse giunto alla formulazione di tesi e obiettivi innovativi partendo da una lunga storia di letture e riletture e sugli usi e riusi storici di una certa consuetudine giuridica romana: prima da parte di quella stessa tradizione storiografica latina che si fece interprete di quell'antica pratica dei rituali di guerra e alleanza, e poi da parte di una tradizione tardo-medievale e umanistica, inclusa, per quest'ultimo caso, quella sua componente legata alla codifica degli Statuti e Capitoli fiorentini. Alla fine di questo percorso, Machiavelli operò una sorta di riscrittura storiografica libera di elementi raccontati e già appunto riletti da altri scrittori dell'antica prassi giuridica/religiosa della Roma dei re e della Repubblica, e insieme rielaborò altrettanto liberamente una tradizione di diritto legata alla costruzione dell'apparato statale fiorentino. Una storia di scritture e riscritture storiografiche, nonché di estrapolazione e rimaneggiamento di elementi giuridico-politici, che dimostra come per fini politici o culturali, proprio quella antica tradizione storiografica fosse alternativamente vista, trasformata o riutilizzata dagli storici – finché Machiavelli non portò questo processo ad uno stadio ulteriore, scorporando e rimontando i pezzi di questo mosaico, come lui usava fare, per dimostrare le sue tesi politiche.

**МАКИАВЕЛЛИ – ПОЛИТИК, ПОЭТ,
КОМЕДИОГРАФ И ПАТРИОТ**

IV

**MACHIAVELLI – POETA, POLITICO,
COMEDIOGRAFO E PATRIOTA**

Enrico Fenzi
Università di Genova

PRIMA DI MACHIAVELLI. DANTE, PETRARCA E L'ITALIANITÀ DELL'ITALIA

Voi mi parlate di questa Italia e io non la vidi mai in viso
Ludovico il Moro a Francesco Foscari

Non essendo adunque stata la chiesa potente da potere occupare la Italia, né avendo permesso che un altro la occupi, è stata cagione che la non è potuta venire sotto un capo ; ma è stata sotto più principi e signori, da' quali è nata tanta disunione e tanta debolezza che la si è condotta a essere stata preda non solamente de' barbari potenti, ma di qualunque l'assalta. Di che noi altri Italiani abbiamo obbligo con la chiesa e non con altri

Machiavelli, *Discorsi* I 12

Desideriamo dunque, o popoli d'Italia, di vedere il vostro estermio presente, le vostre patrie saccheggiate, arsi i campi, abbattute le chiese, svergognate le donne, scherniti i religiosi, uccisi gli uomini di valore, imbrodolati di sangue e di stupri gli altari, e ogni casa piena di sangue e di confusione perché abbiano a godere i nostri nipoti, sotto un Principe Dio sa quale, la mal costante e peggio impiastrata insieme unione d'Italia? <...> Tolga Iddio che in petto d'uomo italiano, sotto colore d'immaginato bene, abbia per l'avvenire a cader giammai così fatto pensiero!

Scipione Ammirato, *Opuscoli*, Firenze 1637, II 3 ss.

Come è stato più volte osservato, Dante ha ben chiara la posizione geografica dell'Italia, il “bel paese là dove ‘l si suona” (*Commedia*, *Inferno* [in seguito – Inf.] 33, 80)

costituito dalla regione prevalentemente peninsulare limitata dalle Alpi a Nord e dai mari Tirreno e Adriatico a Ovest e a Est, e percorsa nel senso della lunghezza dalla catena degli Appennini (*De vulgari eloquentia* [in seguito – Dve] I 8, 8–9). Tale regione è inoltre caratterizzata da una speciale forma di unità linguistica che in gran parte è compito degli scrittori, e in particolare dei poeti, sviluppare e consolidare in direzione di un volgare illustre sopraregionale. A tale unità geografica e linguistica non corrisponde però una struttura politica unificata e governata da un potere centrale: uno ‘stato’ italiano semplicemente non esiste né Dante arriva a contemplarne la possibilità, sì che per lui l’orizzonte entro il quale gli sparsi frammenti dell’Italia politica possono sperare di ricomporsi è costituito da un rinnovato, utopico impero universale, esemplato sul modello dell’Impero romano.

Detto ciò, è anche chiaro che l’idea’ dell’Italia¹ è qualcosa di assai più ingombrante, al punto che sembra che ogni discorso al riguardo sia dominato da una forte schizofrenia, che almeno a un primo approccio oppone le misure alquanto modeste dell’Italia reale a una sua trascendente e ipertrofica immagine fondata sul mito dell’impero di Roma e coltivata soprattutto dagli Italiani medesimi, (si può accennare che proprio su questa presuntuosa schizofrenia punteranno, specie a partire dal ‘500, tutti gli stranieri, specie francesi e spagnoli, che ne vorranno ridurre l’importanza storica e

¹ V. per la complessa e talvolta sfuggente nozione di ‘Italia’ sotto l’aspetto geografico, sociologico e politico: *Grimaldi M.* L’identità italiana nella poesia dei trovatori // L’espressione dell’identità nella lirica romanza medievale / A cura di F. Saviotti e G. Mascherpa. Pavia, 2016. P. 81–100. Ma pure *Le Goff J.* L’Italia fuori d’Italia. L’Italia nello specchio del Medioevo // Storia d’Italia. Torino, 1974. Vol. 2; Dalla caduta dell’Impero romano al secolo XVIII. T. 2. P. 1933–2248, e il volume di *Bruni F.* Italia. Vita e avventure di un’idea. Bologna, 2010, in particolare, per il periodo che qui interessa, i cap. I–IV, p. 11–145.

culturale). Per Dante è appunto così. Da una parte, concreta non è un'inesistente Italia politica, ma le sue singole parti, cioè le città in continua feroce lotta tra loro e al loro stesso interno, come l' 'infernale' Firenze; dall'altra, il suo grande passato la destina ad essere parte eletta, sì, ma pur sempre parte di un Impero che la comprenda, il "giardin de lo 'mperio". Così Dante la definisce nel canto VI del *Purgatorio*, là dove è la famosa invettiva: "Ahi serva Italia, di dolore ostello...", che suona come una durissima, definitiva condanna di un paese travolto dalla forza disgregatrice delle sue stesse rissose autonomie, non ricondotte all'ordine da un 'nocchiero' superiore ed esterno, e insomma da un Cesare tedesco capace di riportarla sulla giusta via con i suoi 'sproni'. Ora, per capire tutto questo è bene allargare un poco il discorso al percorso politico di Dante, diviso piuttosto nettamente in due grandi fasi.

La prima fase precede l'esilio, e vede la partecipazione del poeta agli organi di governo del Comune: è sostanzialmente priva di pronunciamenti teorici, se si eccettuano le canzoni dedicate alla definizione della nobiltà e della leggiadria, rispettivamente *Le dolci rime* e *Poscia ch'Amor*, ma può essere descritta, seppur con alcuni caratteri suoi propri, come guelfa. La seconda, immediatamente successiva all'esilio (possiamo farla muovere dal famoso elogio di Federico II e di Manfredi che è in *Dve* I 12), è di segno contrario e cioè esplicitamente ghibellina. In essa la scarsità di coinvolgimenti operativi è supercompensata dal continuo atteggiamento giudicante e riflessivo della *Commedia*, culminante nella speculazione teorica della *Monarchia*, che ostentatamente si stacca dalla cronaca e mira ai pochi e alti principi di una visione politica che abbraccia l'umanità intera. La premessa del percorso che in un breve giro d'anni porta Dante a trasformare nel profondo la propria visione sta in quelle due canzoni sopra nominate, collocabili con qualche elasticità alla metà degli anni '90 del

200. Occorre dire che *Le dolci rime e Poscia ch'amor* sono state lette troppo spesso in maniera disgiunta, ognuna per conto proprio, forse perché la seconda non è riuscita a essere commentata nel trattato, come era previsto. Eppure esse sono intimamente implicate una nell'altra, e se la prima intende definire filosoficamente cosa sia la nobiltà, la seconda minuziosamente specifica quali siano i comportamenti dell'uomo nobile. L'impalcatura raziocinante e sillogistica dell'argomentazione mostra un solido patrimonio di letture, a cominciare, ma non solo, dall'*Etica* di Aristotele. Ma ciò che colpisce non è tanto l'esibizione e la sfida culturale pur così evidente, quanto la intenzione politica che guida il discorso. L'argomento stesso, innanzi tutto. La *quaestio nobilitatis* si poneva, allora, all'incrocio delle tensioni sociali tra popolo e magnati che laceravano il Comune in cui la vecchia *militia* di tradizione militare si scontrava con la nuova, censitaria e comunale, e intratteneva un complesso rapporto con l'altrettanto nuova categoria dei *magnates*, mentre la durezza medesima degli ordinamenti popolari imponeva una continua ridefinizione e rilegittimazione dell'*ethos* nobiliare quale privilegiato deposito di valori in cerca di trasformazione e salvezza. Questo, almeno, è il programma di Dante, che solo con pesante banalizzazione può essere appiattito sulla pura e semplice rivendicazione della 'virtù' come essenza della nobiltà, con relativa condanna di quella di sangue e, peggio, del denaro. Che ci sia *anche* questo è fuori di dubbio, ma di là dal fatto che Dante negli anni sempre più renderà omaggio alla nobiltà di sangue, il punto forse centrale sta nel fatto che l'intero suo discorso mira a liberare l'intero repertorio dei "reggimenti belli" dalla cappa anacronistica degli antichi condizionamenti feudali, e a restituirlo alla viva dialettica della società presente e alla sua effettuale e però spesso distorta domanda di 'nobiltà'. Era, il suo, un progetto intelligente e ambizioso che approdava alla formazione di una vera e propria

piattaforma culturale e politica che avrebbe dovuto porsi come l'orizzonte massimo e unificante dei comportamenti socialmente virtuosi della comunità. In questo senso, quelle canzoni erano il modo migliore di porsi come l'erede di Brunetto, e la più nobile dichiarazione di intenti che potesse accompagnare il suo ingresso in politica e marcarne il carattere. Ma era anche, nella realtà terribile di quegli anni, una utopia perfettamente consapevole d'essere tale. Dante per primo denuncia la cosa nel corpo stesso delle canzoni, là dove riconosce di non sapere a chi mai egli stia parlando: "tratterò il ver di lei [*la leggiadria*] ma non so cui" (*Poscia ch'Amor* 69), e alla fine, nell'ultimo lapidario verso della settima stanza che chiude la canzone priva del congedo perché non c'è a chi indirizzarla: "Color che vivon fanno tutti contra". Se dunque la canzone trattiene l'eco del magistero brunettiano, essa però con quelle dichiarazioni pessimistiche distrugge la base stessa, guelfa e repubblicana, alla quale faceva riferimento l'ideologia di Brunetto, che per parte sua le avrebbe trovate contraddittorie e inconcepibili. Il punto non è da poco perché il fatto che il Dante 'comunale' del 1295 non riesca a ravvisare nei concittadini la naturale controparte del suo discorso etico-comportamentale (ma anche più tardi, nelle parole di Ciacco, *Inf.* VI 73, in Firenze "Giusti son due, e non vi sono intesi") importa una fuoruscita dal solco rigorosamente guelfo del maestro, e l'affacciarsi su una situazione di personale isolamento che sembra preannunciare quello stesso senso di solitudine che più o meno dieci anni dopo lo deciderà a *fare parte per se stesso*. In tal senso, il distacco di Dante dalla propria 'parte' è anche la presa di distanza, o meglio il rigetto, di un'intera esperienza della quale poco o nulla restava da salvare, e la ricerca, per contro, di un principio di razionalità, prima ancora che di una particolare soluzione politica, al quale ancorare l'ipotesi di un possibile modello valido *erga omnes*. Secondo una logica fermamente guidata dal principio della

reductio ad unum che ha forti momenti di affinità con il discorso intorno al volgare illustre ed è innervata nel vero e proprio sfondamento prospettico provocato dall'esilio, si fa strada in Dante la percezione del fallimento irreversibile di quel Comune e insieme di quel progetto di educazione 'comunale' di stampo brunettiano che al proprio interno non offriva punti di resistenza per potersi auto-riformare. Il grido forte e spontaneo d'ammirazione per Federico II e Manfredi esprime appunto la tensione verso un orizzonte capace di integrare e superare la cieca empiria del municipalismo guelfo, troppo debole e frantumato in mille conflitti e interessi particolari per produrre da sé proiezioni politiche di grado superiore. E immediatamente dopo questa che potrebbe essere definita come una sorta di integrazione trascendente, prende infatti campo la riflessione affatto nuova su Roma e sull'impero, affidata alla famosa 'digressione' del l. IV del *Convivio* [in seguito – Conv.], per tanti versi altrettanto inattesa e stupefacente quanto quelle parole dell'appena precedente *De vulgari eloquentia* alla quale strettissimamente si riallaccia sia per la parte positiva che per la negativa. Sembra quasi che quelle lodi di Federico II e di Manfredi abbiano avuto valore dirompente, esplosivo, e d'un colpo abbiano per dire così fatto saltare la diga che tratteneva il discorso e il pensiero stesso di Dante. Subito dopo quella che abbiamo definito come la prima esplicita e articolata dichiarazione di fede politica, ecco ora, a ruota, dichiarazioni come queste (ma è ovvio che i testi dovrebbero essere letti per intero): "Lo fondamento radicale della imperiale maiestade, secondo lo vero, è la necessità della umana civiltade che a uno fine è ordinata, cioè a vita felice", e per raggiungere questa possibile umana felicità, impedita da guerre e discordie continue tra città e regni "conviene di necessitade tutta la terra, e quanto all'umana generazione a possedere è dato, essere Monarchia, cioè uno solo principato, e uno prencipe avere; lo quale, tutto possedendo e più desiderare non possendo, li regi

tegna contenti nelli termini delli regni, sì che pace intra loro sia” (*Conv.* IV 4, 1–4). La natura universale del vincolo (*religio*) che lega ogni singolo membro della specie umana a tutti gli altri esige di per sé un “nocchiero, che <...> alli diversi e necessari officî ordinare abbia del tutto universale e inrepugnabile officio di comandare. E questo officio per eccellenza imperio è chiamato, senza nulla addizione, però che esso è di tutti gli altri comandamenti comandamento. E così chi a questo officio è posto è chiamato Imperadore, però che di tutti li comandatori elli è comandante, e quello che elli dice a tutti è legge, e per tutti dee essere obedito, e ogni altro comandamento da quello di costui prendere vigore e autoritade. E così si manifesta la imperiale maiestade e autoritade essere altissima nell’umana compagnia” (*ivi* 4, 6–7).

Il salto è netto e irreversibile. Questo non è più il Dante dei Consigli fiorentini, o il Dante priore. Il punto dal quale egli osserva e giudica si è di colpo fatto altissimo, e apre spazi impensati, percorsi in un sol balzo. In quei capitoli del *Convivio* il discorso sull’Impero richiama immediatamente Roma, e con Roma il disegno provvidenziale che ha presieduto alle sue conquiste, come saranno efficacemente descritte nel cosiddetto ‘volo dell’aquila’, nel canto VI del *Paradiso*. Innanzi tutto, per Dante prima di quello di Roma non ci sarebbe stato nessun Impero che avesse avuto come scopo il bene universale: da questo punto di vista, l’Impero ha rappresentato un elemento decisivo di discontinuità con il passato, e proprio in quanto tale deve essere necessariamente ricondotto all’intervento della volontà divina che ha investito Roma della sua missione. L’uso della forza, innegabile, è stato semplicemente uno strumento nelle mani della provvidenza, che ha anche voluto predisporre il mondo nella sua condizione migliore per la venuta di Cristo: “E però che nella sua venuta lo mondo, non solamente lo cielo ma la terra, convenia essere in ottima disposizione; e la ottima

disposizione della terra sia quando ella è monarchia <...> ordinato fu per lo divino provvedimento quello popolo e quella cittade che ciò dovea compiere, cioè la gloriosa Roma” (*Conv.* IV 5, 4). Nello stesso tempo, tale natura provvidenziale del *nascimento* e del *processo* di Roma non ha violentato o distorto la storia umana, ma in maniera affatto straordinaria ne ha realizzato i fini assecondandone la intrinseca razionalità, onde Dante può scrivere: “da maravigliare è forte quando la essecuzione dello eterno consiglio tanto manifesto procede che la nostra ragione la discerne” (*ivi* IV 5, 2). Dante afferma dunque come il disegno divino sia percepibile e dunque partecipabile dalle forze dell’intelletto umano che ne scoprono, si vorrebbe dire, la sostanza e la necessità propriamente storica, sì che tale intima compenetrazione tra il piano della trascendenza e il piano dell’esperienza umana e terrena è appunto ciò che caratterizza l’Impero come *unicum*, e lo costituisce come un ‘modello per sempre’ (si veda *Epistolae* V 3 per ciò che anche gli antichi avevano compreso, e nella *Commedia* le ripetute invocazioni alla testimonianza di Virgilio sulla necessità e l’eternità dell’Impero). Al proposito, si ricordi seppur brevemente che per un giurista come Accursio, seguito da altri, solo l’Impero può chiamarsi in senso proprio *respublica*, mentre le singole città sono assimilabili a entità ‘private’: “caeterarum vero civitatum abusive dicuntur respublicae, et loco privatorum habentur”². Ecco dunque *Monarchia* [in seguito – Mon.] I 14, 7–8: “il genere umano, secondo le norme che gli sono comuni ed appartengono a tutti i popoli, sia da lui [l’unico supremo monarca] retto e governato verso la pace con una regola comune. La quale regola o legge i principi particolari devono ricevere da lui,

² Calasso F. Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale. Milano, 1949. P. 239, 527.

*proprio come l'intelletto pratico in vista della conclusione operativa riceve la premessa maggiore dall'intelletto speculativo, assume sotto di essa la particolare, che è propriamente la sua, e conclude operando particolarmente. E ciò non solo è possibile a uno solo, ma è necessario che proceda da uno solo, affinché sia tolta di mezzo ogni confusione intorno ai principi universali”*³. L'Impero, insomma, è l' 'intelletto' del genere umano, e in quanto tale sovrintende a tutte le operazioni della vita sociale e dei suoi fini terreni. A questo punto è chiaro che ogni pretesa papale di subordinare a sé il potere dell'imperatore è respinta in radice. Non è il caso di tornare in questa sede su un argomento ben conosciuto, e basterà ricordare come nel libro terzo della *Monarchia* Dante si pronunci contro la validità della 'donazione di Costantino', alla cui autenticità pur credeva. Dante insiste specialmente sulla nullità giuridica del documento, dal momento che né Costantino poteva donare ciò che suo non era, né sfruttare il suo ufficio per fare qualcosa che fosse contrario a quanto l'ufficio medesimo gli imponeva (*Mon.* III 10, 5), finendo per dividere e distruggere l'Impero che aveva il dovere istituzionale di difendere e conservare. Per parte sua la Chiesa non poteva accettare un dono che contraddiceva alla sua natura, violava l'espressa proibizione di possedere oro e argento, e la degradava: “*Costantino non poteva alienare la potestà dell'Impero, né la Chiesa poteva riceverla <...> Ma sarebbe contrario al*

³ *Mon.* I 14, 7–8: “humanum genus secundum sua comunia que omnibus competunt, ab eo regatur et comuni regula gubernetur ad pacem. Quam quidem regulam sive legem particulares principes ab eo recipere debent, tanquam intellectus practicus ad conclusionem operativam recipit maiorem propositionem ab intellectu speculativo, et sub illa particularem, que proprie sua est, assumit et particulariter ad operationem concludit. Et hoc non solum possibile est uni, sed necesse est ab uno procedere, ut omnis confusio de principiis universalibus auferatur”.

diritto umano, se l'Impero distruggesse se stesso: dunque all'Impero non è lecito distruggere se stesso. Poiché dunque scindere l'Impero sarebbe distruggerlo, consistendo l'Impero nell'unità della Monarchia universale, è manifesto che a chi riveste l'autorità dell'Impero non è lecito scindere l'Impero. Che poi distruggere l'Impero sia contrario al diritto umano, è cosa manifesta per ciò che si è detto sopra"⁴. Dopo di che, dal capitolo 13 del libro, Dante torna sulla questione della diretta dipendenza da Dio dell'autorità imperiale. Avendo dimostrato sino a quel punto che il potere di legittimare il regno è contrario alla natura della Chiesa (*Mon.* III 15, 9: "quod virtus auctorizandi regnum hoc sit contra naturam Ecclesie"), deve ora porre il tassello finale, visto che non ha ancora compiutamente dimostrato che l'autorità dell'imperatore deriva direttamente da Dio (*Mon.* III 16, 1: "non tamen omnino probatum est ipsam [auctoritatem Imperii] immediate dependere a Deo"). Ed ecco appunto che lo dimostra attraverso un ventaglio di argomenti già presenti nella pubblicistica relativa (l'Impero è esistito prima della Chiesa; non risulta che Dio abbia conferito alla Chiesa l'autorità di confermare o autorizzare l'Impero; il regno di Cristo, per esplicita affermazione evangelica, 'non è di questo mondo'), che suonano propedeutici all'ampio discorso sulle due distinte 'beatitudini', la terrena e la celeste, e sulle due guide che a queste beatitudini devono condurre l'umanità, l'imperatore e

⁴ *Mon.* III 10, 4 e 8–9: "Constantinus alienare non poterat imperii dignitatem, nec ecclesia recipere <...> sic et imperium licitum non est contra ius humanum aliquid facere; sed contra ius humanum esset si se ipsum imperium destrueret; ergo imperio se ipsum destruere non licet. Cum ergo scindere imperium esset destruere ipsum, consistente imperio in unitate monarchie universalis, manifestum est quod imperii auctoritate fungenti scindere imperium non licet. Quod autem destruere imperium sit contra ius humanum, ex superioribus est manifestum".

il papa. E infine, poiché la felicità terrena è intimamente inerente all'ordine del cosmo e poiché tale ordine cosmico è direttamente voluto da Dio “*che presenzialmente vede la totale disposizione dei cieli*” (*Mon.* III 16, 12: “*qui totalem celorum dispositionem presentialiter intuetur*”), anche l'autorità imperiale che presiede alla felicità terrena sarà immediatamente dipendente dalla volontà divina: donde si deduce, infine, che chi elegge l'imperatore è ispirato da Dio (proprio come i cardinali quando eleggono il papa, aggiungiamo: nel *Conv.*, IV 4, 9 e 5–6, la “divina elezione del romano imperio” è appunto quella di Dio, che a fini provvidenziali ha voluto la formazione dell'impero romano), sì che in verità l'elettore è detto impropriamente tale, essendo piuttosto un ‘denunciatore’ o ‘banditore’ della volontà divina. L'atto dell'elezione ha dunque in sé, *ab origine*, la sua propria conferma, mentre la conferma papale mediante l'unzione e l'incoronazione romana diventa inessenziale, e la Chiesa viene esautorata nella sua funzione e, diremmo, nel suo monopolio di unica interprete e custode della voce di Dio. Più delle parole, in ogni caso, conta la logica sottesa al discorso di Dante. Padoan osserva come “la diretta investitura divina dell'Imperatore è proposizione che neppure il più ghibellino dei giuristi di parte imperiale aveva fino allora osato enunciare”⁵, e come tale proposizione fosse, naturalmente, inammissibile per la Chiesa. Infine: la Chiesa non è ‘causa’ dell'autorità imperiale né sta a lei conferirla, come da tutta la Bibbia si ricava e come dimostra la storia di ogni popolo, dagli Asiatici agli Africani agli Europei (*Mon.* III 14, 7). Ancora, la natura della Chiesa coincide con la sua

⁵ Padoan G. “Alia utilia reipublice”. La composizione della ‘Monarchia’ di Dante [1999] // Idem. *Ultimi studi di filologia dantesca e boccacciana* / A cura di A. M. Costantini. Ravenna, 2002. P. 56. Qui e avanti tra parentesi quadre si indica la prima edizione.

forma, e tale forma non è null'altro che la vita di Cristo, che dinanzi a Pilato ha affermato solennemente che il suo regno non è di questo mondo (*Mon.* III 15, 5). Infine nell'ultimo capitolo, il sedicesimo, Dante torna sulla distinzione originaria tra i due poteri, e la riporta alla doppia natura dell'uomo, dotato di un corpo e di un'anima, che comporta un doppio fine: quello della felicità terrena che ha la sua 'figura' adeguata nel paradiso terrestre, e quello della beatitudine celeste che si godrà in Paradiso. In ciò, è importante la distinzione operata tra le virtù morali e intellettuali necessarie alla felicità terrena e raggiungibili attraverso i "phylosophica documenta", e le "*dottrine spirituali che trascendono la ragione umana, allorché le seguiamo con l'operare secondo le virtù teologiche, cioè la fede, la speranza e la carità*" (*Mon.* III 16, 8: "per documenta spiritualia que humanam rationem transcendunt, dummodo illa sequamur secundum virtutes theologicas operando, fidem scilicet, spem et karitatem"). Per questo, in vista del suo duplice fine, l'uomo ha bisogno di due diversi poteri direttivi: il Pontefice che secondo i principi della fede rivelata lo conduca alla vita eterna, e l'Imperatore che secondo i "phylosophica documenta" elaborati dalla ragione umana lo conduca alla felicità temporale.

L'esperienza e la coscienza politica di Dante, insomma, ha conosciuto un percorso che muove dalla cronaca municipale di Firenze e finisce per oltrepassare i confini dell'attualità e delle puntuali circostanze biografiche, trovando i suoi spazi in una dimensione intellettuale e morale così forte da giungere intatta sino a noi e da riproporci le sue inquietanti domande. Spesso si sorvola quasi con pudore sull'universalismo della visione politica dantesca, considerandolo come qualcosa che guarda indietro: un relitto seppur grandioso del passato che farebbe di lui, secondo una formula che càpita ancora di sentire, 'l'ultimo

uomo del Medioevo', cieco dinanzi all'imponente fenomeno della formazione degli stati nazionali: fenomeno che per lui si riassumeva nel detestato regno di Francia, ma che, siamo obbligati a pensare, avrebbe suscitato la sua avversione anche se in ipotesi avesse investito l'Italia. Si provi a ribaltare la prospettiva, e a considerare il suo pensiero come quello di chi coglie il senso e la direzione delle cose, e ne denuncia i rischi micidiali: la perdita della nozione per la quale ogni singolo uomo è *civis* di una terrena e universale comunità che ne riconosce e garantisce i diritti fondamentali, sanciti da uno *ius* che di quella medesima collettività umana è vita e sostanza, e della quale costituisce il fine: "Vedere il raggiungimento del fine dello Stato nella realizzazione del fine dell'umanità corrisponde perfettamente a quell'esigenza ideale di una monarchia universale abbracciante tutta l'umanità. Uno Stato il cui popolo è l'umanità deve fare del fine di essa il suo fine proprio. Questo fine dello Stato, obiettivo e universale, è nello stesso tempo un fine assoluto, cioè, un fine unitario che comprende in sé tutti gli altri e che rimane uguale per tutti i tempi e per tutte le possibili forme statuali"⁶. Uno *ius* senza il quale non può che trionfare una frammentata logica regionale alla quale presiede la violenza reciproca, e la *cupidigia* e la *rapina* elevate al rango di uniche potenze direttrici nella sfera del politico, e dunque responsabili di una storia che avrebbe finito per coincidere con la guerra di tutti contro tutti. Questo è il 'momento' che Dante vive e interpreta evocando la necessità dell'Impero universale per un percorso di pace e conoscenza, e in ciò mescola inestricabilmente il sogno di una grandiosa utopia positiva ai segni affatto reali di un futuro drammatico che non è certo sopraggiunto a smentirlo.

⁶ Kelsen H. La teoria dello stato in Dante [1905]. Bologna, 1974. P. 73.

Come s'è visto, l'Italia per Dante ha una identità geografica nettamente definita, ed ha un'altrettanto chiara identità linguistica che già s'è espressa nelle canzoni dei suoi poeti che le meritano l'eccellenza nel quadro più ampio delle lingue romanze. Non ha, invece, identità politica, e le sue frantumate e feroci vicende interne finiscono di mostrare che neppure può sperare di averla, e che il suo destino e la sua salvezza è semmai quello di tornare a far parte di un ricostituito Impero, ch'è però il magico nome di Roma a evocare e a catalizzare, non il paese tutt'intero. Ciò comporta che Dante definitivamente oltrepassi l'ipotesi repubblicana e 'comunale' che caratterizzava buona parte dell'ideologia politica del '200, e ne denunci la fine per conclamato fallimento, indicando come unica possibile soluzione del dramma italiano il ristabilimento di una prospettiva unificante condotta in nome di una 'cittadinanza' che ha nell'universalismo giuridico del potere imperiale il suo riferimento ultimo. Ora, proprio quest'ultima indicazione, utopica o semplicemente irrealistica nella forma che ha assunto ma perfettamente politica nella sostanza, dilaga per tutto il secolo. E in effetti, dopo Dante, vediamo che, abbandonate le vecchie teorie relative al 'bene comune', null'altro al di fuori di una rinnovata prospettiva imperiale o monarchica si sarebbe riusciti ad opporre a un processo di trasformazione verso regimi signorili che nelle loro varie forme erano concepiti sempre e solo come 'tirannici'. In questo senso, il capovolgimento radicale di prospettiva che oppone il '200 al '300 è di matrice tutta dantesca, perché è con lui che si attua il passaggio definitivo da una ideologia comunale che presumeva d'avere un potere modellizzante capace di agire per forza propria, alla crisi e alla frustrazione trecentesca obbligata ormai a rimettere in mani altrui

l'impossibile soluzione del male politico italiano. Claudia Villa ha scritto come la riflessione politica di Dante sia avviata "verso la negazione di ogni possibilità di vita civile all'interno della forma-comune"⁷: nel corso del '300 sembra questo un dato acquisito anche se, in campo diverso, l'ideale comunale in qualche modo sopravvive nei famosi affreschi di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo pubblico di Siena, eseguiti nel 1338–1339 (ma per la difficile realtà ad essi sottesa si veda almeno il recentissimo volume della Frugoni, e la fitta bibliografia alla quale la studiosa rimanda)⁸. In altre parole ancora, le lodi dantesche di Arrigo VII e quelle, dopo la morte dell'imperatore, di Cino da Pistoia e di Sennuccio del Bene (rispettivamente, nelle due canzoni *Da poi che la natura* e *L'alta virtù*, e nella canzone *Dappoi ch'i' ho*

⁷ Villa C. *Natura e corpo sociale. Retorica (e cecità) di ser Brunetto* // *Rivista di studi danteschi*. Anno X. № 2. 2010. P. 246–247. Certo, si dovrebbe parlare del diverso caso di Firenze, e almeno di Antonio Pucci e Franco Sacchetti, ma bastino qui le parole di Artifoni: "Firenze, nei suoi liberi ordinamenti, costituiva già verso la metà del secolo una sorta di anacronismo nei confronti di quelle città-stato – e non erano poche – che avevano scelto di dissolvere la loro indipendenza politica nelle vaste aggregazioni territoriali scaligere e viscontee. Di qui la disperazione del cronista [Matteo Villani], stretto tra le *sette cittadinesche* e la mancanza di concreti modelli di assetto istituzionale – tolta forse la lontana Venezia – che confermassero la praticabilità della sua fede municipale e repubblicana" (*Artifoni E. La consapevolezza di un nuovo assetto politico-sociale nella cronistica italiana d'età avignonese: alcuni esempi fiorentini* // *Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese*. Todi, 1981. P. 84 (con rinvio a *Sestan E. Il comune fiorentino nel Trecento* // *Idem. Italia medievale*. Napoli, 1966. P. 263). Ma si vedano ora le pagine di *Najemy J. M. Storia di Firenze. 1200–1575* [2008]. Torino, 2014, in particolare i cap. V e VI, p. 152–236, che forniscono un quadro assai nitido della politica interna dell'oligarchia fiorentina.

⁸ *Frugoni C. Paradiso vista Inferno. Buon Governo e Tirannide nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti*. Bologna, 2019.

perduta ogni speranza) fissano in forme irreversibili l'abbandono dell'orgogliosa autonomia del 'libero' comune, e annunciano i tanti che invocheranno il salvifico avvento di qualcuno, re o imperatore o aspirante tale, che si faccia finalmente garante dell'irrealizzato binomio di 'pace e giustizia'. E proprio questa alternanza di accorati appelli in un intervento esterno, e altrettanto cocenti delusioni, pateticamente attraversano e caratterizzano la lirica politica del '300, da Fazio degli Uberti a Bindo di Cione del Frate, da Nicolò de' Rossi a Ventura Monachi, da Matteo di Dino Frescobaldi ad Antonio da Ferrara, da Giovanni Dondi a Francesco di Vannozzo a Simone Serdini, detto il Saviozzo..., chi auspicando un regno italico con Roberto d'Angiò sotto tutela papale, chi invocando Ludovico il Bavaro o Carlo IV di Boemia, chi sperando di vedere in tale ruolo Cangrande o Giangaleazzo Visconti, il Conte di Virtù, candidati a tanto per le labili fortune di un'avventura individuale che ci può ben rimandare avanti, a quanto Machiavelli scriverà nel *Principe*.

Definiamo dunque, in modo assai schematico, due momenti diversi e nettamente scanditi. Il primo, duecentesco, caratterizzato da una visione politica più o meno direttamente ispirata all'esperienza dei liberi comuni e dunque al motivo direttivo del 'bene comune' e, sul piano istituzionale, a un idealizzato recupero del modello offerto dalla repubblica romana. Il secondo momento appare come una conseguenza della discesa in Italia di Carlo d'Angiò, che innesca un impietoso processo di disvelamento dell'intrinseca debolezza del 'sistema' comunale, del tutto impotente sia nei confronti della grande politica che nel porre un argine all'impressionante ed endemico stato di ferocissime guerre interne, cittadine e regionali. Chi ha denunciato questo clamoroso fallimento è stato Dante, che ha ravvisato l'unica possibile speranza di pace e vita civile in

una forza esterna e superiore, quella dell'impero, titolare di un siffatto potere d'intervento. Questa indicata da Dante diventa la linea dominante per tutto il '300, ed è appunto entro tale contesto che spicca con forza il terzo momento, unicamente comprensibile sullo sfondo del fallimento dei primi due, rappresentato nel pieno del suo secolo da Petrarca.

Intanto, vediamo come anche Petrarca si sia sottratto con forza alla vecchia trappola ideologica alla quale ancora si deve il pregiudizio 'filo-comunale' e repubblicano della nostra vecchia storiografia, che "a lungo ha afflitto la storia politica italiana del pieno Trecento"⁹. In Petrarca, anche se in maniera non sempre evidente, tornano molte delle idee di Dante, ma da costui, e da tanti che l'hanno ripetuto, lo

⁹ Sono parole di *Varanini G.M.* Francesco Petrarca e i Da Carrara, signori di Padova // Petrarca politico. Atti del Convegno (Roma-Arezzo, 19–20 marzo 2004) / A cura del Comitato Nazionale per il VII centenario della nascita di Francesco Petrarca. Roma, 2006. P. 84. Dello stesso studioso v. anche: *Le signorie trecentesche e Francesco Petrarca.* Appunti storiografici // Petrarca, l'Umanesimo e la civiltà europea. Atti del Convegno (Firenze, 5–10 dicembre 2004). Firenze, 2012. Vol. I. P. 151–168, e ora le brevi ma dense indicazioni in questo stesso senso di *Roversi Monaco F.* Bene comune ed esperienza signorile // Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. Atti <...>. Spoleto, 2012. P. 419–445, centrato sull'esperienza di governo di Bologna da parte di Taddeo Pepoli nel decennio 1337–1347. V. qui in part. p. 420–424, con ulteriore bibliografia sul tema di quella transizione, ove tra l'altro si precisa, fuori da ogni passato schematismo, che "comune e signoria affondano le loro radici in un medesimo substrato del quale rappresentano esiti diversi, alle volte contestuali, alle volte alternati, fino al prevalere delle forme signorili, in un processo evolutivo interno al mondo comunale e condiviso dalle sue principali componenti". E si vedano anche le pagine finali, intese a 'sdrammatizzare' la topica immagine del *tiranno* genericamente e impropriamente evocata a proposito dei regimi signorili (interessanti anche perché ci riportano alle posizioni filo-signorili del Petrarca 'visconteo').

distanzia il fatto che insieme al modello delle repubbliche cittadine viene meno anche il valore centrale, *erga omnes*, del modello imperiale, ormai sostanzialmente defunto. Piuttosto, Petrarca ostentatamente privilegia una dimensione transpolitica: egli è il primo a esaltare in termini nuovi, attraverso la proposta di una epocale *translatio studiorum*, il ruolo egemone dell'Italia nel quadro della civiltà europea, ed è all'ombra di una siffatta proposta che elabora una serie di riflessioni squisitamente politiche che suonano già assai vicine al pensiero di Machiavelli. Tali riflessioni non sono tuttavia espresse in forma sistematica, ma sono in ogni caso legate da una forte coerenza interna, sì che è abbastanza facile ricavarne il senso complessivo.

Anticipiamo una considerazione importante. Petrarca, come nessun altro intellettuale italiano e probabilmente europeo, ha avuto il singolare privilegio di fare esperienza diretta e costante del mondo del potere, nel quale ha abitato dal principio alla fine della sua vita e che ha ben conosciuto e al quale ha partecipato come diplomatico in tutte le sue varianti: da quella curiale e papale a quella monarchica (di Napoli e poi di Francia); da quella delle signorie padane e segnatamente della Milano viscontea e della Padova carrarese a quella repubblicana di Genova e Venezia, e infine a quella imperiale, nella persona di Carlo IV di Boemia che conobbe e del quale fu ospite. Detto questo, si può forse cominciare dal fatto che Petrarca ripetutamente e con intatta forza di convinzione si dichiara contrario ai regimi di popolo che avevano il loro archetipo in Firenze e, come Dante, chiude con l'ideologia comunale e democratica, che aveva avuto il suo principale teorico in Brunetto Latini 'inventore' di quella interpretazione repubblicana della storia di Roma che tanta parte avrà ancora in tutto l'Umanesimo maturo. Sino a un certo punto, diciamo sino agli anni '50 del 300, questa può sembrare anche la posizione di Petrarca che ne

inventerà l'eroe eponimo, Scipione, e che, sulla base di Livio, dominerà soprattutto la stagione del *De viris* e dell'*Africa*. Ma Petrarca è molto distante per non dire del tutto estraneo, per formazione ed esperienza, all'attualizzazione in chiave comunale operata da Brunetto, che lucidamente pone lo strettissimo nesso tra il nascere 'uomini del Comune' e la forma di governo naturalmente democratica e municipale della casa a tutti comune. Se l'uomo – ogni uomo – nasce 'cittadino', la città gli appartiene come il luogo proprio del suo essere sociale, e il reggimento di essa, quali ne siano i modi specifici, sarà in definitiva cosa sua. E mai e poi mai, aggiunge Brunetto, si dovrà accettare che un uomo solo ottenga la somma del potere: "ond'io non so nessuno / ch'io volesse vedere / la mia cittade avere / del tutto a la sua guisa" (*Tesoretto* 170–173). Ecco, Petrarca, di là dall'esaltazione della Roma repubblicana, non ha nulla a che fare con una siffatta ideologia, rompe quel nesso tra 'città' e reggimento repubblicano, e rifiuta di farne la specifica 'marca' della realtà italiana contrapposta, come faceva Brunetto, alle monarchie europee. Ma ciò vale sul piano delle forme politiche e dell'organizzazione del potere più che su quello dei contenuti, perché è in lui costante la preoccupazione di salvare e quasi trasferire dall'ambito comunale a quello signorile il nucleo profondo dell'esperienza che si era storicamente costituita attorno al valore fondante del 'buon governo'. Paradossalmente, potremmo dire che per Petrarca solo i regimi signorili, più o meno tirannici, possono ormai garantire i valori repubblicani (si tratta di un paradosso che a ben vedere riguarda anche Dante teorico dell'impero ed esaltatore delle grandi figure della Roma repubblicana). Già questo mostra che, in lui, l'ideale monocratico non è qualcosa di passivo, ma piuttosto di ragionato e polemico, basato com'è sulla percezione delle dinamiche politiche in

atto che volgevano a favore dello stato regionale, e in specie di quello visconteo. Gli ultimi anni del decennio '40–'50 sono cruciali al proposito, perché gli impongono una serie di scelte di campo che investono il suo destino personale, le sue opere – quelle già composte e quelle ancora da comporre – e le sue concezioni politiche. L'adesione al tentativo di Cola di Rienzo, nell'autunno 1347, non è priva di ombre, specie nella fase finale, ma certo ebbe un impatto decisivo su Petrarca che ne fu spinto a definire con maggiore chiarezza il suo orizzonte politico e a sostituire alla figura di Scipione quella diversamente emblematica di Giulio Cesare. Nell'egloga V del *Bucolicum carmen, Pietas pastoralis*, egli esalta il potere personale di Cola e i risultati da lui raggiunti (in singolare consonanza con i giudizi che si trovano nella *Cronica* dell'Anonimo romano), e più tardi, si sa, attribuì il fallimento del tribuno alla sua incapacità di esercitare sino in fondo il proprio potere in modi compiutamente tirannici. Anticipando il crudo realismo di Machiavelli, nella *Familiars (Familiarum rerum libri)* [in seguito – *Fam.*] XIII 6, del 1352, lo rimprovera aspramente per non aver giustiziato, come aveva annunciato di fare, i nobili romani che aveva imprigionato dopo averli invitati a una festa, e per averli addirittura liberati, dando prova di una fatale debolezza: “Egli [Cola] è senza dubbio degno di ogni supplizio, perché quello che volle non lo volle con tutte le sue forze, come avrebbe dovuto e come la situazione necessariamente imponeva. Ma dopo essersi impegnato a difendere la libertà, potendo sopprimere in un sol colpo tutti i suoi nemici – un'occasione che la fortuna non aveva mai concesso ad alcun imperatore – li lasciò liberi e armati”¹⁰.

¹⁰ *Fam.* XIII 6, 11: “Est quidem, fateor, omni supplicio dignus quia quod voluit non adeo perseveranter voluit ut debuit et ut rerum status necessitasque poscebant; sed libertatis patrociniū professus, libertatis

La persistenza culturalmente rilevante di temi repubblicani, in definitiva, non nasconde la sostanza di una visione politica che fa centro sulla pienezza dei poteri e sull'iniziativa di un solo uomo. Così, nella particolare situazione italiana, Petrarca prende atto della trasformazione allora in atto dei regimi cittadini in signorie, e proprio la fallimentare esperienza di Cola di Rienzo lo spinge a definire con maggiore chiarezza il suo orizzonte politico, e a porsi, dal 1353, al servizio dei Visconti, i 'tiranni' di Milano titolari del più potente 'stato regionale' d'Italia (si veda, per non fare che un esempio, l'*Epyst.* III 6, a Luchino Visconti). Né Petrarca mutò poi opinione sulla propria scelta per il regime monocratico, convinto, come scrive al Boccaccio in *Lettere senili* [in seguito – Sen. VI 2, 1–2, che è più facile sopportare un solo tiranno che molti, quali sarebbero quelli che compongono le oligarchie che gestiscono il potere in forme democratiche e repubblicane, com'è appunto il caso di Firenze. Sul piano politico, il potere accentrato nelle mani di un solo uomo gli appare non solo come l'unica garanzia di pace e buon governo, ma pure come l'unica possibilità di esercitare quella unitaria ed efficace azione politica che i regimi democratici non possono permettersi, inevitabilmente dilaniati, come in effetti sono, da incessanti e rovinose lotte intestine. All'ombra del mito italico di Roma, così è da intendere là dove scrive a Paganino da Besozzo, funzionario visconteo: *“Certamente, se consideriamo la nostra situazione presente, in tanta implacata discordia d'animi, non mi resta il minimo dubbio che la monarchia sia la cosa migliore per unire e risanare le forze degli italiani disperse nel furore di lunghe guerre civili. E come ho imparato questo, so anche che la mano di un re è necessaria ai nostri*

hostes, cum opprimere simul omnes posset, quam facultatem nulli unquam imperatori fortuna concesserat, dimisit armatos”.

mali...”¹¹. Questo definitivo addio all’inveterata ideologia comunale e democratica si fa forte della mutata situazione sociale e politica, e di tale realtà dà ben conto la parte finale della lettera, ove spicca il secondo motivo d’interesse. Con particolare insistenza Petrarca raccomanda a Paganino di esortare il suo signore a non insistere nell’allargare ulteriormente i propri confini: “*a te, amico caro, che conosci il mio animo, vorrei dare un consiglio semplice ma sincero: quello di convincerlo [Luchino] che i confini del suo stato sono già abbastanza larghi*”. E ancora, poco avanti: “*Sento dire che stia meditando nuove imprese: se insiste, glielo auguro felici, ma preferirei che si fermasse, perché questa è una linea di condotta più sicura. Opponiti, ti prego, fin da principio...*”. E infine, nella chiusa: “*I confini limitati si difendono facilmente; un regno immenso è difficile da conquistare, ma è difficilissimo da difendere*”¹². Frasi come queste le si possono giudicare ispirate alla retorica del più semplice e topico buon senso, ma, di là dalla forza diretta e per nulla di maniera di quel: “Opponiti...”, per correggere quel giudizio basta brevemente ricordare gli allarmi e le leghe e le guerre suscitate dall’espansionismo visconteo, che si era impadronito di Parma nel 1346 e si sarebbe allargato sino a Bologna nel 1350, minacciando direttamente Firenze e il fragile equilibrio italiano, e procurando la scomunica al

¹¹ *Fam.* III 7, 1–2: “Certe ut nostrarum rerum presens status est, in hac animorum tam implacata discordia, nulla prorsus apud nos dubitatio relinquatur, monarchiam esse optimam relegendis reparandisque viribus italia, quas longus bellorum civilium sparsit furor. Hec ut ego novi, fateorque regiam manum nostris morbis necessariam...”.

¹² *Ibid.* 4: “tibi, inquam, amice, cui animus meus notus est, hoc rusticum forte sed fidele consilium dedisse velim, ut suadeas sibi fines suos satis patere <...> Audio illum novas res moliri: opto feliciter si pergit sed malo desinat: tutior enim via est <...> Modestos regni fines facile tuare; immensum imperium difficile queritur, difficillime custoditur”.

capo della casata, l'arcivescovo Giovanni. Per il tramite di Paganino, non c'è dubbio che Petrarca, che dei Visconti divenne poi l'abile diplomatico, volesse accreditarsi presso Luchino non come un altro letterato in cerca di protezione e ospitalità, ma come uomo di fiducia che sin dall'inizio del rapporto era in grado di dare prova della propria autonomia di giudizio, e che era perfettamente in grado di indicare nel difficile equilibrio italiano il nodo politico piuttosto che militare del momento¹³.

Quanto si è citato sin qui (assai poco, ma facilmente rinforzabile con molte altre citazioni possibili) mostra che cosa sia la *monarchia* che Petrarca invoca e della quale porta a esempio il regime visconteo: non già la forma di governo di una anacronistica Italia unita, ma piuttosto quella più adatta a puntellare un 'sistema italiano' basato sulla coesistenza di realtà molteplici: al Nord Milano, Venezia e Genova (lo si vede bene nel corso della sua attività diplomatica per i Visconti durante la guerra tra Genova e Venezia nei primi anni '50), e poi Firenze, e al Sud, oltre lo stato della Chiesa, la Napoli angioina (Machiavelli toglierà Genova dall'elenco). Il disegno che Petrarca ha in mente corrisponde a quello che sarà perseguito da Lorenzo il Magnifico e dalla sua politica italiana dell'equilibrio: un disegno che avrebbe bisogno, appunto, di forti e decise 'mani regie', mentre resta ingestibile se rimesso nelle mani di miopi e faziose oligarchie cittadine (che poi tale 'sistema'

¹³ Mi piace citare a questo punto un passo di Guicciardini, all'inizio della sua *Storia d'Italia*, I 1: "conoscendo che alla republica fiorentina e a sé proprio sarebbe molto pericoloso se alcuno de' maggiori potenti ampliasse più la sua potenza, procurava con ogni studio che le cose d'Italia in modo bilanciate si mantenessero che più in una che in un'altra parte non pendessero: il che, senza la conservazione della pace e senza veggiare con somma diligenza ogni accidente benché minimo, succedere non poteva".

esaltato insieme da Machiavelli e da Guicciardini si rivelasse un castello di carte destinato a sfasciarsi, alla fine del '400, sotto i colpi delle potenze straniere, è un'altra storia).

A questo punto occorre fare un salto, perché proprio le fondamentali opzioni politiche di Petrarca, dettate dalla speciale situazione italiana, vanno insieme, in lui, a un discorso nuovo e per molti aspetti eversivo, che in parte esce dalla linea sin qui seguita, ma del quale è necessario parlare. Si tratta del fatto che la cruda polarizzazione del momento politico e delle sue leggi lascia scoperto, dall'altra parte, il ruolo e l'identità del singolo. Il suo cittadino, strappato dal vecchio orizzonte imperial-teologico come dalla più recente identità comunale e repubblicana, cessa per molti aspetti d'essere tale, e dinanzi al potere che gli si contrappone si scopre come individuo: più precisamente, come individuo solo e impotente, immerso in una realtà di potere che non gli appartiene e nella quale non ha posto alcuno. E precisamente in quanto ha cessato di essere un cittadino ed è piuttosto un individuo accerchiato e oppresso da meccanismi feroci che non lo riguardano e che tragicamente confermerebbe e aggraverebbe con la sua ribellione (v. *Sen.* XIV 1, 28, e le già famigerate lettere al Bussolari, *Fam.* XIX 8 e *Lettere disperse* 39), l'unica cosa che davvero lo interessa è il margine di libertà personale e di 'ignoranza' della politica della quale gli è dato di godere. Solo una condizione di pace, infatti, per quanto si tratti di cosa instabile e a sua volta piena di rischi (*De remediis*, I 106, *De pace et indutiis*) può dare qualche garanzia di sopravvivenza e di serenità: una pace che per essere tale obbliga il cittadino a rinunciare alle libertà propriamente civili e politiche e a rimettersi, in buona sostanza, al 'tiranno' di turno (e ciò è valsa a Petrarca la dura condanna del risorgimentale *De Sanctis*). Petrarca non si stanca dunque di predicarla, la pace, come il massimo dei beni possibili, continuando a sottolineare come solo un

potere forte e accentrato possa garantirla: in *De remediis* I 105, *De spe pacis*, 3, egli, magnificamente occorre dire, fa sue le parole di Lucano, I 669–670, secondo il quale la spirale terribile della guerra civile si sarebbe interrotta non pregando gli dei, ma solo sotto il dominio del vincitore: “Et superos quid prodest poscere finem? / Cum domino pax ista venit”. Diversamente, il massimo della libertà concessa a una cerchia più ristretta di persone dotate di mezzi e cultura, è semmai quella della ‘fuga’, che nel pensiero di Petrarca assume connotati decisivi. La fuga, infatti, è sempre una virtuosa scelta di libertà, perché attraverso di essa l’individuo si libera da ciò che lo opprime e realizza il proprio personale diritto alla felicità. L’arte della fuga, insomma, è l’unica vera politica dell’individuo, l’unico suo potere attraverso il quale può esprimere la sua capacità di rifiuto e arrivare a restituire sé a se stesso. Valga quanto Petrarca scrive a Cola, nel momento della definitiva e difficile scelta politica: “*Perché dovrei torturarmi? Le cose andranno così come l’eterna legge del destino ha stabilito: non posso cambiare il corso delle cose, ma posso fuggirle*”¹⁴. Tra le molte altre citazioni possibili relative a questa ‘politica della fuga’, v. *De vita solitaria* I 10, 9; *Bucolicum carmen* VIII, *Divortium*; *Fam.* XI 5; *Fam.* XV 7; *Fam.* XXI 9, 15; *Fam.* XIX 7, 4; *Fam.* XXIV 4, 2, ecc. E in questa contrapposizione affatto nuova e così profondamente sentita tra l’individuo e il potere sta forse la chiave ultima dell’atteggiamento di Petrarca. L’individuo ignori dunque o venga a patti con un potere che non può fare a meno di subire, oppure in casi estremi se ne fugga. Il potere, per parte sua, visto che esiste e sempre esisterà, tanto vale che, localmente, sia ristretto in pochissime mani, meglio in quelle

¹⁴ *Fam.* VII 7, 9: “Quid autem torquebor? Ibunt res quo sempiterna lex statuit; mutare ista non possum, fugere possum”.

di uno solo, sì che il male che è in grado di fare non ecceda le possibilità del singolo, e sì che lo si possa più facilmente riconoscere e addossargli le sue responsabilità. Certo, lo si potrà amare oppure detestare, ma tenendo fermo che si tratta di una forza invincibile nelle sue varie incarnazioni alla quale l'individuo deve in ogni caso rassegnarsi, adoperandosi per quanto gli è possibile di scansare ogni urto diretto e di costruirsi una sua propria dimensione separata, una nicchia personale che lo protegga dai turbini della storia. In caso contrario, non c'è scampo perché là dove non ci sono tiranni sono i popoli interi a far da tiranni: “ubi enim tyranni desunt, tyrannizant populi”. Ma è meglio leggere tutto il passo dal quale queste parole sono estratte:

“Quasi nessuno è libero: dappertutto ci sono schiavitù, carceri, catene <...> Volgiti come vuoi verso qualsiasi parte della terra: nessun luogo è senza tirannide: dove i tiranni mancano, infatti, sono i popoli a tiranneggiare. E così, quando ti sembrerà di essere scampato a un tiranno solo, incapperai in molti, a meno che tu non sia in grado di indicarmi un luogo sul quale regni un re giusto e mite. Se lo farai, ci andrò immediatamente ad abitare facendo fagotto di tutte le mie cose <...> Ma è inutile cercare quello che non esiste da nessuna parte”¹⁵.

In tutto ciò sta evidentemente un altro paradosso (di radice tutta agostiniana, va aggiunto). Il potere è consustanziale alla naturale malvagità dell'uomo perché ne è

¹⁵ Invectiva contra quendam magni status hominem. Firenze, 2005. P. 200, § 169–173: “fere nullus est liber; undique servitus et carcer et laquei <...> Verte te quocunque terrarum libet: nullus tyrannide locus vacat; ubi enim tyranni desunt, tyrannizant populi, atque ita, ubi unum evasisse videare, in multos incideris, nisi forsan iusto mitique rege regnatum locum aliquem michi ostenderis. Quod cum feceris, eo larem illico transferam, cumque omnibus sarcinulis commigrabo <...> Sed frustra queritur quod nusquam est”.

il prodotto, ma insieme ne è anche il parziale ma indispensabile rimedio. E in quanto duro e persino feroce rimedio, quando non si possa starne alla larga lo si deve rispettare o addirittura aiutare. Probabilmente, questo è il nocciolo della posizione di Petrarca, il più convinto machiavellico prima di Machiavelli, che è riuscito nell'impossibile disegno di presentarsi estraneo al potere nel momento stesso in cui lo serviva e che si sarà sentito colpevole o contraddittorio in molte cose, ma certamente non nell'essere stato l'uomo dei Visconti 'tiranni'.

Infine, seppur in prospettiva diversa: imperiale in Dante, signorile in Petrarca, in entrambi l'Italia come corpo politico unico non c'è, né ci può essere. Tutto fa pensare che nella visione di Dante una 'nazione Italia', proprio come la *nation France* (si veda il bel volume di Colette Beaune, *Naissance de la nation France*, Paris, 1985), solo per il fatto di essere tale si sarebbe posta in contrasto con l'impero universale e ne avrebbe ulteriormente indebolito la possibilità; nella visione di Petrarca, la sua impensabile esistenza avrebbe richiesto la drammatica rottura degli equilibri esistenti e una lunga fase di sanguinosi rivolgimenti dal successo oltremodo incerto. Tutto, insomma, meno che la pace. Dell'Italia si parla molto, è vero, ma ogni volta che s'affaccia un pensiero che potrebbe insinuare qualcosa come una realtà 'nazionale', si è sempre rinviati dall'Italia presente all'antica Roma. Cioè al fantasma di qualcosa di perduto e irrevocabile che nel momento medesimo in cui esclude ogni idea di nazione fonda una idea di patria. L'Italia, insomma, in Dante e in Petrarca e in seguito ancora per molto tempo, non è una nazione ma una patria: cioè un sentimento, una nostalgia, un

orizzonte identitario sul quale grava il peso di un perfetto e indicibile interdetto politico.

Consideriamo brevemente alcuni testi, per cogliere meglio la complessità di questo nodo. Il primo è proprio all'inizio della *Commedia*, là dove, *Inf.* I 106–108, Virgilio profetizza l'avvento risanatore del *veltro*:

Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la vergine Cammilla,
Eurialo e Turno e Niso di ferute.

Non è che un cenno rapido, ma colpisce per la sua straordinaria intensità. A tutta prima spicca la topica associazione tra l'Italia e la storia di Roma nella quale quella nozione si identifica, ma un attimo dopo non si può non riflettere che Camilla, alleata di Turno, combatteva contro Enea e, in ultima analisi, contro una Roma che ancora non esisteva. Dante, in altre parole, non discrimina tra amici e nemici, ma unisce coloro che sono morti “di ferute” ed hanno versato il proprio sangue per un'Italia ch'è appunto la patria comune per la quale si può e si deve morire, *prima* che Roma, diremmo, la faccia tale, e che come patria risanata tornerà a vivere quando il *veltro* sarà giunto a restituirle *salute*. Di più, a dare consistenza e durata a una patria siffatta, prima e dopo Roma, l'Italia è detta *umile*, che normalmente e con vari pertinenti rimandi si chiosa come ‘misera’: è così, certo, ma in questo contesto *umile* ha pure un senso diverso e profondo che allude alla sua originaria e materiale essenza di patria che esiste oltre le gesta epiche e degne di alta poesia dei suoi eroi, e insomma oltre Roma stessa (una patria che non ha dunque bisogno del ‘volo dell'aquila’ del canto VI del *Paradiso*).

Di qui è abbastanza facile passare a Petrarca che compendia esemplarmente molte delle cose dette sin qui nelle sue grandi canzoni politiche: *O aspectata in ciel* (*Rvf* 28), *Spirto gentil* (*Rvf* 53), e infine e soprattutto *Italia*

mia (Rvf 128). Qui, Petrarca esorta i signori italiani alla pace e in particolare li supplica a licenziare i merceneri stranieri, anticipando così uno dei motivi fondamentali di Machiavelli. Ma questi puntuali contenuti vivono in una dimensione più ampia alla quale appaiono subordinati, mentre la voce di Petrarca occupa solitaria la scena e assume su di sé tutto il peso e la responsabilità di una testimonianza storica e morale che nessun altro riesce a portare, sì che l'io del poeta acquista per la prima volta un così potente risalto profetico. Attraverso di lui è Iddio stesso che parla:

e i cor', che 'ndura et serra
 Marte superbo et fero,
 apri Tu, Padre, e 'ntenerisci et snoda;
 ivi fa' che 'l Tuo vero,
 qual io mi sia, per la mia lingua s'oda
 (vv. 12–16).

All'ombra di una simile invocazione, risuonano nella canzone gli stessi accenti con i quali Petrarca nei suoi *Rerum memorandarum libri* (I 19) si presentava “sul confine di due popoli”, nell'atto di “guardare contemporaneamente innanzi e dietro”, e dunque capace di segnare, da solo, l'immanente necessità di un riscatto epocale. Ma non è tutto, perché il fascino della canzone sta probabilmente nella combinazione di due motivi che Petrarca sa intrecciare benissimo attraverso una eloquenza semplice e diretta di grande effetto: il motivo del riscatto, appunto, che si fonda sul mito di Roma guerriera e dominatrice e sulle vittorie di Mario e Cesare, e il motivo diverso, diremmo virgiliano, dell'amore per il suolo natio, della naturale *pietas* che anima i buoni e gli innocenti legati da un rapporto affatto naturale e intimamente religioso con la loro terra, e però vittime di una violenza estranea e irrazionale:

Non è questo 'l terren ch'i' toccai pria?
 Non è questo il mio nido

ove nudrito fui sì dolcemente?
 Non è questa la patria in ch'io mi fido,
 madre benigna et pia,
 che copre l'un et l'altro mio parente?
 Perdio, questo la mente
 Talor vi mova, et con pietà guardate
 Le lagrime del popol doloroso
 Che sol da voi riposo
 Dopo Dio spera...
 (vv. 81–91)

Ma i due motivi appunto si intrecciano e infine si saldano, e proprio la strofa appena citata torna in fine, splendidamente, all'altro, quello della riscossa, che s'è per via arricchito di risonanze speciali, meno militari che morali, ora che la naturale *religio* del popolo italico nella sua aspirazione alla pace s'è fatta sostanza della sua virtù. Basta poco, dunque: basta che i signori italiani ristabiliscano un rapporto reale con i loro popoli perché finalmente tutto cambi. Allora:

Vertù contro a furore
 prenderà l'arme, et fia 'l combatter corto,
 ché l'antiquo valore
 ne l'italici cor' non è anchor morto.
 (vv. 93–96).

È giusto ricordare, a questo punto, che Machiavelli meglio di tutti ha inteso e sviluppato con coerenza l'utopico messaggio della canzone, e che ha chiuso il *Principe* con i versi appena citati, che non costituiscono una sorta di finale svolazzo retorico, per quanto sublime, ma piuttosto la chiave di volta del suo discorso. Nelle sue linee generali l'analisi del segretario fiorentino non è poi molto diversa da quella di Petrarca e, nel *Principe*, l'appello alla riscossa risuona intatto, così come la puntuale polemica contro l'uso delle milizie mercenarie e la 'barbarie' straniera – il *furor*

teutonicus – che conferisce un peso tutto speciale alla più famosa e bella canzone patriottica della nostra letteratura. È anche vero, d'altra parte, che proprio il richiamo a Machiavelli ci mette sulla via per cogliere la serietà e la forza di *Italia mia*, ma anche per definire l'ambito tutto ideale del suo patriottismo che non ha, e per la verità non cerca, il minimo ancoraggio in concrete situazioni o controparti politiche. Petrarca offre, insomma, il modello compiuto di quell'utopico patriottismo italiano costretto per secoli a convivere con una realtà assolutamente refrattaria e dunque costretto a rifugiarsi con più o meno d'intelligenza e sensibilità, in ogni caso altissime in lui, nella sfera transpolitica della sublimazione culturale ed estetica. Ma quelle canzoni hanno pur fondato, con le parole di Contini "s'intenda letterariamente, sulla base della romanità, la secolare nozione di nazionalità italiana". La quale nozione s'incardina e propriamente riceve sostanza dall'idea fondante della *translatio*.

Il discorso si fa qui complesso, e deve essere drasticamente semplificato. Diciamo dunque che Petrarca è precisamente l'intellettuale che ha messo a fuoco il tema della *translatio* del sapere dalla Grecia a Roma e da Roma alla modernità e che, entro l'orizzonte europeo, è stato capace di agire di conseguenza rivendicandola per intero, quella epocale *translatio*, all'Italia. Lo fa sin dall'inizio, a partire dalla stagione che diremmo 'romana' dell'*Africa*, del *De viris*, dei *Rerum memorandarum libri*, e proseguirà instancabile per tutta la vita, sino alle violente polemiche della vecchiaia, segnatamente il *De ignorantia* che rivendica contro lo scientismo moderno il valore perenne dell'etica classica fecondata dal cristianesimo, e il *Contra eum qui maledixit Italie* che in nome di una continuità spirituale tutta da riscoprire è interamente impegnato a condannare in maniera dura e persino feroce la presunta egemonia culturale

francese: della *translatio* solo l'Italia, invece, custodisce la chiave segreta e il desiderio, e può dunque prepararsi a farne il lievito potente della rinascita. Tutto Petrarca, insomma, può ben essere letto alla luce di una programmatica volontà di *translatio* che irrompe nel quadro culturale d'Europa e lo sovverte e lo rinnova, e il successo dell'operazione mostra come meglio non si potrebbe l'incerta sostanza e l'equivoca ideologia che aveva sin lì regolato i conti con l'eredità classica. Di ciò non è tuttavia possibile parlare in questa occasione come si dovrebbe, ed è perciò meglio stringere il discorso attorno a qualche nodo specifico, come quello dell'incoronazione romana del 1341, e il relativo significato simbolico e la carica polemica dello scontro tra Parigi e Roma che Petrarca mette allora in scena. È vero: nell'immediato Petrarca non polemizza affatto, e si dipinge come effettivamente dispiaciuto nel declinare l'invito parigino. Ma le cose sono quelle che sono, clamorosamente evidenti. Da una parte sta Parigi, la capitale politica e culturale del mondo moderno, e il concreto prestigio della sua Università. Dall'altra, una sorta di città inesistente, un puro nome: Roma e, in Roma, il Campidoglio. Ma un nome capace da solo di evocare un *altro* mondo, un'*altra* dimensione dello spirito... Petrarca non ha in realtà alcuna esitazione, e dobbiamo immaginarlo perfettamente consapevole della portata del suo gesto quando mostra di rifiutare Parigi e di scegliere Roma. Si tratta infatti, né più né meno, della clamorosa rottura nei confronti di uno dei più solidi miti culturali correnti e insomma di una dichiarazione di guerra che se per il momento è tutta implicita, affidata più ai fatti che alle parole, non tarderà a diventare esplicita ed a svilupparsi negli anni in maniera limpida e coerente. Si osservi intanto che anche per Petrarca Parigi è stata una capitale del sapere, ma in senso affatto negativo: è stata infatti la capitale dell'"*insanum et clamosum scolasticorum*

vulgus”, e cioè del detestabile sapere di tipo dialettico e sillogistico contro il quale egli, “in confinio duorum populorum”, ha instancabilmente contrapposto la necessità della *translatio*, e cioè del ritorno al dimenticato patrimonio della cultura classica, finalmente inteso nella sua vera e sempre attuale essenza. Tutto quanto era stato detto nei secoli precedenti della Parigi *parens* e *fons scientiarum* e, nelle bolle papali, reincarnazione della biblica Cariath Sefer, è di colpo ribaltato con un gesto la cui plurima oltranza polemica e addirittura eversiva non è stata forse percepita sino in fondo. Petrarca, infatti, attacca contemporaneamente su due fronti, perché da un lato contesta il valore di quel sapere scolastico del quale l’Università di Parigi era il monumento, ma irrompe pure in un campo che sino a poco tempo prima (è opportuno ricordarlo) era stato dominato dall’iniziativa politica, culturale e giuridica dei ‘regalisti’ francesi, i quali alla doppia guerra contro l’universalismo imperiale e quello papale avevano accompagnato una parallela opera di costruzione di una forte e articolata ideologia nazional-monarchica – la stessa che, su altro piano, già aveva suscitato l’irriducibile opposizione di Dante. Si che, a differenza di come talvolta la si pensa, l’iniziativa di Petrarca è diretta contro un sistema tutto francese già ampiamente collaudato, che con qualche schizofrenia rivendicava per sé e però insieme tendeva a emarginare una possibile continuità ‘romana’, non negandola ma risolvendola interamente entro la centralità prima carolingia e poi capetingia. Petrarca coglie lucidamente i termini di una siffatta schizofrenia, ancora evidente, per esempio, nelle simpatie francesi, tutte leggibili in chiave anti-romana, per la figura di Alessandro Magno, e contesta alla radice le valenze culturali e in senso lato civilizzatrici di quella pretesa centralità. Né si tratta, in lui, di una battaglia circoscritta o peggio episodica. Tutt’altro. Ogni suo atto lo caratterizza,

per quanto qui c'è interesse, come il solitario e però vittorioso campione di una *translatio* in chiave italiana che gli appare, a quel punto, ancora irrealizzata e però indifferibile. Non si tratta dunque di andare in cerca di citazioni: senza esagerazione, ogni scritto di Petrarca sta dentro questo orizzonte, dalle opere 'romane' della prima maturità, come s'è detto, alle polemiche della vecchiaia. E ogni scritto va letto sullo sfondo di un'Italia divisa e tormentata nella quale lo 'stato regionale' dei Visconti poteva apparire come la realtà più ampia e solida, entro un'Europa in cerca di ricomposizioni territoriali e identità nazionali che si stavano rivelando ancora incerte e difficili. In questa situazione, l'iniziativa assolutamente geniale – politicamente geniale, prima di tutto – di dar corpo a una *renovatio* per dir così transpolitica, che prevedeva la formazione di una *societas* di intellettuali tendenzialmente disancorata da condizionamenti e compromessi con i poteri locali, non poteva non avere successo, tanto più che tale iniziativa era condotta con una consapevolezza e una capacità realizzatrice perfettamente adeguate allo scopo. Insomma, la mancanza di una diretta sponda politica si è trasformata nell'ingrediente più importante del successo del progetto, e ne ha liberato le potenzialità. La grande proposta della *mise au jour* di un retroterra fondante e invero essenziale per un'idea di civiltà che si rifacesse ai modelli della romanità e avesse al proprio centro una corrispondente 'idea' dell'Italia che a sua volta anticipasse le attese e i bisogni della nascente Europa, ebbene, tutto ciò scavalcava in un sol colpo i mille problemi di un *puzzle* politico tanto complicato quanto al momento irrisolvibile, e affrontava per la prima volta l'ordine vero della *translatio*. In altri termini, potremmo ben ripetere che Petrarca appare come l'unico che veramente ha capito che cosa l'altrimenti impossibile 'patria italiana' potesse significare e quale somma di adempimenti comportasse, e ha

dedicato la vita a metterla in atto. Così, si deve a lui se nell'immaginario collettivo, non importa quanto semplificatorio e grossolano, il Rinascimento italiano è apparso a lungo e forse tuttavia appare come il terzo momento forte della nostra civiltà occidentale, dopo la Grecia e dopo Roma. E in ciò, senza dubbio, egli ha contribuito in maniera decisiva a fare dell'*umile* Italia per la quale Camilla e Turno, Eurialo e Niso sono morti, una patria.

Газтано Леттѣри,
Университет Сапиенца, Рим

**«ПЕРЕВОРАЧИВАЯ СТРАНИЦУ»
«МАНДРАГОРА» – ПРИДВОРНАЯ КОМЕДИЯ И
ПАРОДИЯ НА «ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ»**

*«Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей
наших всякие превосходные плоды, новые и старые»
(«Песнь Песней» 7,13)*

«Мандрагора» – это придворная комедия¹, которая, подчиняясь энкомиастическому коду, демонстрирует поддающуюся расшифровке праздничную символику и нацелена на достижение точной политической цели. Не умаляя ее выдающихся литературных качеств и автономной комической и драматической силы, она может быть по-настоящему понята только как развитие последовательной стратегии Макиавелли, который стремился и дальше размышлять о политике и заниматься ею. Он добивался сотрудничества с Медичи, чтобы войти в *орбиту курии и властного аппарата папы Льва X*, который стал единственным арбитром политических судеб и решающим субъектом итальянской и международной политики. Выдвинутый здесь тезис вписывается в рамки более обширного и идущего «против течения» проекта,

¹ Уже после выступления с этим докладом в Москве 24 сентября 2019 г. я опубликовал расширенную большую статью на эту тему: *Lettieri G. Il Cantico dei cantici chiave della Mandragola. Callimaco figura del papa mediceo, voltando carta tra lettera erotica e allegoria cristologico-politica // Machiavelli Niccolò. Dai “castellucci” di San Casciano alla comunicazione politica contemporanea / Ed. A. Guidi. Manziana, 2019. P. 43–100.*

направленного на выявление смысла продолжительной и интенсивной деятельности Макиавелли на политико-дипломатической службе у двух пап Медичи² и ставящего своей задачей а) вписать его театральный шедевр в контекст его литературного творчества (начиная с «Государя» и заканчивая поздним «Увещанием о покаянии»; и 2) объяснить его в свете исторической ситуации во Флоренции и в Римской курии, в которой была задумана комедия, и во всяком случае внутри которой она была переосмыслена и представлена в качестве «внутриаппаратного» сочинения в 1520 г.

Слишком часто недооценивается важнейший исторический факт: первое публичное представление «Мандрагоры» состоялось в Ватикане в присутствии папы Льва X именно в 1520 г. Об этом нам сообщает подробное «Письмо Баттисты делла Паллы к Макиавелли от 25 апреля 1520 г.», из которого следует, что в указанном году «Мандрагора» – которая, по словам Паоло Джовио, была недавно показана во Флоренции по поводу карнавала, во всяком случае явно в частном и более узком контексте – оказалась избранной для сценической постановки, и возможно, ей было отдано предпочтение перед комедией кардинала Библиены «Каландрия»³. Такая удача была

² *Lettieri G. Nove tesi sull'ultimo Machiavelli // Storia del cristianesimo e storia delle religioni. Omaggio a Giovanni Filoramo = «Humanitas». Vol. 72 (5/6) / Ed. R. Parrinello. 2017. P. 1034–1089; Lettieri G. Machiavelli interprete antiluterano di Erasmo. L'Esortazione alla penitenza (1525) epitome della De immensa Dei Misericordia Concio (1524) // Giornale critico di storia delle idee. 2017. № 17/18. P. 27–103; Lettieri G. Machiavelli in gioco. Un agente segreto papale a Venezia (1525) // Storia e Materiali di Storia delle Religioni. Vol. 84 (2). 2018. P. 688–729.*

³ Символическая связь с «Каландрией» во всяком случае несомненна: для Макиавелли, «судорожно пытавшегося заручиться благосклонностью медичейского двора. «Мандрагора» была комедией, с

достигнута благодаря посредничеству кардинала Джованни Сальвиати, племянника папы, носившего кардинальский титул святых Космы и Дамиана, покровителей семейства Медичи. В свое время на основании убедительных доводов уже было предложено датировать первое или основное представление «Мандрагоры» 27 сентября 1520 г.⁴, как раз днем святых Космы и Дамиана, во время понтификата Льва X по традиции отведенным для постановки комедий в ватиканском дворце. Действительно, в этот день 27 сентября в двух шагах от Сикстинской капеллы была представлена «комедия на вольгаре» (по свидетельству венецианца Маркантонио Микиеля), за которой последовало пышное празднество при участии музыкантов, переодетых медиками (вспомним о сюжете «Мандрагоры», намекающем на фамилию владетельной семьи). Это произошло сразу после торжества бракосочетания Луизы Сальвиати (по свидетельству Бальдассаре Кастильоне), сестры кардинала Джованни, в присутствии их дяди Льва X. Таким образом, становится понятной ключевая роль Джованни Сальвиати в качестве патрона праздничных постановок в честь папы Медичи и брата невесты, а также племянника понтифика и

которой приходилось «сравниваться», согласно теории Библиены». *Bottoni F.* La messinscena del Rinascimento. II: Il segreto del diavolo e “La Mandragola”. Milano, 2006. P. 168.

⁴ *Blackburn B. J.* Music and Festivities at the Court of Leo X: a Venetian View // *Early Music History*. Vol. 11. 1992. P. 1–37. В приложении, на с. 33–34, Блэкберн приводит длинный отрывок из «Дневников» Маркантонио Микиеля, сохранившихся в рукописи венецианской Библиотеки Корпер Ms 2848, ff. 340v–341r. Ср. также: *Bryan R. O.* The Medici Pope, Curative Puns, and a Panacean Dwarf in the Sala di Costantino // *Southeastern College Art Conference Review*. Vol. 16(5). 2015. P. 590–606, в частности, p. 592–593.

близкого друга Макиавелли⁵.

После того, как мы вернули гениальной комедии Макиавелли то место, которая она занимала на ватиканской сцене, нам будет проще разобраться в плотном сплетении содержащихся в пьесе аллюзий и символов, отголосков религиозных текстов, подвергающихся пародийному осмеянию, даже профанации, или положительному переосмыслению. В этой связи я присоединяюсь к тезису (в свое время выдвигавшемуся Сумбергом, Парронки, Бертелли, Лордом, Перокко)⁶ о том, что комедия Макиавелли была одновременно весьма оригинальным прославлением политической власти Медичи; однако я уточняю этот тезис, впервые выдвигая предположение, что подлинным адресатом комедии был не Лоренцо,

⁵ Ср. письмо Lettera di Niccolò Machiavelli a Lodovico Alamanni del 17 dicembre 1517 // *Machiavelli N. Opere* / Ed. C. Vivanti. Torino, 1999. Vol. II. P. 356–357, в котором описывается собрание кружка из Садов Ручеллаи, близких флорентийских друзей Макиавелли, в Риме у «преподобного Сальвиати», и особенно письмо Lettera del cardinale Giovanni Salviati del 6 settembre 1521 // *Machiavelli N. Opere...* Vol. II. P. 379–380, в котором автор осыпает Макиавелли, дружески названного «мой мессер Никколò», похвалами за сочинение «Искусства войны»; письмо заканчивается заверением в искренней дружбе: «Помните, что одно из самых сильных моих желаний – чем-то Вам угодить».

⁶ Ср. *Sumberg Th. A. La Mandragola: An Interpretation // Review of Politics*. Vol. 23/2. 1961. P. 320–340; *Parronchi A. La prima rappresentazione della Mandragola. Il modello per l'apparato, l'allegoria // La Bibliofila*. Vol. 64. 1962. P. 37–86; *Bertelli S. When did Machiavelli write Mandragola? // Renaissance Quarterly*. Vol. 24/3. 1971. P. 317–326; *Lord C. On Machiavelli's Mandragola // The Journal of Politics*. Vol. 14/3. 1979. P. 806–827; *Perocco D. Vom Principe zur Mandragola: das Öffentliche und das Private, die politische und literarische Theorie "d'un uomo che voglia parer saggio e grave" // Texturen der Macht: 500 Jahre "Il Principe" / Hrsg. J. Frömmer, A. Oster. Berlin, 2015. P. 141–154.*

герцог Урбинский (он умер 4 мая 1419 г.), а сам папа, верховный владыка христианства, ведущий персонаж итальянской политики второй декады XVI в. и истинный глава семьи, к 1520 г. уже не имевшей светской опоры в лице кого-либо из ее взрослых членов. (Некоторое исключение составлял кузен папы, кардинал Джулио Медичи, всё сильнее сближавшийся с Макиавелли⁷ и уже в эти годы напоминавший политико-теологического «кентавра»; в декабре 1521 г. во главе папского войска он с победой вошел в освобожденный от французов Милан). Написанная автором «Государя» и поставленная в Ватикане комедия не могла не превозносить власть понтифика и его *libido dominandi*, учитывая политические и территориальные аппетиты семейства, которое занимало господствующее положение в Италии того времени.

Существует, однако, серьезный довод против такого аллегорически-хвалебного прочтения «Мандрагоры»: каким образом столь чуждая предрассудкам, проникнутая эротизмом, кощунственная, если не богохульная комедия могла быть показана перед папой в качестве скрытого восхваления христианского принцепса, тем более если она написана таким автором, как Макиавелли, не очень отзывчивым на религиозные запросы, чтобы не сказать атеистом? Подлинные мнения Макиавелли по вопросам веры, каковы бы они ни были, вписывались в выстроенную им систему его собственного христианского мира, его общества, политики, в которой он действо-

⁷ “Ho preso commissione di dire al cardinale de’ Medici da parte di sua Santità, come io sarò costì, che gli fia molto grato che horamai la buona volontà, che ha sua Signoria Reverendissima di farvi piacere, habbia effecto” (*Palla B. della*. Lettera a Niccolo Machiavelli del 26 aprile 1520); значит ли это, что Джулио Медичи не присутствовал на первом флорентийском представлении для узкого круга лиц и не рекомендовал папе постановку в Ватикане?

вал и хотел действовать дальше (разумеется, вдохновляясь уроками древних римлян), ибо христианские коды нельзя было игнорировать или обойти, тем более что политические судьбы экс-секретаря Синьории полностью зависели от всемогущего во Флоренции папы Медичи. Более того, применительно к десакрализирующей природе комедии, я полагаю, можно говорить о двойной пародии: а) об эротическом истолковании традиционных религиозных образов, тем и текстов, которые при внимательном прочтении с точки зрения богословия обнаруживаются в тексте повсеместно; б) о заключительном превращении эротической пародии в политико-теологическую, или лучше сказать, в папско-христологическую аллегорию. Поскольку лишь хвалебное превознесение папы может оправдать и придать не непристойный, а, напротив, жизнеутверждающий характер (присущий религиозной и социальной культуре Флоренции) настойчивой игре с метафорами, легитимирующими любовное желание и сексуальное удовольствие. Итак, только двоякое, откровенно эротическое и одновременно политико-христологическое истолкование может прояснить исторические обстоятельства, которые позволили представить «Мандрагору» в Риме, в двух шагах от Сикстинской капеллы, со времен Сикста IV понимавшейся как новый иерусалимский Храм, более славный, чем храм Соломона (который, согласно еврейской и христианской традиции, заметим, был автором и героем «Песни Песней»), олицетворение Христа и самого папы.

Исходя из такой перспективы, будет проще понять, сколь плотным, систематичным и последовательным является сплетение библейских, марианских и христологических аллюзий, которым проникнута (начиная с названия!) «Мандрагора», чей глубинный, энкомиастический

и продуманно политический замысел может быть расшифрован с помощью ключа, скрытого в Соломоновой «Песни Песней», где именно корень мандрагоры предстает в качестве пахучего афродизиака, символа сексуального совокупления. В самом деле, «Песнь Песней» – самая двусмысленная книга Библии: самая *плотская, сексуально откровенная* и поэтому *наиболее богатая аллегориями, одухотворяемая*, ведь пылающий вождением Соломон, охваченный вместе с возлюбленной лихорадочным эротическим чувством, в тысячелетней христианской традиции рассматривался в качестве *образа* Христа, а папа – его наместника, который «плотски» (как глава живого тела) соединяется со своей женой, отождествляемой с церковью/спасенным человечеством/самой Марией, матерью, дочерью и невестой Христовой. Прочтение комедии как последовательной религиозной пародии на «плотскую» любовь и мистическое бракосочетание Христа и Марии/церкви позволяет, наконец, (и впервые!) признать, что подлинным адресатом этой хвалебно-политической драмы и следовательно, реальным историческим персонажем, на которого намекает *действующее лицо* «медик» Каллимако – новый «молдчик, жезл, ключ, стебель» *мадонны* Лукреции – является не герцог Лоренцо, но именно Лев X, уже воспетый в XXVI главе «Государя» как «принцепс» Церкви, призвание которого состоит в том, чтобы возглавить военно-политическое «избавление» чахнувшей Италии, вверенной «Дому» Медичи и его в полном смысле харизматическому предводителю.

Таким образом, я полагаю, что ключом к интерпретации пьесы служит то же, что сам Макиавелли в «Письме к Франческо Веттори от 31 января 1515 г.» предлагает для истолкования его эпистолярия: «при переворачивании страницы» все «чувственное, легкомысленное, сует-

ное» уступает место «серьезному, достойному, великому», то есть тема сексуального влечения сменяется возвышенной политической конструкцией, и эротический герой выступает в *образе* политического вождя (в самом письме речь идет о Джулиано как будущем главе герцогства Эмилии). Примечательно, что такие же переходы от «пустого и чувственного времяпрепровождения к серьезному», от «удивительного пристрастия к любовным утехам» к проявлению «необыкновенных достоинств» характеризуют привлекательный портрет Лоренцо Медичи, завершающий «Историю Флоренции» (VIII,36); и прежде всего «в нем как бы сочетались два разных человека, соединенные почти немислимым образом»; кажется, что эта формулировка пародирует, хотя и приблизительно, воспроизводя избирательную (и уже медичейскую!) метафору кентавра из XVIII главы «Государя», христологическую пародию на сочетание в персоне Христа божественной и человеческой природы. Не случайно уже в Прологе «Мандрагоры» Макиавелли возвращается к этому противопоставлению *пустого и серьезного, суетного и доблестного* и к обстоятельствам, мешающим ему обратить свой взор от первого ко второму. Тем не менее, в комедии происходит именно такое *превращение*: перевод эротического/чувственного в благородную и величественную богословско-политическую литургию, в панегирик могуществу папы Медичи, которым заключается пьеса.

Здесь невозможно подробно рассмотреть по пунктам, насколько «Мандрагора» изобилует библейскими и теологическими отсылками, особенно к «Песни Песней», на протяжении полутора тысячелетий истолковывавшейся в христианской традиции как благочестивое восхваление Христа и его невесты (церкви, души, Марии) с последовательным использованием сексуальной символики. На-

звание и эпилог комедии; *resignatio ad infernum* (готовность к адским мукам) ради любви, сильной как смерть и «соперничающей» с благородными грешниками; «воинский кортеж», похищающий и силой ввергающий в альков красавицы лихорадочно подыскиваемого любовника; «поющий музыкант», бродящий по улицам ночью; проникновение в дом через кладовую/кухню, воплощение эротических «яств и напитков»; обнажение и одобрение *белоснежного* и «*румяного*» тела новобрачного; ощупывание детородных органов, внедрение в «материнскую» постель и проникновение рукой в «*foramen*» (отверстие) невесты; обрядовое «таинство» «святого и сладостного» ночного совокупления с намеками на дверь и ключ, на поцелуй, на мир и на ночное истечение из полового члена/фаллоса; марианское возрождение «прекрасной, благородной, нежной» Лукреции и христологическое возрождение стебля, цветка, ключа, жезла/трости Каллимако, обретающего способность бить/толкать и оплодотворять с аллюзией на «животворящий Дух», на порождающий цветок/пенис посоха святого Иосифа/Ничи из легенды об «Обручении девы Марии во Храме» (мы вернемся к этому ниже).

Здесь я поясню только три из перечисленных выше пунктов.

а) В начале IV действия Каллимако произносит поразительный монолог, в котором объявляет о решении во что бы то ни стало удовлетворить свою любовную страсть к Лукреции и о готовности умереть и сойти в ад, где, впрочем, находятся многие благородные люди: «Самое худшее, если ты умрешь и попадешь в ад, но умирало и множество других! В аду столько порядочных людей! Неужели ты стыдишься туда попасть?» Для меня очевидна отсылка к *Песн.* 8,6: «Ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность» (“*Quia fortis*

est ut mors dilectio dura sicut inferus aemulatio”). Термин *aemulatio*, который обозначает ревность, разрушительную зависть и желание подражать подводит к упоминанию о благородных узниках ада, к которым Каллимако готов присоединиться, демонстрируя, что его любовь *крепка*, как и должна быть любовь подлинно зрелого мужа.

б) Ночь любви двух новобрачных охарактеризована как «таинство» братом Тимотео: очевиден намек, хотя и пародийный, на ночное совокупление в качестве религиозного обряда, каковым в течение многих столетий и представлялась «Песнь Песней» (напомним также о литургической пародии в пятой песне после IV действия, «О сладкая ночь, о святые часы»). Сцены вступления Возлюбленного или Возлюбленной во дворец любви в «Песни» (например, «царь ввел меня в чертоги свои» (“*Introduxit me rex in cellaria sua*”, 1,3); «Он ввел меня в дом пира» (“*Introduxit me in cellam vinariam*”, 2,4) спародированы в процедуре введения «молодчика» мессером Ничей в дом, затем в «чулан», и наконец, в комнату и на ложе, с раздеванием Каллимако, похвалами его бело-снежному и румяному/белому, мягкому и нежному (*candidus et rubicundus/bianco, morbido, pastoso*) телу, с «прикосновением рукой» к его гениталиям, и «глубоким прощупыванием» в момент, когда член молодчика проникает в Лукрецию: «я решил прощупать всё». Оставляя в данный момент вопрос о подражании «Каландрии» как образцу, напомним, что касание рукой половых органов возлюбленного/возлюбленной весьма характерно для «Песни Песней», где о любящем, с использованием метафор ключа, замка и отверстия, говорится, что он вводит руку в лоно любимой “*misit manum suam per foramen*” (5,4).

в) Отнюдь не случайно I сцена V действия совпадает с длинным монологом фра Тимотео, посвященным культуре Приснодевы, но заканчивающимся вполне откровенной эротической остротой: «Однако они запаздывают с последними каплями, а ведь уже светает» (V,1,2,14). Эта сцена напоминает знаменитый эротический образ «Песни», в котором голова, очевидно, символизирует фаллос: «голова моя вся покрыта росой, кудри мои – ночью влагою... Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка» (“Quia caput meum plenum est rore et cincinni mei guttis noctium... Surrexi ut aperirem dilecto meo. Manus meae [dell’amata] stillaverunt murra digiti mei pleni murra probatissima”, 5,2 и 5). Именно потому, что затянувшееся истечение *ночной влаги*, капающей с члена/фаллоса возлюбленного, прекращается, *наступает рассвет*.

Итак, сексуальная метафора является ключевой темой Макиавеллиевой комедии. Настоящая *мандрагора*, способная оплодотворить Лукрецию, это пенис Каллимако, побег (*virga*, не случайно это слово используется в одной из двух ученых цитат «медика» Каллимако, которые, как я смог установить, позаимствованы из “Liber sanonis” – «Канона врачебной науки» Авиценны), *caput*, половой орган, мужская могучая животворящая *virtus* (доблесть) медика, которой нет у Ничи. Было подчеркнуто, что как раз «Песнь Песней» позволяет сочетать сексуальный *булказим* любовного желания и эротических объятий с рискованной *аллегорией*, соотносящей с Христом и с церковью, представляемой Марией, связь любовника и его возлюбленной. В самом деле, Лукреция в «Мандрагоре» явно наделена марианскими чертами, а любовник-«медик» Каллимако, сластолюбивый обманщик, парадоксальным образом становится христологическим

двойником, мистическим женихом-«спасителем» и одновременно «долгожданным и возвещенным сыном» прекраснейшей из женщин, исполненной благодати, которую сам Нича называет «благословенной». Таким образом, пародийные отсылки к «Песни» обретают смысл только в том случае, если «медик» Каллимако отождествляется с молодым и всесильным *самцом*, то есть с медичейским «мессией», с заместителем Христа, папой, который входит в Святая святых, чтобы «вступить в брак» с Лукрецией и сделать ее матерью.

И вот в последнем действии комедии *страница переворачивается*: до сих пор речь постоянно шла о пародийном подражании *Благовещению* Девы Марии, но в заключение воспроизводятся два эпизода возвышенно-литургического характера (что уже отмечалось Перокко, Баратто, Триоло, Алонжем, Ньюбигином, Стоппелли и Боджоне), спародированными а) во вступлении в Святая святых «очистившейся» Лукреции, которая представляет свое чадо «мужского пола» и б) в парадоксальном обряде «обручения» с ней Каллимако, совершенном самим Ничей.

а) Образец первого восходит к Библии, а именно к *Евангелию от Луки* 2,22–23, где описывается очищение Приснодевы и принесение Иисуса в Храм, причем евангельский текст цитирует *Исход* 13,2, с изображением Христа в качестве младенца мужского пола, разверзшего ложезна (то есть первенца Господа и Марии!).

б) Образцом для второго послужили некоторые новозаветные апокрифы («Протоевангелие Якова», «Евангелие Псевдо-Матфея», «Евангелие о детстве Марии»), опосредованные «Золотой легендой» Якопо да Варатце и богатой литературной и иконографической позднесредневековой и ренессансной традицией, включая Аретино. Это бракосочетание Марии, последовавшее за чу-

десным цветением посоха Иосифа, на который садится голубка, сиречь атрибут Святого Духа⁸, явно отсылающий к стихам *Исайи* 11,1–2, которые в христианской традиции интерпретируются преимущественно в мессианском духе, отождествляющем Христа с *цветком*, произрастающим из *стебля* Иессева. Как и в «Мандрагоре», Дева Мария обручается с «двояким» женихом, стариком Иосифом (Нича) и Святым Духом (голубем/цветком из *стебля*), *мужским началом* (Каллимако, муж, рождающий мужа).

В самом деле, в конце V действия Каллимако и/или обретенный благодаря ему /так!/ сын в двусмысленных выражениях сравниваются с «юным отпрыском», с посохом, со стеблем (то есть побегом/цветком) – все это сексуальные, *но и* христологические метафоры. Таким образом, два чрезвычайных «эротических» преимущества, коими наделен Каллимако (его мужские достоинства), заключаются в том, что он снабдил Ничу и Лукрецию посохом/*стеблем*, то есть получил ключ к земным чертогам, – это явный намек на лоно Лукреции. Эти неприкрытые аллюзии относятся *также* к богословско-понтификальной символической, что наглядно подтверждают фрески на боковых стенах Сикстинской капеллы (близости от которой состоялось представление «Мандрагоры»), той «Святыни», где многократно изображены *посох* Моисея/Аарона (ритуализованный в посохе Иосифа в обручении Богородицы) и передача ключей (*claves*) от церкви Петру. Поэтому невозможно поверить, чтобы чередование двух самых известных символов папской власти, как и эротические и одновременно христологиче-

⁸ В итальянском тексте *ucello*, «птица», – как и в некоторых других языках, жаргонное обозначение полового члена, которое может служить образным метафорическим эвфемизмом. Прим. ред.

ские отсылки к *мужественности* случайны, учитывая адресат и контекст мизансцены, папу и курию: восхваление любовного *ключа* становится панегириком *ключей* понтифика, а двусмысленные намеки на сексуальную *мужественность*, *посох/побег*, *стебель* указывают *также* на характерные папские символы.

Однако вернемся к последней двусмысленной фразе «Мандрагоры», которую произносит фра Тимотео у входа в Святыню, обращаясь к своей сообщнице Сострате: «Вы привили новый побег к старому дереву». Здесь очевиден намек на взаимоотношения между Ничей (старым деревом), Каллимако (побегом как синонимом юношеской любовной силы) и Лукрецией («радующейся» привитому цветку, о чем говорит ее мать!). В то же время фра Тимотео, ученый доминиканец (Инглезе, Стоппелли), своими «богословскими» рассуждениями побуждает к раскрытию глубинного сакрального смысла происходящего. Сакральные мотивы выступают на первый план при сопоставлении с «Обручением Девы Марии» Таддео Гадди, датируемым 1327–1330 гг.: на нем изображен старик Иосиф со своим расцветшим посохом и усевшимся на нем голубем Святого Духа, по знаку первосвященника он прикасается к руке Марии, оплодотворенной этим «посохом» точно так же, как в шестой сцене Пятого действия «Мандрагоры», воспроизводится «мистический» тайный обряд брачного избрания, в котором Каллимако, отождествляемый с «ростком», «мистическим» порождающим цветком грядущего “*masculinum*” (мужского начала), по приглашению Ничи касается руки Лукреции, «освящая» ритуальным символом бракосочетания их ночное соитие.



Так вот, упомянутая фреска Гадди находится в флорентийской церкви Санта Кроче, в капелле Барончелли, целиком посвященной жизнеописанию Марии и, что особенно важно, непосредственно соседствующей с капеллой Макиавелли, где был погребен его отец Барнардо и где будет похоронен сам Никколò, которому, таким образом, эта фреска и сцена были прекрасно известны, можно сказать, *близки*.

Вернемся к другой сакральной сцене, спародированной в конце V действия «Мандрагоры» (отсылки в явлениях II, V и VI): это «Принесение во Храм», то есть в «Святыню», «хорошенького мальчишки», будущего рожденного Лукрецией ребенка, а здесь самого Каллимако. Это было совершенно очевидно для зрителей Макиавелли, в основном флорентинцев и приверженцев Медичи, если иметь в виду, что одним из действенных инструментов политической пропаганды и выработки консенсуса, изобретенных Козимо Медичи, была «Компания очищения», куда входили молодые флорентинцы из влиятельных семей. В ее задачу входила организация ежегодного религиозного

представления «Очищение Марии», кульминацией которого было как раз принесение в Святилище *мужского начала*, «прекрасного первенца», божественного мессии⁹, – на него намекало постоянное присутствие христологических образов «цветка/ключа/побега/посоха» в ходе частых религиозных инсценировок и действий, определявших общественную, культурную, духовную жизнь Флоренции. Эти христологические представления должны были культивировать в общественном сознании богословско-политическую идею пришествия «отпрыска»-мессии, будущего провиденциального «*принцеса*», нового Давида, исторического прототипа Христа, который Козимо, Лоренцо, кардинал Джованни соотносили, очевидно, с медичейским *мужским началом*. «Из царского корня пророс цветок/... В нем завязался драгоценный плод/... Посох расцвел/», «пророчески» напевала другая Лукреция, Торнабуони, мать Лоренцо Великолепного и бабка Льва X,

⁹“Cosimo, his descendants, and the Purification were associated in a common messianic mission... The Purification’s mission... legitimized Cosimo’s rule over Florence as the founder of a divinely sanctioned dynasty that would lead Florence to its promised glory” (*Polizzotto L. Children of the Promise. The Confraternity of Purification and the Socialization of Youths in Florence. 1427–1785. Oxford, 2004. P. 63*). Поэтому роль «сыночка» Каллимако/Льва X становится важнейшей из всех возможных, он становится папой, наместником Христа, женихом Церкви и прекрасной Италии; один из Медичи блестяще оправдал мессианские чаяния, распространенные во Флоренции благодаря медичейской пропаганде (а впоследствии и савонаролианской оппозиции) и воплощенные на сцене в «Очищении Марии»: “The Purification of the Virgin and the Presentation of Christ to the Temple are placed in a precise messianic context... Very striking, too, is the messianic tone of the whole *sacra rappresentazione*” (*Ibid. P. 88*). Таким образом, мессианские ожидания переносятся из земного Израиля “to the elect nation of the new dispensation, Florence, the New Jerusalem, in whose very midst the mystery of the Incarnation that had signaled the new age of mankind was being celebrated” (*Ibid. P. 87*).

которая будучи беременна Лоренцо заставила своего мужа Пьеро построить по обету в церкви *Аннунциаты* грандиозную Дарохранительницу для чудесной иконы Марии, которая согласно традиции помогала забеременеть нуждавшимся в этом женам и которой сама Лукреция Кальфуччи «дала обет».

Кроме того, с точки зрения интерпретации «Песни Песней» как *двойного* источника-ключа к «Мандрагоре», мне представляется существенным подчеркнуть, что именно в эти годы книга любовной поэзии Соломона очень часто использовалась в качестве признанного кодекса *как* эротической поэзии, так и христианской мистики и даже политического богословия. Следует указать, прежде всего, важное место в «Придворном» (III,5,83–87) Бальдассаре Кастильоне, в котором после обсуждения куртуазной эротической тематики аллегорически истолковываемая «Песнь Песней» признается вершиной любовной лирики. Аналогичным образом первая редакция «Куртизанки» (1525) Пьетро Аретино, в которой есть явные заимствования из «Мандрагоры», содержит невероятно смешную пародию на «Песнь Песней» в форме гротескного эротического «гимна», вдохновленного страстью папского приближенного мессера Мако де Кое к куртизанке Камилле Пизане. Несомненно, Кастильоне, а вполне вероятно, и Аретино, были зрителями «Мандрагоры» 27 сентября 1520 г. Окончательно убеждает в исключительности роли «Песни» портрет еще одной куртизанки, Барбары Салютати, относящийся к 1525 г., работы Доменико Пулиго и, возможно, заказанный самим Макиавелли¹⁰. Салютати была первой исполнительницей

¹⁰ *Slim H. C.* A Motet for Machiavelli's Mistress and a Chanson for a Courtesan // *Essays Presented to Myron P. Gilmore* / Ed. S. Bertelli, G. Ramakus. Firenze, 1978. Vol. II. P. 452–572; *Niccoli O.* Machiavelli

канцон, прибавленных к «Мандрагоре» в 1526 г. и последней возлюбленной Макиавелли: она изображена с партитурой в руках, на которой воспроизведены несколько стихов «Песни Песней», по традиции относимых к Марии, а здесь использованных, чтобы подчеркнуть выдающуюся красоту и замечательный голос куртизанки!



Переворачивая страницу, можно здесь показать, что «Песнь Песней» не только была объектом эротических пародий, но именно в эти годы использовалась в качестве предпочтительного источника для панегириков правящему понтифику, супругу церкви, начиная с речей, произнесенных на V Латеранском соборе Эджидио да Витербо, Кристофоро Марчелло, Антонио Пуччи – все они были изданы между 1513 и 1515 г., и заканчивая «Книжицей, обращенной к Льву Десятому» (“*Libellus ad Leonem Decimum*”) Кверини и Джустиниани (1513), начиная с письма Гаспаро Контарини к Кверини (1514) и заканчи-

e Barbara: un amore attraverso il canto // *Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma* / Ed. E.M. Dal Pozzolo. Napoli, 2017. P. 106–117.

вая «Фроттолой для Льва X», вышедшей из печати в 1519 г. В целом, хвалебный и торжественный характер «Мандрагоры» вполне созвучен главному своду панегирических образов при понтификах Медичи: папа, викарий Христа, жених-избавитель, спасающий Италию, горемычную невесту, и возвращающий ей свободу и процветание.

Воззвание в заключительной XXVI главе «Государя», таким образом, находится в полном соответствии с ренессансной энкомиастической продукцией Рима (переносимой на папу Дантовское использование метафор из «Песни Песней», адресованное императору как грядущему мессии, спасителю Италии). Макиавелли одновременно секуляризует эту практику (делая упор прежде всего на военно-политической роли нового государя-мессии), но и постоянно подражает ей, поскольку именно исторически закрепленная неограниченная религиозная власть папы превозносится как провиденциальная и фактически как еще одно мощное средство политического влияния. В этом смысле XXVI глава «Государя» полностью созвучна заключительной метафоре «Мандрагоры», произносимой Каллимако, который завоевал и подчинил себе Лукрецию, «задав ей встряску и намяв бока», и вступил в «храм» как *мужественный* процветший посох церкви, чьи ключи принадлежат ему, следовательно, как могучий и плодородный *побег, привитый к старому дереву*, новый Христов отпрыск, мессия, посланный Богом.

В самом деле, «Мандрагора», через посредство Каллимако, переносит на Льва X также и эротический образ из XXV главы «Государя», образ дерзкого молодца, который благодаря своей доблести (обману и сексуальной силе) овладевает фортунной (Лукрецией) и подчиняет ее себе. Такой переносный смысл фигуры Каллимако, хитроумного и *бравого бойца*, совершенно в духе Макиавелли, тем более что уже в «Государе» метафора отважного и неук-

ротимого юноши применена к папе, пожилому Юлию II, который со всей очевидностью представляет собой образцовый прототип доблестного правящего понтифика, *молодого* Льва X, в XXVI главе названного подлинным вождем избавления Италии, разумеется, с помощью своих светских сподвижников (сначала Джулиано, затем Лоренцо). А то что в «Государе» мишенью Макиавелли является именно папа, в полном соответствии с предложенной нами аналогичной интерпретацией «Мандрагоры», подтверждается знаменитой XVIII главой «Государя», в которой кентавр (пародийный образ Христа, сочетающий две природы в одном лице), наполовину человек/«небесное»/разумное существо и наполовину зверь/«земное»/вожделирующее существо олицетворяет папу Александра VI, одновременно льва и лисицу, обманщика, притворяющегося благочестивым, милосердным, добродетельным, и вместе с тем жестокого и кровавого захватчика (вспомним Валентино).

Символическое прочтение глав «Государя» помогает встать на место диалектической структуре, завершающей еще одну, XI главу, посвященную церковным принципатам, в которой Лев X превозносится как личность, соединившая в себе качества двух своих предшественников, лукавого Александра и напористого Юлия, лисицы и льва. Итак, в «Государе» наместники Христовы были выведены как символические образчики светских государей, чтобы потом, *перевернув страницу*, прагматически «ревоплотить» «уродливого» земного кентавра в правящего папу Медичи, способного вызвать к жизни «итальянский дух... ниспосланный Богом для ее (Италии) спасения» (XXVI,3); так, в «Государе» XXVI,8 призыв обращен к «вашему сиятельному дому (Медичи), каковой благодаря своей удаче и доблести, благоволению Бога и церкви, ныне управляемой его представителем, может стать во главе

ее избавления», то есть сделаться неограниченным владыкой Италии. Возможно ли в таком случае, чтобы систематическое присутствие папы в «Государе» не было продолжено в «Мандрагоре», представленной рядом со Святой святых Сикстинской капеллы в присутствии Льва X, к которому, несомненно, относятся глубоко символические образы посоха, побега, ключа, *мужского начала*, обобщенные в том, кто называет себя после ночного «мистического» соединения с Лукрецией «самым блаженным из всех блаженных и самым святым из всех святых»? Разве это не прозрачный намек на того, кого обычно, в том числе в переписке Макиавелли, именовали Его Присноблаженством и Его Святейшеством?

Можно прийти в недоумение от столь экстраординарного смешения святого и профанного, сакрального папского кодекса и циничного закона макиавеллиевского политика, высочайшей политической стратегии и комедии, насыщенной эротикой, однако именно таково метафорическое *правило* рационально-благородного/животно-похотливого *кентавра*, которое определяет понимание политической реальности того времени, которую изучал и в которой действовал экс-секретарь Синьории. Только пост-«контрреформационная» цензурная ментальность, парадоксальным образом зеркально разделявшаяся сторонами конфессиональных и антиклерикальных сближений, – если неправомерно проецировать ее на противоречивую и бурную реальность римского и флорентийского ренессансного христианства, – не позволяет понять пародийной игры, профанирующей и одновременно институционально-литургической, свободной от дуалистического разделения того, что находится в двусмысленном равновесии: *libido dominandi* (вожделение к власти) и сакрально-теологический аппарат, *сексуальная похоть* и

литургическое восхваление политически действенной харизматической власти.

С другой стороны, именно в «Государе», гл. XXI, Макиавелли рекомендует правителю быть «поклонником всех выдающихся доблестей и поощрять лиц, отличающихся во всяком искусстве» (25), далее, «ему следует в подходящее время года занимать народ празднествами и зрелищами... являть образцы щедрости и добросердечия, строго соблюдая, однако, при этом величие своего звания, ибо о нем никогда не следует забывать» (27). И вот Лев X, щедрый меценат, пошел навстречу мэтру политики и драматургии, доверив ему постановку в Ватикане праздничного спектакля, наполненного глубокой символикой; но при этом автор «Мандрагоры» прекрасно понимал, что, развлекая государя и его двор, он никоим образом не должен был забывать о прославлении «величия его сана»: комедия не могла не вылиться в превознесение сакральной власти папы и его растущего политического могущества!

В заключение, то что, на мой взгляд, делает неизбежным принятие «Песни Песней» в качестве ключа к «Мандрагоре» – это не воспроизведение отдельных мотивов и не совпадение, хотя и беспримерное, ряда драматических эпизодов эротической инициации, но сама пародийно «сакральная» структура комедии, которая часто выявляется через фра Тимотео и постоянное использование им богословско-литургических параллелей, кульминацией которых является дублирование *мужского начала*, представленного «во Храме» в христологическом сыне и «супруге» «мадонны» Лукреции. Уже само по себе обращение к традиционной образной экзегезе «Песни Песней» позволяло придать сакральное благолепие (*decus*) представленному перед папой рядом с Сикстинской капеллой парадоксальному и скандальному восхвалению «ночно-

го» сексуального совокупления, дающего, однако, начало невероятному бракосочетанию невесты/матери и жениха/Сына. Постоянных и структурообразующих намеков на *двусмысленную* книгу Соломона уже достаточно, чтобы соединить суетное и важное, чувственное и благопристойное, эротическое и сакральное. Лишившись опоры на перетолкование библейско-теологических смыслов, пародия на все основные христианские таинства как самоцель превратилась бы в грубое сквернословие, и главное, лишилась бы всякой политической и придворной полезности для Макиавелли, который намеревался попасть в орбиту Медичи, то есть папы; в окружение понтифика, Джулио Медичи, Джованни Сальвиати и всей курии, по свидетельству Кастильоне и Аретино, близ Сикстинской капеллы, нового Храма Божьего и сердца христианского мира. *Чем более нечестивой кажется интрига «Мандрагоры», тем более религиозно-благочестивыми должны выглядеть цели ее воплощения, и тем более авторитетным и понятным код их расшифровки, позволяющий «перевернуть страницу».* А это равнозначно признанию «Мандрагоры» вершиной придворной литературы, которой Макиавелли последовательно посвящал себя в эти годы, обращаясь к разным литературным жанрам, от «Государя» до так называемого “*Capitolo Pastorale*” («Пасторального капитоло»), от «Увещения о покаянии» до Пасквинат за 25 апреля 1526 г.¹¹

Перевод с итальянского М. А. Юсима

¹¹ *Lettieri G. Nove tesi sull'ultimo Machiavelli... P. 1035–1055 e 1081–1084.* Углубленное изложение этих тезисов войдет в готовящийся к публикации том, посвященный службе экс-секретаря у Климента VII между 1525 и 1527 г.: *L'ultimo Machiavelli. Un cortegiano del papa in guerra tra Erasmo, Pasquino e don Giovanni.*

Gaetano Lettieri,
Sapienza Università di Roma

“VOLTANDO CARTA”
LA MANDRAGOLA COME COMMEDIA CORTIGIANA E
PARODIA DEL CANTICO DEI CANTICI

«*Mandragorae dederunt odorem in portis nostris*»
(*Cantico dei cantici* 7,13)

La *Mandragola* è una commedia cortigiana¹, che, ubbidendo a un codice encomiastico, esibisce una decifrabile simbologia celebrativa e mira a una precisa finalità politica. Senza nulla togliere alla sua straordinaria qualità letteraria e alla sua autonoma potenza comica e drammatica, essa può essere davvero compresa soltanto se restituita come funzionale alla coerente strategia machiavelliana di continuare a immaginare e a praticare politica, riuscendo ad *essere adoperato* dai Medici, entrando quindi nell’orbita della curia e dell’apparato di potere di papa Leone X, divenuto unico arbitro delle sorti politiche fiorentine e soggetto decisivo delle vicende italiane e internazionali. La tesi qui avanzata rientra all’interno di un progetto più ampio e “controcorrente” di riscoperta della duratura e intensa attività di Machiavelli al servizio politico-diplomatico,

¹Successivamente alla lettura di questo testo a Mosca, il 24 settembre 2019, ho pubblicato un ampio saggio che lo approfondisce. Cf. *Lettieri G.* Il Cantico dei cantici chiave della Mandragola. Callimaco figura del papa mediceo, voltando carta tra lettera erotica e allegoria cristologico-politica // Machiavelli Niccolò. Dai “castellucci” di San Casciano alla comunicazione politica contemporanea / Ed. A. Guidi. Manziana, 2019. P. 43–100.

culturale, militare dei due papi medicei² e muove dall'esigenza a) di contestualizzare il suo capolavoro teatrale all'interno della restante produzione letteraria (tra il *Principe* e la tarda *Esortazione alla penitenza*); e b) di ricollocarlo all'interno del contesto storico, fiorentino e romano curiale, nel quale e per il quale la commedia fu concepita, o quanto meno ridefinita e rappresentata nel 1520, quale scritto d'apparato.

Troppo spesso si sottovaluta un dato storico di grande rilevanza: la prima rappresentazione "pubblica" della *Mandragola* si tenne in Vaticano, alla presenza di papa Leone X, nel 1520. Su di essa ci informa una fondamentale *Lettera di Battista della Palla a Machiavelli del 25 aprile 1520*, ove si evince come quell'anno la *Mandragola* – che, a detta di Paolo Giovio, era stata appena rappresentata a Firenze, forse in occasione del Carnevale, comunque in un contesto privato evidentemente ristretto – fosse stata scelta come commedia da mettere in scena, forse prevalendo su una nuova rappresentazione della *Calandria* del cardinale Bibbiena³. Questo prestigioso risultato era stato raggiunto

² Lettieri G. Nove tesi sull'ultimo Machiavelli // Storia del cristianesimo e storia delle religioni. Omaggio a Giovanni Filoramo = «Humanitas». Vol. 72 (5/6) / Ed. R. Parrinello. 2017. P. 1034–1089; Lettieri G. Machiavelli interprete antiluterano di Erasmo. L'Esortazione alla penitenza (1525) epitome della De immensa Dei Misericordia Concio (1524) // Giornale critico di storia delle idee. 2017. № 17/18. P. 27–103; Lettieri G. Machiavelli in gioco. Un agente segreto papale a Venezia (1525) // Storia e Materiali di Storia delle Religioni. Vol. 84 (2). 2018. P. 688–729.

³ Il rapporto con la simbolica *Calandria* era comunque obbligato; per un Machiavelli, "spasmodicamente impegnato ad ottenere il favore della corte medicea, la *Calandria* era la commedia con cui urgeva lo 'stare a paragone' teorizzato dal Bibbiena" (Bottoni F. La messinscena del Rinascimento. II: Il segreto del diavolo e "La Mandragola". Milano, 2006. P. 168).

grazie alla mediazione del cardinale Giovanni Salviati, nipote del papa e detentore del titolo dei Santi Cosma e Damiano, protettori della famiglia Medici. È già stato proposto, con argomenti convincenti, di datare la prima o principale rappresentazione romana della *Mandragola* al 27 settembre 1520⁴, giorno consacrato appunto ai santi Cosma e Damiano e quindi tradizionalmente deputato, durante il pontificato di Leone X, alla messa in scena di commedie presso i palazzi vaticani. Ebbene, quel 27 settembre, una “comedia vulgare” (testimonianza del veneziano Marcantonio Michiel), seguita da una sontuosa festa con musicisti tutti vestiti da medici (si pensi al tema della *Mandragola*, allusiva al nome della famiglia dominante), fu messa in scena a due passi della Sistina, subito dopo la celebrazione del matrimonio di Luisa Salviati (testimonianza di Baldassare Castiglione), sorella del cardinale Giovanni, alla presenza dello zio Leone X. Comprendiamo, pertanto, il ruolo chiave di Giovanni Salviati, nella sua funzione di patrono delle messe in scena celebrative della gloria pontificia medicea e fratello della sposa, nonché nipote del papa e intimo amico di Machiavelli⁵.

⁴ Blackburn B. J. *Music and Festivities at the Court of Leo X: a Venetian View* // *Early Music History*. Vol. 11. 1992. P. 1–37; in appendice, p. 33–34, Blackburn riporta il lungo passo dei *Diarii* di Marcantonio Michiel, contenuti nel Ms 2848, ff. 340v–341r, custodito presso la Biblioteca Correr di Venezia. Cf. inoltre Bryan R. O. *The Medici Pope, Curative Puns, and a Panacean Dwarf in the Sala di Costantino* // *Southeastern College Art Conference Review*. Vol. 16(5). 2015. P. 590–606, in part. p. 592–593.

⁵ Cf. Lettera di Niccolò Machiavelli a Lodovico Alamanni del 17 dicembre 1517 // *Machiavelli N. Opere* / Ed. C. Vivanti. Torino, 1999. Vol. II. P. 356–357, ove la cerchia oricellaria degli intimi amici fiorentini di Machiavelli si raduna a Roma intorno al “Reverendissimo de’ Salviati”; e soprattutto Lettera del cardinale Giovanni Salviati del 6 settembre 1521 // *Machiavelli N. Opere...* Vol. II. P. 379–380, ove

Ricollocata la geniale commedia machiavelliana sul palcoscenico vaticano, diviene forse più semplice riconoscerci il fitto tessuto di allusioni simboliche e riecheggiamenti religiosi, al tempo stesso comicamente parodiati, persino dissacrati, eppure infine solennemente riattivati. Rilancio, in proposito, la tesi (già sostenuta da Sumberg, Parronchi, Bertelli, Lord, Perocco)⁶ che la commedia sia anche un'originalissima celebrazione allegorica del dominio politico mediceo; specifico però questa tesi proponendo, per la prima volta, che il vero destinatario della commedia fosse non già Lorenzo duca di Urbino (morto il 4 maggio 1519!), ma il papa stesso, *princeps* supremo della cristianità, protagonista decisivo della politica italiana del secondo decennio del cinquecento e vero capo della famiglia, nel 1520 ormai priva di un braccio secolare adulto (con l'eccezione relativa del cugino cardinale, Giulio de' Medici, sempre più vicino a Machiavelli⁷ e già in quegli anni "centauro" teologico-

Machiavelli, chiamato confidenzialmente "Messer Niccolò mio", viene esaltato per la sua composizione dell'*Arte della guerra*; la lettera si conclude con un forte impegno di amicizia: "Ricordatevi che tra le prime cose che io desidero è far qualche cosa che vi piaccia".

⁶ Sumberg Th. A. La Mandragola: An Interpretation // Review of Politics. Vol. 23/2. 1961. P. 320–340; Parronchi A. La prima rappresentazione della Mandragola. Il modello per l'apparato, l'allegoria // La Bibliofila. Vol. 64. 1962. P. 37–86; Bertelli S. When did Machiavelli write Mandragola? // Renaissance Quarterly. Vol. 24/3. 1971. P. 317–326; Lord C. On Machiavelli's Mandragola // The Journal of Politics. Vol. 14/3. 1979. P. 806–827; Perocco D. Vom Principe zur Mandragola: das Öffentliche und das Private, die politische und literarische Theorie "d'un uomo che voglia parer saggio e grave" // Texturen der Macht: 500 Jahre "Il Principe" / Hrsg. J. Frömmer, A. Oster. Berlin, 2015. P. 141–154.

⁷ "Ho preso commissione di dire al cardinale de' Medici da parte di sua Santità, come io sarò costì, che gli fia molto grato che horamai la buona volontà, che ha sua Signoria Reverendissima di farvi piacere, habbia effecto" (*Palla B. della. Lettera a Niccolò Machiavelli del 26 aprile*

politico, che nel dicembre 1521 a capo dell'esercito pontificio entrò come vincitore a Milano liberata dai francesi). Scritta dall'autore del *Principe*, messa in scena in Vaticano, la commedia non poteva non essere celebrativa del potere papale e della sua *libido dominandi*, considerate le mire politiche e territoriali della famiglia dominante le vicende storiche italiane di quel periodo storico.

Vi è, comunque, una forte obiezione a questa lettura allegorico-encomiastica della *Mandragola*: come può una commedia così spregiudicata, fortemente erotica, persino dissacrante, se non blasfema, essere messa in scena dinanzi al papa e nascondere una finalità encomiastica del *princeps* cristiano, tanto più se opera di un'intelligenza come quella di Machiavelli, poco musicale in materia religiosa, se non atea? I convincimenti profondi di Machiavelli in materia di fede, qualsiasi essi fossero, si collocavano all'interno di una sistematica struttura cristiana del suo mondo, della società, della politica nei quali egli operava e voleva operare (certo nutrito dello studio degli antichi romani), sicché i codici cristiani non potevano essere ignorati o elusi, considerata la totale dipendenza delle fortune politiche dell'ex segretario da un pontefice mediceo onnipotente a Firenze. Invece, per quanto riguarda la natura dissacrante della commedia, ritengo che la *Mandragola* metta in scena una doppia parodia: a) quella della traslazione erotica di immagini, temi, testi religiosi tradizionali, che a un occhio teologicamente attento si rivelano onnipresenti nel testo; b) quella del ribaltamento finale della parodia erotica in allegoria teologico politica o, meglio, cristologico-papale. Sicché soltanto la sublimazione encomiastica del pontefice può

1520); che Giulio de' Medici non abbia assistito alla prima ristretta rappresentazione fiorentina e non abbia concorso, con Giovanni Salviati, a raccomandarne al papa la rappresentazione in Vaticano?

rendere tollerabile, non osceno, ma persino vitalmente esaltante (e tipico della cultura religiosa e civile fiorentina) il sistematico gioco metaforico della celebrazione del desiderio erotico e del piacere sessuale. Insomma, soltanto un'interpretazione "doppia", al tempo stesso erotica spinta e cristologico-politica, può rendere ragione delle circostanze storiche che hanno consentito di scegliere e di rappresentare la *Mandragola* a Roma a due passi dalla Cappella Sistina, raffigurata comunque, sin da Sisto IV, come il nuovo Tempio di Gerusalemme, più glorioso di quello di Salomone (che per la tradizione ebraica e cristiana è, si badi, l'autore e il protagonista del *Cantico dei cantici*), figura di Cristo e del papa stesso.

Assunta questa prospettiva, diviene più semplice riconoscere quanto sistematico, coerente, fitto sia il tessuto di riferimenti biblici, mariani e cristologici, che sorregge (sin dal titolo!) la *Mandragola*, la cui intenzione profonda, encomiastica e politica, può essere disserrata tramite la chiave nascosta del *Cantico dei cantici* di Salomone, nel quale proprio la mandragola appare come afrodisiaca pianta odorosa, simbolo dell'amplesso sessuale. In effetti, il *Cantico dei cantici* è il libro più ambiguo della Bibbia: il più *carnale*, *sessualmente esplicito* e per questo il più fortemente *allegorizzato*, *spiritualizzato*, sicché il concupiscente Salomone, che condivide con la sua amata uno spasmodico desiderio erotico, è interpretato dalla millenaria tradizione cattolica come *figura* di Cristo, quindi del papa suo vicario, che si unisce "carnalmente" (come capo di un corpo) con la sua donna, identificata con la chiesa/l'umanità redenta/Maria stessa, madre, figlia e sposa di Cristo. La decifrazione della commedia come sistematica parodia sacra dell'amore "carnale" e delle nozze mistiche tra Cristo e Maria/chiesa consente, appunto, di riconoscere finalmente (e per la prima volta!) che il vero destinatario di questo dramma

encomiastico-politico, quindi il soggetto storico reale cui rinviava la *persona* di Callimaco "medico" – nuovo "fanciul mastio, bastone, chiave, tallo" di *madonna* Lucrezia –, fosse non il duca Lorenzo, ma proprio Leone X, già esaltato in *Principe* XXVI come "principe" della Chiesa e di fatto invocato quale "capo" politico-militare della "redenzione" dell'Italia languente, affidata a "la Casa" medicea, della quale era in senso fortissimo *caput* carismatico.

Propongo, pertanto, che la chiave interpretativa dell'opera sia quella stessa che Machiavelli, nella sua *Lettera a Francesco Vettori del 31 gennaio 1515*, propone per l'interpretazione del loro epistolario: *voltando carta*, quello che è *lascivo, leggiere, vano*, lascia spazio a quello che è *grave, onesto, grande*, insomma il tema della *foia* sessuale lascia spazio a quello dell'altissima costruzione politica, il "maschio" erotico diviene figura del *caput* politico (Giuliano immaginato come prossimo capo di un ducato in Emilia, nel caso della lettera in questione). Si noti che la stessa oscillazione tra "*la vita leggiere voluttuosa e la grave*", l'essere "*nelle cose veneree meravigliosamente involto*" e l'essere "*mirabile*" per "*tante sue virtù*" caratterizza l'encomiastico ritratto di Lorenzo de' Medici che chiude le *Istorie fiorentine* (VIII,36); soprattutto, "*si vedeva in lui essere due persone diverse, quasi con impossibile coniunzione congiunte*", ove la formula pare parodiare, seppure approssimativamente e riprendendo l'elettiva (e già medicea!) metafora del centauro in *Princ* XVIII, quella cristologica della congiunzione nella persona di Cristo della natura divina e di quella umana. Non è un caso che, nel Prologo stesso della *Mandragola*, Machiavelli ritorni sulla stessa tensione tra *leggiere* e *grave*, *vano* e *virtuoso* e sulle circostanze che impediscono al suo viso di voltarsi dal primo al secondo. Ebbene, la commedia vuole comunque operare proprio questo *rivolgimento*: una torsione dell'erotico/

lascivo in una onesta e grande liturgia teologico-politica, che è l'encomio della potenza del papa mediceo con il quale si conclude la commedia.

Non è possibile documentare puntualmente, in questa sede, come la *Mandragola* pulluli di riecheggiamenti biblici e teologici, in particolare del *Cantico*, da un millennio e mezzo interpretato dalla tradizione cristiana come celebrazione sacrale di Cristo e della sua sposa (la chiesa, l'anima, Maria) tramite una sistematica simbologia sessuale: titolo ed epilogo della commedia; *resignatio ad infernum* di un amore forte come la morte e "emulativo" di nobili dannati; "corteo marziale" che rapisce e introduce a forza nell'alcova della bella l'amante spasmodicamente ricercato, il "musico cantante" vagabondo di notte per le vie della città; introduzione nella casa, passando per la dispensa/cucina immagine di un erotico "mangiare e bere"; denudazione e lode del corpo dello sposo *candido e "rubicondo"*; palpazione degli organi genitali, immissione nel letto "della madre" e penetrazione con mano del "foramen" della sposa; "mysterio" "sacramentale" del "dolce" e "santo" amplesso notturno, con riferimenti a porta e chiave, ai baci, all'unto e alle gocce notturne del capo/fallo; restituzione mariana della "*pulchra, decora, dulcis*" Lucrezia e restituzione cristologica di Callimaco tallo, fiore, chiave, bastone/*virga* finalmente capace di battere/urtare e fecondare, con allusione allo "Spirito vivificante", al fiore/uccello generativo del bastone di San Giuseppe/Nicia nella leggenda dello *Sposalizio della vergine al Tempio* (vi tornerò più avanti). Qui approfondisco soltanto tre dei riecheggiamenti ora elencati. a) All'inizio del IV atto, in uno stupendo monologo Callimaco decide di perseguire fino in fondo il suo *furore* d'amore per Lucrezia, accettando morte e inferno, ove comunque sono molti uomini nobili: "*El peggio che te ne va è morire e andarne in inferno: e' son morti tante degli altri! E' sono in inferno*

tanti uomini da bene! Ha'ti tu da vergognare d'andarvi tu?". Mi pare evidentissimo il riecheggiamento di *Cant* 8,6: "*Quia fortis est ut mors dilectio dura sicut inferus aemulatio*". Il termine *aemulatio*, che indica gelosia, invidia divorante e desiderio di imitazione, genera il riferimento ai nobili uomini all'inferno, con i quali Callimaco è disposto a convenire, mostrando che il suo amore è *forte* come quello di un uomo davvero virile. b) La notte d'amore dei due amanti è definita "*misterio*" da fra Timoteo: esplicito, seppure parodistico, è il riferimento all'unione notturna sessuale come mistero religioso, così come il *Cantico* da secoli e secoli era interpretato (si ricordi anche la parodia liturgica della Canzone Quinta dopo il IV atto, *O dolce notte, o sante hore*). Le scene dell'ingresso dell'Amato o dell'Amata nel palazzo dell'amore del *Cantico* (ad es. "*Introduxit me rex in cellaria sua*": *Cant* 1,3; "*Introduxit me in cellam vinariam*": 2,4) sono parodiate nell'introduzione da parte di Nicia del "garzonaccio" nella casa, quindi nella "*dispensa*", infine nella camera e nel letto, con la spoliatura di Callimaco, la lode del suo corpo *candidus et rubicundus/bianco, morbido, pastoso*, "*toccando con mano*" i suoi genitali, "*toccando il fondo*" quando il membro del garzonaccio penetra Lucrezia: "*ne volli toccare il fondo*". Rinunciando in questa sede a trattare dell'influenza del modello della *Calandria*, ricordo come il toccare con la mano il sesso dell'amato/a caratterizzasse fortemente il *Cantico*, quando, ricorrendo alla metafora della serratura, della chiave, del foro, l'amato infilava la propria mano nell'utero dell'amata: "*misit manum suam per foramen*" (5,4). c) Non può essere in alcun modo casuale che la I scena del V atto coincida con un lungo monologo di fra Timoteo dedicato al culto della Vergine, eppure concluso con una battuta erotica del tutto spinta: "*Ben si sono indugiati alla sgocciolatura: e' si fa appunto l'alba*" (V,I,2,14). Essa richiama il celebre riferimento

erotico del *Cant*, ove il *caput* dell'amato è evidentemente il fallo: "*Quia caput meum plenum est rore et cincinni mei guttis noctium... Surrexi ut aperirem dilecto meo. Manus meae [dell'amata] stillaverunt murra digiti mei pleni murra probatissima*" (5,2 e 5). Proprio perché si sta ormai esaurendo il prolungato cadere delle *gocce notturne* che grondano dal capo/fallo dell'amato, *si fa l'alba...*

La metafora sessuale è, allora, il tema-chiave della commedia machiavelliana: la vera *mandragola*, capace di fecondare Lucrezia, è il sesso di Callimaco, la *virga* (non a caso oggetto di una delle due dotte citazioni latine di Callimaco "medico", che sono riuscito a identificare come tratte dal *Liber canonis* di Avicenna), il *caput* sessuale, la *virtus* maschia, potente, fecondatrice del *medicus*, che manca a Nicia. Si sottolineava come proprio il *Cantico dei cantici* consenta di tenere insieme la *lettera* sessualmente esplicita di desiderio amoroso e amplessi erotici con un'arditissima *allegoria*, che riferisce a Cristo e alla chiesa, rappresentata da Maria, le vicende dell'amato e dell'amata. Ebbene, nella *Mandragola* Lucrezia assume evidentemente caratteri mariani, mentre Callimaco, l'amante "medico" libidinoso e ingannatore, diviene paradossalmente una contro-figura cristologica, in quanto mistico "sposo" redentore e al tempo stesso "figlio atteso e annunziato" della più bella delle donne, piena di grazia, che Nicia stesso saluta come "benedetta". Insomma, i riferimenti parodistici al *Cantico* trovano senso soltanto se si identifica Callimaco "medico" con il *mastio* giovane e potente, cioè con il "messia" *mediceo*, il papa vicario di Cristo, entrato nel *Santo* a "sposare" Lucrezia, rendendola madre.

In effetti, nell'ultimo atto, la commedia *volta carta*: essa, che pure aveva continuamente fatto riferimento parodico all'*Annunciazione* della Vergine, si conclude con l'evocazione liturgica altissima di due scene sacre (già

riconosciute da Perocco, Baratto, Triolo, Alonge, Newbiggin, Stoppelli, Boggione), parodiate a) nell'entrata in Santo di Lucrezia "purificatasi" che presenta il suo "figliuolo maschio" e b) nel paradossale "sposalizio" tra lei e Callimaco "celebrato" da Nicia stesso.

a) Il modello del primo è biblico, tratto dal *Vangelo di Luca* 2,22-23, ove si descrive la purificazione della Vergine e la presentazione di Gesù al Tempio, dove il testo evangelico, citando *Esodo* 13,2, fa riferimento a Cristo come al *masculinum* che ha aperto la vulva (cioè al primogenito di Dio e Maria!).

b) Il modello del secondo è quello attestato in alcuni apocrifi del Nuovo Testamento (*Protovangelo di Giacomo*, *Vangelo dello pseudo-Matteo*, *Vangelo dell'infanzia di Maria*), mediati dalla *Legenda aurea* di Jacopo da Varazze e da un'imponente tradizione letteraria e iconografica, tardo-medievale e rinascimentale, Aretino compreso: lo sposalizio della vergine, conseguito al miracolo del bastone fiorito di Giuseppe, sul quale si posa una colomba, cioè l'uccello dello Spirito, con un chiaro riecheggiamento di *Isaia* 11,1-2, di cui domina, nella tradizione cristiana, un'interpretazione messianica che identifica in Cristo il *flos* germinato dalla *virga* di Jesse. Come nel caso della *Mandragola*, nel suo Sposalizio la Vergine accoglie un "doppio" Sposo, il vecchio Giuseppe (Nicia) e lo Spirito (l'uccello/fiore della *virga*) del *masculinum* (Callimaco, maschio che genererà maschio).

Infatti, alla fine del V atto, con continui doppi sensi, Callimaco e/o il figlio avuto grazie a lui sono paragonati al "giovane figliuolo maschio", al bastone, al tallo (cioè al germoglio/fiore), tutte immagini sessuali, ma anche cristologiche. Così, le due straordinarie prerogative "erotiche" concesse a (il sesso di) Callimaco – l'averne assicurato a Nicia e a Lucrezia un bastone/*virga*, quindi l'averne ottenuto *la chiave* della camera terrena, ove evidente

risulta il riferimento traslato all'utero di Lucrezia – richiamano apertamente *anche* una simbologia teologico-papale, come testimoniano visivamente gli affreschi delle pareti laterali della Sistina (vicino alla quale la *Mandragola* fu rappresentata), quel “Santo” ove ricorre più di una volta la rappresentazione della *virga* di Mosè/Aronne (riattualizzata nella *virga* di Giuseppe Sposalizio della Vergine) e la consegna delle *claves* della chiesa a Pietro. Insomma, è impossibile che il ricorrere dei due più noti simboli del potere papale, così come il riferimento evidentemente sia erotico che cristologico al *masculinum* sia casuale, considerati destinatario e contesto pontifici della messinscena: l'esaltazione della *chiave* sessuale diviene encomio della *chiave* pontificia, così come gli ambigui riferimenti sessuali a *masculinum*, bastone/*virga*, tallo sono *anche* tipici simboli papali.

Ma torniamo sull'equivoca ultima battuta della *Mandragola*, pronunciata da fra Timoteo all'entrata del Santo, rivolto alla sua complice Sostrata: “Avete messo un tallo in sul vecchio”, ove è evidente il riferimento al rapporto tra Nicia (vecchio), Callimaco (tallo come sinonimo di giovane fallo) e Lucrezia (“allegra” destinataria del fiore innestato, come riconosciuto dalla madre!). D'altra parte, fra Timoteo, che da dotto domenicano (Inglese, Stoppelli) parla “teologicamente”, spinge a indovinare un piano più profondo di significazione, quello sacrale. Il riecheggiamento sacro risulta immediatamente evidente da una rappresentazione dello Sposalizio della Vergine di Taddeo Gaddi, databile tra il 1327 e il 1330: si vede un Giuseppe vecchio, con la sua *virga* fiorita, con l'uccello dello Spirito in cima, che, invitato dal Sommo Sacerdote sfiora la mano di Maria, che da quel “bastone” mistico viene resa gravida, così come nella Scena Sesta del Quinto Atto della *Mandragola* è sceneggiato uno Sposalizio “mistico”, segreto/elettivo, quando Callimaco –

identificato con “il tallo”, il fiore generatore “mistico” del “*masculinum*” “avveniente” –, dietro invito di Nicia, tocca la mano di Lucrezia, “consacrando” tramite il gesto rituale delle nozze la loro notturna unione sessuale.



Ebbene, quest’affresco di Gaddi è a Santa Croce in Firenze, presso la Cappella Baroncelli, interamente dedicata alla celebrazione della vita di Maria e, soprattutto, immediatamente contigua alla cappella di famiglia di Machiavelli, ove era stato sepolto il padre Bernardo e ove verrà seppellito lo stesso Niccolò, al quale, pertanto, quell’affresco e quella scena erano perfettamente noti, del tutto *familiari*!

Torniamo all’altra scena sacra, parodiata alla fine del V atto della *Mandragola* (riferimenti nelle Scene II, V e VI): quella della *Presentazione al Tempio*, cioè “al Santo” del “bel fanciul mastio”, che è proletticamente il figlio concepito da Lucrezia, concretamente Callimaco stesso. Essa appariva

immediatamente evidente agli spettatori di Machiavelli, in buona parte fiorentini e medicei, se si tiene presente che uno degli straordinari strumenti di propaganda politica e di formazione del consenso escogitati da Cosimo de' Medici era stata la *Compagnia della Purificazione*, formata dai giovani in vista di Firenze e incaricata di mettere in scena ogni anno una sacra *Rappresentazione della Purificazione*. Essa culminava, appunto, nella presentazione al Santo del *masculinum*, del “bel figlio primo nato”, del messia divino⁸, cui alludeva il ricorrere cristologico delle immagini di “fiore/germoglio/chiave/verga” nelle frequenti rappresentazioni e composizioni sacre che dominavano la vita sociale, culturale, religiosa di Firenze. Questa messa in scena cristologica era finalizzata ad educare alla fede pubblica nell'avvento teologico-politico di un “figlio” messianico, di un provvidenziale *princeps* avveniente, di un nuovo Davide, *typos* storico di Cristo, che Cosimo, Lorenzo, il cardinale

⁸“Cosimo, his descendants, and the Purification were associated in a common messianic mission... The Purification’s mission... legitimized Cosimo’s rule over Florence as the founder of a divinely sanctioned dynasty that would lead Florence to its promised glory” (*Polizzotto L. Children of the Promise. The Confraternity of Purification and the Socialization of Youths in Florence. 1427–1785. Oxford, 2004. P. 63*). Pertanto, il ruolo del “figliuolo” Callimaco/Leone X era davvero divenuto quello più alto ipotizzabile, essere divenuto papa, vicario di Cristo, sposo della chiesa e della bellissima Italia; un Medici aveva clamorosamente realizzato l’attesa messianica diffusa a Firenze dalla propaganda medicea (e successivamente persino dalla contestazione savonaroliana) e messa in scena tramite la *Rappresentazione della Purificazione*: “The Purification of the Virgin and the Presentation of Christ to the Temple are placed in a precise messianic context... Very striking, too, is the messianic tone of the whole *sacra rappresentazione*” (88). L’attesa messianica è quindi traslata dall’Israele terreno “to the elect nation of the new dispensation, Florence, the New Jerusalem, in whose very midst the mystery of the Incarnation that had signaled the new age of mankind was being celebrated” (87).

Giovanni identificavano, ovviamente, con un *masculinum* medico. “Dalla stirpe regale è nato il fiore/... Onde n’è germinato il degno frutto.../ Fiorì la verga”, come cantava “profeticamente” un’altra Lucrezia, quella Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico e nonna di Leone X, che concependo Lorenzo aveva indotto il marito Pietro a edificare un *ex voto* presso la chiesa dell’*Annunziata*: un grandioso Tabernacolo nel quale custodire l’immagine miracolosa di Maria, tradizionalmente ritenuta capace di donare gravidanza felice alle mogli e alla quale la stessa Lucrezia Calfucci era “botata”.

Inoltre, nella prospettiva di identificare nel *Cantico dei cantici* una *doppia* fonte-chiave della *Mandragola*, mi pare significativo sottolineare come proprio in quegli anni il libro d’amore di Salomone fosse diffusamente interpretato come codice privilegiato *sia* di poesia erotica, *sia* di mistica e persino teologia politica cristiana. Segnalo, prima di tutto, un importante passo del *Cortegiano* (III,5,83-87) di Baldassare Castiglione, ove partendo da temi erotici cortesi si giunge al riconoscimento del *Cantico* come vertice del linguaggio d’amore, allegoricamente interpretato. Analogamente, la prima redazione della *Cortigiana* (1525) di Pietro Aretino, che attesta dipendenze evidenti dalla *Mandragola*, presenta una parodia del *Cantico dei cantici* in un grottesco “inno” erotico, comicamente irresistibile, dedicato dall’aspirante cortegiano papale Messer Maco de Coe alla cortigiana Camilla Pisana. Certamente Castiglione, molto probabilmente Aretino furono spettatori della *Mandragola* il 27 settembre 1520. Un’ultima prova della centralità del *Cantico* ci è poi fornita da un ritratto di un’altra cortigiana, Barbara Salutati del 1525, dipinto da Domenico Puligo e

forse commissionato dallo stesso Machiavelli⁹. La Salutati fu la prima cantante delle canzoni aggiunte della *Mandragola* del 1526 e l'ultima amante di Machiavelli: ella viene ritratta con una partitura tra le mani, nella quale sono riportati alcuni versetti del *Cantico dei canti*, tradizionalmente attribuiti a Maria, qui utilizzati per esaltare la grande bellezza e la splendida voce di una cortigiana!



Voltando carta, sarebbe possibile qui documentare come il *Cantico* fosse non soltanto parodiato eroticamente, ma anche, proprio in quegli anni, assunto come codice privilegiato degli encomi del papa regnante, sposo della

⁹ Slim H. C. A Motet for Machiavelli's Mistress and a Chanson for a Courtesan // Essays Presented to Myron P. Gilmore / Ed. S. Bertelli, G. Ramakus. Firenze, 1978. Vol. II. P. 452–572; Niccoli O. Machiavelli e Barbara: un amore attraverso il canto // Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma / Ed. E. M. Dal Pozzolo. Napoli, 2017. P. 106–117.

chiesa, dalle orazioni al Concilio Lateranense V (di Egidio da Viterbo, di Cristoforo Marcello, di Antonio Pucci, tutte edite tra il 1513 e il 1515), al *Libellus ad Leonem Decimum* di Querini e Giustiniani (1513), da una lettera di Gasparo Contarini a Querini (1514) alla *Frottola per Leone X* di Girolamo Benivieni pubblicata a stampa nel 1519. Insomma, la natura encomiastica e solenne della *Mandragola* è in perfetta sintonia con il codice encomiastico dominante del papato mediceo: il papa, vicario di Cristo, è lo Sposo redentore che salva la chiesa e l'Italia, sposa derelitta, e la rende libera e feconda. L'esortazione conclusiva di *Principe XXVI* è, pertanto, in perfetta consonanza con la produzione encomiastica papale rinascimentale (capace di trasferire sul pontefice la stessa utilizzazione dantesca di immagini del *Cantico* indirizzate all'imperatore quale messia avveniente, redentore d'Italia). Machiavelli al tempo stesso la secolarizza (evidenziando soprattutto il ruolo politico-militare del nuovo principe messianico), ma continua a riecheggiarla, in quanto proprio l'assoluto potere storico sacrale del papa è esaltato come segno di potenza provvidenziale e, di fatto, come ulteriore, potentissima arma di potenza politica. In tal senso, *Principe XXVI* è in perfetta corrispondenza con la metafora conclusiva della *Mandragola*, quella di Callimaco che, dopo aver "battuto e urtato" Lucrezia conquistandola e assoggettandola, entra nel santo quale *masculinum*, bastone fiorito della chiesa, di cui detiene le chiavi, quindi quale messianico, potente e fertile *tallo in sul vecchio*, nuovo cristico virgulto inviato da Dio. In effetti, la *Mandragola*, tramite Callimaco, riferisce a Leone X anche la metafora sessuale di *Principe XXV*: quella del giovane principe ardimentoso che con la sua virtù (inganno e potenza sessuale) violenta e assoggetta la fortuna (Lucrezia). Quest'interpretazione figurale di Callimaco, l'astuto *bel combattente*, è del tutto machiavelliana, in quanto, si badi

bene, già nel *Principe* la metafora del *giovane* audace e violento veniva incarnata da un pontefice, il vecchio Giulio II, che chiaramente diveniva protrettico prototipo virtuoso del *giovane* papa regnante; di Leone X, appunto, che nel XXVI capitolo veniva indicato come capo effettivo della redenzione d'Italia, certo tramite un suo strumento secolare (prima Giuliano, poi Lorenzo). E che sempre papale sia la mira di Machiavelli nel *Principe*, in piena continuità con l'interpretazione *pontificia* qui proposta della *Mandragola*, è confermato dal celeberrimo *Princ* XVIII, ove il centauro (parodistica figura di Cristo, due nature in un'unica persona), metà uomo/"celeste"/razionale e metà bestia/"terreno"/concupiscente, veniva di fatto incarnato da papa Alessandro VI, *simul* volpe e leone, ingannatore che simula fede/carità/onestà e violento sanguinario conquistatore (si pensi al Valentino). Sicché davvero i capitoli simbolici del *Principe* si rivelano mettere in figura la struttura dialettica che chiude l'XI capitolo, dedicato ai principati ecclesiastici, nel quale Leone X era encomiasticamente celebrato quale sintesi personale virtuosa dei due suoi diversi predecessori, l'astuto Alessandro e l'impetuoso Giulio, la volpe e il leone. Insomma, nel *Principe*, i vicari di Cristo erano chiamati in causa quali figure simboliche esemplari del principe terreno, per poi, *voltando carta*, "re-incarnare" pragmaticamente quel "mostruoso" centauro terreno nel regnante papa mediceo, capace di far venire "uno spirito italiano... ordinato da Dio per la sua [d'Italia] redenzione" (XXVI,3); sicché, in *Princ* XXVI,8, è "la Casa vostra [medicea], la quale con la sua fortuna e virtù, favorita da Dio e da la Chiesa, della quale ora è principe" ad essere invitata a "farsi capo di questa redenzione", cioè a divenire signore assoluto d'Italia. Possibile, allora, che la sistematica figurazione papale del *Principe* non fosse riattivata nella *Mandragola*,

rappresentata presso il Santo dei Santi della Cappella Sistina, al cospetto di Leone X, cui non possono non fare riferimento le immagini altamente simboliche di bastone, tallo, chiave, *masculinum*, ricapitolate in colui che si definisce, dopo l'unione "mistica" con Lucrezia nel "misterio" notturno, "più beato ch'è beati e più santo ch'è santi"? Non è questo stesso un riferimento trasparente a colui che era chiamato comunemente, e nello stesso epistolario machiavelliano, come Sua Beatitudine e Sua Santità?

Ci si potrebbe scandalizzare di questa atipica contaminazione tra sacro e profano, codice sacrale pontificio e nuda legge del politico machiavelliano, celebrazione di altissima politica e commedia sessualmente connotata, eppure proprio questa è metaforicamente *la legge del centauro* razionale-onesto/bestiale-lascivo che governa l'intelligenza della realtà politica del suo tempo studiata e praticata dall'ex Segretario. Soltanto una mentalità post-"contoriformistica", censoria, paradossalmente condivisa da speculari integralismi confessionali e anticlericali, retroproiettata indebitamente sulla realtà contraddittoria e vitale del cristianesimo rinascimentale fiorentino e romano, non riesce a riconoscere il gioco al tempo stesso dissacrante e istituzionalmente liturgico della parodia, scindendo dualisticamente ciò che è in ambigua coesistenza: *libido dominandi* e apparato teologico-sacrale, *foia sessuale* e celebrazione liturgica di un potere carismatico politicamente efficace. D'altra parte, proprio in *Princ XXI*, Machiavelli raccomandava al tempo stesso al principe di essere "amatore delle virtù, dando ricapito agli uomini virtuosi e onorando gli eccellenti in una arte" (25), quindi "ne' tempi convenienti dello anno, tenere occupati e' populi con feste e spettacoli... [per] dare di sé esempio di umanità e di munificenza, tenendo sempre ferma nondimanco la maestà della dignità sua" (27). Ecco, Leone X, munifico mecenate, aveva accolto

un artista dello stato e della messa in scena, affidandogli in Vaticano uno spettacolo festivo di altissimo valore simbolico; eppure, l'autore della *Mandragola* sapeva benissimo che, in essa, il dilettere il principe e la sua corte non poteva in alcun modo dimenticare di celebrare “la maestà della dignità sua”: la commedia non poteva non culminare in un'esaltazione del potere sacrale del papa e della sua espansiva potenza politica!

Concludendo, quello che rende a mio parere inevitabile l'assunzione del *Cantico dei cantici* come chiave della *Mandragola* non è, allora, il singolo riecheggiamento elementare, né la pur singolare corrispondenza della serie drammatica dell'iniziazione erotica, ma la stessa struttura parodisticamente “sacrale” della commedia, spesso evidenziata da fra Timoteo con i suoi continui riferimenti teologico-liturgici, che culminano nello sdoppiarsi del *masculinum* presentato “nel Tempio” in cristologico figlio e “sposo” di “madonna” Lucrezia. Unicamente la chiamata in causa della tradizionale esegesi figurale del *Cantico* consente di restituire *decus* sacrale, al cospetto del papa e presso la Sistina, a questa paradossale, scandalosa celebrazione di un'illegittima copolazione sessuale “notturna”, eppure generatrice di una paradossale unione matrimoniale tra sposa/madre e sposo/Figlio. Soltanto il riferimento continuo e strutturale all'*equivoco* libro salomonico permette, in effetti, di tenere insieme il leggiadro e il grave, il lascivo e l'onesto, l'erotico e il sacrale. Priva di un perno di ribaltamento biblico-teologico, una parodia fine a se stessa di tutti i principali misteri cristiani diverrebbe empia bestemmia, soprattutto non avrebbe alcuna utilità politica e cortegiana, per un Machiavelli intento ad entrare nell'orbita medicea, quindi pontificia, al cospetto del papa, di Giulio de' Medici, Giovanni Salviati e di tutta la curia, testimoni Castiglione e Aretino, presso la Sistina, nuovo Tempio di

Dio e cuore della cristianità. *Quanto più empia risulta la trama della Mandragola, tanto più religiosamente alta dev'essere la finalità dell'ordito, quindi tanto più autorevole il codice di decifrazione condiviso, che consente di "voltare carta"*. Questo significa riconoscere la *Mandragola* come un vertice di quella letteratura cortigiana alla quale Machiavelli in questi anni coerentemente si stava dedicando tramite diversi generi letterari, dal *Principe* al cosiddetto *Capitolo Pastorale*, dall'*Esortazione alla penitenza* alle *Pasquinate* del 25 aprile 1526¹⁰.

¹⁰ Lettieri G. Nove tesi sull'ultimo Machiavelli... P. 1035–1055 e 1081–1084; approfondisco queste tesi in un volume di prossima pubblicazione, dedicato all'ex segretario al servizio di Clemente VII tra il 1525 e il 1527: L'ultimo Machiavelli. Un cortegiano del papa in guerra tra Erasmo, Pasquino e don Giovanni.

Marcello Simonetta,
Sapienza, Roma

**GUICCIARDINI FRA LA CURIA ROMANA,
LA FURIA FRANCESE E L'INCURIA ITALIANA
(1521-1527)**

Nel suo ruolo di governatore della Romagna pontificia e commissario papale, Francesco Guicciardini fu coinvolto nelle “segrete cose” del pontificato di Clemente VII, soprattutto a partire dal 1525 fino al 1527, dalla battaglia di Pavia al Sacco di Roma. In questo intervento analizzerò il suo doppio ruolo di “Fiorentino” e di “servitore di Nostro Signore”, in rapporto alle drammatiche scelte politiche e strategiche del cardinale Giulio e poi del papa, mediate dal datario Giberti, il suo consigliere filo-francese. Ma prima di entrare nel vivo dell’analisi diacronica ed evenemenziale, è opportuno fare una riflessione storiografica preliminare.

Giulio (de' Medici) “Cesare”

Nel suo *Dialogus de viris et feminis aetate nostra florentibus*¹, scritto proprio intorno al 1527 e dedicato inizialmente allo stesso Giberti, Paolo Giovio inserisce un *elogium* di papa Clemente VII. Come spesso accade con quella penna intinta di miele e fiele, si tratta tuttavia di un elogio a doppio taglio. La prudenza e la virtù militare di Clemente VII, travolto dalla capricciosa fortuna, vengono analizzate in un lungo brano del dialogo. In risposta alla

¹ *Giovio P. Notable Men and Women of Our Time / Ed. and Trans. by K. Gouwens. Cambridge (Mass.); London, 2013.*

legittima domanda del marchese del Vasto, Alfonso d'Avalos, mecenate dello scrittore:

“what cause so unluckily pushed Pope Clement, who enjoyed so great a reputation for prudence in war and peace, to put his faith rashly in all these things and people whom he himself had never trusted and, in the gravest moment of extreme danger, to entrust his own safety and likewise that of all men *precisely to those who in the past had shown themselves to be his own mortal enemies*”²?

È lo stesso Giovio a replicare, chiedendo di non dover rimembrare troppo dolorosi e recenti eventi e, nel rispetto dei suoi doveri di vescovo nei confronti del vescovo di Roma, di parlare con pur sincera deferenza. Con la cauzione di non voler ragionare col facile senno di poi, lo storico inizia lodando Clemente come il più prudente dei principi contemporanei, e come colui che ha considerato più meticolosamente tutti i lati delle questioni e previsto tutti i possibili esiti.

Per di più, continua lo storico, ci sono pochi più competenti di Giulio nell'arte della guerra³, dunque bisogna biasimare la monumentale mancanza di Fortuna che ha aggredito questo “perfectissimus ac optimus princeps”, indegno di una simile calamità. Solo all'ultimo si insinua il dubbio di una sottile ironia, quando giustifica la scarsa generosità del papa,

² Ibid. P. 93: “quidnam Clementem Pontificem, tanta modo prudentiae opinione bello paceque versatum, adeo sinistre impulit ut cunctis his rebus ac hominibus quibus nihil umquam ipse confidisset adeo temere crederet, hisque demum qui aliquando *ipsius inimici capitales exstitissent in gravissimo summi periculi momento suam partier ac omnium salutem committeret?*” (*corsivi nostri*).

³ Ibid. P. 95; Gouwens traduce “disciplinae” con “art of war”.

“perpetua bellorum lue consumptus”: la “malattia” dei Medici non dipendeva forse da loro medesimi⁴?

Ad una prima lettura, si potrebbe pensare che le conoscenze nella scienza militare di Giulio fosse puramente teorica: “no one is cleverer or more skillful in the use of cast-metal fire-arms; a no one is better versed and more effective in diverting and channeling rivers and in the construction of bridges” (“nemo in toto fusilium tormentorum artificio ingeniosior, nemo in avertendis curvandisque amnibus et pontibus construendis paratior et efficacior”). Ma occorre ricredersi, perché queste sue qualità o virtù furono messe alla prova per attraversare i fiumi lombardi e sparare contro l’esercito francese, nel 1521.

Erano proprio questi gli “inimici capitales” a cui faceva riferimento il d’Avalos nella sua requisitoria fittizia. E l’episodio resta in ombra anche nella storiografia odierna⁵, come se una maledizione continuasse a pesare sul cardinale, allora semplice legato pontificio.

A controbilanciare questa lacuna ci aiuta ora la *Storia inedita* di Bartolomeo Cerretani, che è sorprendente ed emozionante nell’evocare l’eroica campagna cesariana di Giulio de’ Medici contro Milano. In quell’autunno 1521 l’avanzata dell’esercito pontificio guidato dal cardinale legato

⁴ Ibid. P. 100; Cf. p. 146 con l’apparente *concinnitas* della frase su Malatesta Baglioni, “Gallica lue conceptus”, forse una deliberata evocazione dell’epidemia venale?

⁵ *Duc S.* La guerre de Milan. Conquérir, gouverner, résister dans l’Europe de la Renaissance. Ceyzérieu, 2019. Questo libro ha il pregio di affrontare un argomento a lungo ignorato, ma anche il difetto di farlo da un’ottica prettamente gallica, riducendo i problemi soltanto ad un mero conflitto francese contro l’Impero e la Spagna, ed eliminando completamente il ruolo fondamentale del papato, in particolare quello medico.

e dal commissario Guicciardini fece miracoli. Eccone uno squarcio significativo:

“Consultorno quello che fussi daffare e ciascuno rese il voto suo con gravità e fermezza secondo la degnità vi si discorse quanto e che et come humanamente si poteva fare circha all’assaltare Milano e tutto quello si poteva per la ruina francese il che raccholto dal Capitano [Prospero Colonna] et dal R.mo Medici et replichato e scoperti tutti i pericoli che fussino potuti causarsi, si riordinò l’exercito il quale, purghato d’inutili impedimenti e riunittolo e puniti e disubbidienti con non pocha né vulgare faticha, rendé l’animo di quello exercito, sendo mortavi la reputatione, a quelli e quali erano divenuti timidi diventorno feroci e superbi e aldaci, i vili et paurosi, dubitando dell’essere et della vita, ma ciaschuno al suo ordine colonnello e bandiere et ufizio si rimisse, temendo che quella iustitia severa non li cacciassi dal mondo. Fu questa resolutione d’assaltare Milano e della ruina francese rispetto all’essere inferiori di gente et fortuna arditissima et pericolosissima se non fussi stata accompagniata dalla voglie del Cielo et guidata da uno iudizio eccessivo...”⁶.

Il Cerretani è uno storico considerato “minore”, perché accanto ai pesi massimi come Giovio e lo stesso Guicciardini appare smilzo. Tuttavia, se si combinano la sua *Storia*

⁶ Il manoscritto adespoto è conservato in ASFi, Acquisti e Doni, 142, fasc. 1. Sono “undici quinterni di una storia di Firenze fino al 1533”, come li descrive l’inventario. In realtà, l’ordine è pasticciato, e si tratta all’inizio di alcuni frammenti del *Dialogo della mutatione di Firenze* di Bartolomeo Cerretani, con qualche significativa variante rispetto al testo edito, ma poi c’è una continuazione ricca di informazioni di prima mano sugli anni 1520–1522. Vi sono poi brani del 1526, 1529 e 1533 che ho attribuito a Bernardo Cerretani con l’aiuto di Simone Bionda (si veda il nostro articolo *Quattro frammenti inediti di storia fiorentina di Bernardo Segni* in corso di stampa su “Medioevo & Rinascimento”, 2020). Le carte non sono numerate).

fiorentina (fino al 1512), il suo *Dialogo della mutatione di Firenze* (fino al 1519), il concomitante *Sommario*, e questo frammento inedito (1520-1523), scritti in parallelo ai *Ricordi*, il corpus cerretaniano non appare più così secondario⁷. Libero da fedeltà familiari o dinastiche, Cerretani scrive con icastica sincerità, e spesso con pungente ironia. Non risparmia a nessuno le sue critiche, a volte intrise di religioso fervore o di moralistica indignazione, ma è altrettanto onesto nel riconoscere i meriti dove gli sembrano appropriati.

Nel caso della campagna milanese⁸ la proverbiale *furia francese*⁹ fu travolta da una ben più determinata e mirata *furia italiana*, combinata con le forze spagnole e svizzere (le stesse che avevano perso a Marignano nel 1515, non senza il cruciale contributo dei veneziani, e che trionferanno a Pavia nel 1525).

È giusto dare a Giulio “Cesare” quel che è di Cesare, e a Clemente quel che è di Clemente! La sua indiscutibile

⁷ Cutinelli E., Marchand J.-J., Melera-Morettini M. L'emergenza del discorso politico dalla storiografia toscana minore tra Quattro e Cinquecento. Roma, 2005.

⁸ Lettieri G. Nove tesi sull'ultimo Machiavelli // *Humanitas*. Anno LXXII, 2017 [novembre–dicembre]. № 5–6. P. 1037–1089, dove Giulio è indicato come trionfante “cardinale conquistatore di Milano”; nel suo libro *in fieri* Lettieri analizza in particolare le fitte notizie riportate da Sanudo, ove si riferisce che Giulio veniva additato da molti quale nuovo duca di Milano.

⁹ Si vedano due brani esemplificativi dalla *Storia* di Cerretani: “Fu replicato dal Vice Re, che non dubitassi che havevano a difendere la Chiesa et non offenderla, anzi che tutto si faceva per tenerla benissimo custodita dalla *furia francese*”; e sull'atteggiamento agguerrito di Leone X: “il che rechava il pontefice tanta mala contentezza che sua Santità *infuriava*, achattando da tutti gli amici sua et servitori et quelli benefitij che gli haveva loro conferiti segli faceva rendere e vendere ufitiij e promettere dignità et cappelli e di tutto cavava somma infinita di danari et voltavagli alla guerra sforzandosi violentare la sua mala sorte, et riducerla in buona” (*corsivi nostri*).

abnegazione nell'assalto di Milano è proprio l'episodio a cui fa riferimento Guicciardini in una lettera a Sigismondo Santi del 28 maggio 1525 in cui spicca un bellissimo brano sulla combattività del papa:

“né credo che si habbi appropriato tanto el nome di Clemente, che si sia dimenticato che el naturale suo è Iulio et che non si ricordi che hoggidi el pontificato ha più riputatione dalle qualità della persona sua che da quella che gli dia per sé stesso el nome della Sede Apostolica, et però che da lui si ricerca et especta molto più che da ogni altro pontefice, et che, *mancando a questa expectatione, farebbe grandissimo male agli altri, ma maggiore a sé, con eterno caricho*”¹⁰.

Anche l'accento a Giulio Cesare è a doppio taglio, naturalmente. Sono parole profetiche, che spiegano in parte perché Guicciardini fu prescelto come Luogotenente. Giulio si era guadagnato sul campo una reputazione che creava un'aspettativa difficile da deludere – e forse il suo desiderio di tornare in campo lo tormentò fino alla fine dei suoi giorni... Più grandi le aspettative, più amare le delusioni.

E non è da sottovalutare fino a che punto la fortunata campagna del 1521 sia una falsariga di quella sfortunata del 1526. Guicciardini ne era stato un co-protagonista come commissario apostolico. Egli stesso ci racconta nella sua *Storia d'Italia* (come al solito in terza persona, alla stregua dei

¹⁰ *Guicciardini F.* Le lettere. Vol. X. P. 57 e ss. (*corsivi nostri*). All'inizio della lettera, lo complimenta come inviato in Francia perché è dotato di tutti i requisiti necessari: ingegno, “notitia che havete delle cose”, essere “con loro in credito”, conoscenza della lingua, “sapere negoziare serio” e allo stesso tempo “con li artificii del burlare, che questa natione [la Francia] meglio delibera et più è capace a tavola et in giuoco che quando stanno in consiglio”. Il Santi (che aveva ospitato Machiavelli a casa sua, a Carpi, nel 1521, e non era alieno alle burle) sarebbe morto di lì a poco a causa di quella missione, senza neanche raggiungere la terra promessa.

Commentarii di Cesare) le sue prodezze e saggezze di fronte alle lentezze e pochezze dei generali, in particolare di Prospero Colonna (odiatissimo, come il fratello cardinale). Ma forse la vera differenza fra le due operazioni parallele stava nello schierarsi dalla parte della Spagna imperiale piuttosto che della Francia regale.

Guicciardini servo di due padroni

Chiamato a Roma all'inizio del 1526¹¹, di transito a Firenze, Francesco fece testamento – segno che comprendeva quanto importante e potenzialmente pericolosa fosse quella convocazione. Guicciardini giunse a Roma ai primi di febbraio 1526¹² e vi si trattenne fino all'inizio di giugno, subito dopo la stipula della Lega di Cognac. Ripartito col titolo di Luogotenente pontificio, fu l'uomo di punta di

¹¹ La lettera di Machiavelli a Francesco del 3 gennaio 1526 (EN 319) conteneva in allegato i testi delle canzoni (quella da cantare prima della commedia e gli intermezzi) allestiti appositamente per la rappresentazione faentina della *Mandragola* (che probabilmente non ebbe mai luogo, essendo di lì a pochi giorni il Guicciardini convocato dal papa a Roma, come suo consigliere personale). Clemente VII rovinò la festa di Machiavelli e della cortigiana Barbara Salutati, che da tre mesi si trovava a Roma. Su questo aspetto, Cf. *Simonetta M. Tutti gli uomini di Machiavelli. Amici, nemici e un'amante*. Milano, 2020, ultimo capitolo.

¹² Fuorvianti sono le tre lettere edite in L10, 375–380 da Faenza del 1, 12 e 17 febbraio, indirizzate al cardinale Giovanni Salviati legato di Lombardia. Il titolo del destinatario sarebbe stato di per sé sufficiente a retrodatarle al 1525 (e in effetti negli stessi giorni Guicciardini scrive diverse lettere da Faenza, L9, 545–560), ma l'editore ignora anche il fatto che il 29 gennaio Guicciardini stilò il proprio testamento a Firenze, e che Roberto Rofia scrivendo a Paolo Vettori il 6 febbraio lo dà presente a Roma, ospite nel palazzo dello stesso Salviati: “El Guicciardino è arrivato con una gran cavalleria et alloggia ale stanze di palazo del R.mo Salviati”.

Clemente fino al disastro del Sacco, e all'espulsione dei Medici da Firenze.

Con il ricorso a numerose fonti diplomatiche e storiografiche inedite, ho mostrato in un recente contributo – passo dopo passo, verso il baratro – come le azioni di Guicciardini e i consigli di Machiavelli, quasi sempre al suo fianco negli ultimi mesi, cercarono disperatamente di tamponare l'inondazione dell'esercito luterano e la “rovina d'Italia”, causata dall'ignavia della curia e dall'incuria dei capitani¹³.

A complemento di quella analisi, vorrei aggiungere alcuni ulteriori elementi. Si osservino in sequenza queste tre citazioni, scadenzate ogni circa nove mesi:

Guicciardini a Cesare Colombo, Faenza, 24 dicembre 1525: “se io havessi a parlare *solum* come **Fiorentino**, consiglerei forse el cedere <...> ma, come servitore di Nostro Signore, lauderei uno accordo, quando si potessi avere”.

Guicciardini a Giberti, Casaretto, 24 settembre 1526: “Parlerò hora come seruitore di N. S. **non come Fiorentino**, risolveromi prima abbandonare Roma & Italia, se pur la fortuna volessi così, che starui della sorte, che starà sua Santità, se uà per la via che mi havete scritto sta sera. *Tu ne cede malis, sed contra audentior ito*, [Aen. VI, 95]¹⁴ altrimenti non aspettiamo bene alcuno”.

Guicciardini a Giberti, Brisighella, 18 aprile 1527: “Non so quello che Nostro Signore si pensi in questo caso, ma **come servitore di Sua Santità e come fiorentino** dico, che poi che

¹³ *Simonetta M.* Guicciardini e la «rovina d'Italia»: venti lettere e un ricordo inedito del Luogotenente // Archivio Storico Italiano. Vol. CLXXVII. 2019. P. 773–819. Più in generale, si veda *Idem.* Volpi e Leoni. I Medici, Machiavelli e la rovina d'Italia. Milano, 2014 (ed. riveduta e accresciuta, 2017), soprattutto il capitolo 8.

¹⁴ *Prosperi A.* Tra evangelismo e controriforma: G. M. Giberti. Roma, 1969. P. 74 (e p. 61 per la precedente).

per il passato abbiamo giudicato questo interesse essere comune, e così l'ha governato quella Città ne' bisogni e imprese di Sua Santità, dobbiamo molto più giudicarlo ora, che la necessità [sic?] e la importanza del caso è maggiore. **El debito è che Nostro Signore si risolva, continuandosi la guerra, aiutare questa città; et non lo facendo sarà la rovina di tutti, et Sua Sanctità sarà notata da ognuno di crudeltà**"¹⁵.

Nel mettere in questione la sua identità di Fiorentino, il Luogotenente enfatizzava un problema insito nella natura stessa del suo incarico: siccome la sua fedeltà profonda andava alla "patria", cioè alla Città, e non alla Chiesa, finché gli interessi delle due istituzioni che egli serviva erano allineati, i suoi sforzi sarebbero stati energici e sinergici. Ma nel momento in cui questi "particolari" si fossero separati, era chiaro che la scelta di difendere Firenze piuttosto che Roma si sarebbe presentata, e quale esito ciò avrebbe avuto (e in effetti ebbe).

Riprendendo il filo del nostro racconto cronologico, la prima lettera che Guicciardini scrisse da Roma 15 marzo 1526 era indirizzata a Uberto Gambarà (coinvolto nell'attentato contro il Duca di Ferrara nel 1520, non una delle più belle pagine del pontificato leonino). Lo stesso giorno, da Firenze Machiavelli scrisse a Guicciardini della liberazione del re di

¹⁵ Di queste tre citazioni, la prima viene dal *Guicciardini F. Le lettere*. Vol. X. P. 349; le altre due, sono riprese dalle *Lettere di Principi*, II. Venezia, 1575, 171r (Cf. BnF, It. 2101, 133r–135v, dove è attribuita a Baldassarre Castiglione!), in *Guicciardini F. Carteggi / A cura di P. G. Ricci*. Roma, 1962. Vol. X. P. 53; la terza è in *Idem. Opere inedite / A cura di G. Canestrini*. Firenze. 1863, Vol. V. P. 413–414); Cf. *Guicciardini F. Carteggi...* Roma, 1968. Vol. XIII, n. 145. P. 233–234 (originale in *Archivio Guicciardini*, Firenze, XX, V, 3, n. 68) (*grassetti nostri*).

Francia, evento che secondo lui era l'inevitabile premessa a che "gli habbia a essere guerra, et presto, in Italia"¹⁶.

Scrivendo di nuovo a Guicciardini il 4 aprile, Machiavelli menziona una perduta lettera del primo aprile che doveva avere un carattere quasi ufficiale, e riferire le intenzioni del papa sul problema delle misure difensive da adottare a Firenze in vista della guerra imminente. Per discutere i dettagli dei "castellucci", Machiavelli si recò a Roma. Nell'impresa di fortificazione furono poi coinvolti l'ingegnere Pedro Navarra, e anche Luigi Guicciardini.

Nel frattempo Guicciardini scriveva a Roberto Acciaiuoli, Roma, 20 aprile 1526 i francesi erano "risoluti alla inobservantia dello accordo con Cesare", cioè pronti ad allearsi contro l'imperatore. Aggiungeva che "Nostro Signore fa capitale grandissimo che el re di Inghilterra si conservi bene disposto"¹⁷, ragion per cui era cruciale prevenire perniciosi "accordi particolari" fra Francesco I e Carlo V, col rischio di suggellare la rovina d'Italia.

A quel punto si verificò un'accelerazione degli eventi, già prevista da Machiavelli, che si trattenne a Roma per una quindicina di giorni, ripartendo prima del 27 aprile. Subito dopo la nomina di Guicciardini a Luogotenente pontificio, Giberti sentì il bisogno di farne un forte elogio al vescovo di Pola, Altobello Averoldi, che si occupava delle relazioni coi veneziani:

¹⁶ Per questa e le successive citazioni dalle *Lettere* di Machiavelli citiamo dall'edizione nazionale coordinata da F. Bausi e a cura di A. Decaria, A. Guidi, M. Simonetta et al., in corso di stampa presso Salerno Editrice.

¹⁷ F. Guicciardini a R. Acciaiuoli, Roma, 20 aprile 1526 (*Le lettere*. Vol. X. P. 400 e ss.), ma la corrispondenza con il nunzio in Inghilterra Uberto Gambarà, in parte ancora inedita nonostante le integrazioni del vol. XI delle "Lettere", dimostra che il "capitale" non era così ben investito.

“Perché quanto più ho praticato, tanto mi è riuscito il Signor M. Francesco Guicciardino *huomo di maggior animo et di maggior prudentia*; non mi pare che per quelle parti sole, ch’io prima amavo grandemente in sua Signoria d’un *sommo valore, mostrato continuatamente dal tempo della Santa memoria di Leone in qua*, sia conosciuto à bastanza, et però non si marauigli, V. S. se di persona à lei nota li dico, che tra tutte le provisioni, che N. S. ha fatte per questa impresa, benché tutte siano in quella perfettion, che si è potuto, nessuna mi fa star con l’animo più consolato, et sicuro di quel successo, che si desidera, che l’elettione di mandar sua S. in campo, commissario et Locotenente generale di sua Santità; perché oltre alla fede, alla prudentia et allo *ardor*, che ha della libertà d’Italia, è di tanta destrezza, & così atto ad essere amato da tutti, ch’io ho ferma speranza, debba sua Signoria essere un vincolo di concordia tra li Capitani di sua Santità: benché ancor li honori, & li carichi son talmente distribuiti che ogniun resta contento della parte che li è data, è sua Signoria huomo di grandissimo animo, ricco di partiti et molto affettionato Servitore della Illustrissima Signoria, né dubito, che debba molto bene intendersi in ogni cosa con l’Illustrissimo Capitano Signor Duca d’Urbino & col Magnifico Signor Proveditor della Illustrissima Signoria, sì per il natural suo, sì per le commissioni, che porta da N. Signore di procedere unitamente, et come la fortuna è fatta commune, à gloria, & salute d’Italia, così siano li consigli di ciò, che si farà”¹⁸.

In effetti le *provisioni* non erano sufficienti, mentre le *previsioni* erano fin troppo ottimistiche. Francesco Maria Della Rovere, il duca di Urbino spodestato da Leone X, aveva

¹⁸ G.M. Giberti ad A. Averoldi, Roma, 10 giugno 1526 (Lettere di Principi. Vol. II. Venezia, 1575, 111v–113r); Cf. *Prosperi* A. Op. cit. P. 65.

molte ragioni per voler male a Clemente VII, come al suo inviato¹⁹. E non c'era un nuovo Giulio Cesare a capo dell'esercito della Lega, tanto che Guicciardini ne fece una feroce parodia coniato l'epigramma *veni, vidi, fugi*, che alla luce della precedente lode del cardinale legato si tinge di ironia ancor più sferzante. Per cogliere lo scoraggiamento dei pontifici, ci viene in aiuto il regesto inedito di una lettera di Giberti a Canossa, scritta il 23 giugno 1526:

“nella quale con bellissime parole, e miglior concetti mostra il pregiudizio, che risulti dalla tardanza delli effetti, e parole che si davano al Papa dal Re di Francia procedendogli da Veneziani con molta prudenza, e circospettione, in vece di animosità onde la guerra si rendeva più difficile, essendosi l'inimico di già molto bene preparato per la commodità del tempo, che havea avuta; che *li dispiaceva che il papa fosse entrato tant'oltre, che lo consigliarebbe a ritirarsene se non fosse ch'è pur meglio morir generosamente con l'arme in mano, che lasciarsi beber il sangue a poco a poco*”²⁰.

Dopo il fallimento della missione milanese, quello stillicidio vampiresco prese il sopravvento sull'audace proposito virile, ma fa una certa impressione vedere questi propositi marziali nella penna dello *spirituale* vescovo di Verona rivolto al grande *cortegiano* Lodovico da Canossa²¹.

Ma anche il *quondam* segretario non ci faceva una bella figura. Da Faenza, a fine luglio 1526, Guicciardini scrisse a Cesare Colombo (il suo uomo di fiducia a Roma): “Dite a Nostro Signore [papa Clemente] che el Machiavello, per

¹⁹ *Simonetta M.* Le rôle de Francesco Guicciardini dans le Tumulto del venerdì (26 avril 1527) selon certaines sources non florentines // *Laboratoire italien*. №. 17. 2016. P. 287–306.

²⁰ G.M. Giberti a L. Canossa, Roma, 23 giugno 1526 (Biblioteca Oliveriana, ms. 443, 280v–281r; corsivi nostri).

²¹ *Alonge G.* *Ambasciatori*. Roma, 2019; *Simonetta M.* *Volpi e Leoni; Tutti gli uomini di Machiavelli...*

havere qualche necessità di andare insino a Firenze per certe sue faccende, ha preso partito di andarvi stamani”²². E qualche settimana dopo, in un’aggiunta autografa al fratello Luigi del 19 agosto 1526, glossava malizioso: “Del Machi[avello] cioè della sua paura, non vi potrei dire tanto, che non sia in facto molto di più”²³.

Se persino Machiavelli aveva paura, la situazione era veramente disperata. Il coraggio non ce lo si può dare, a meno di non essere... Datario!

Giberti interprete di Dio

Il destino di Giberti, bastardo di nascita come Giulio, è legato profondamente al suo signore e padrone, sin da quando lo prescelse come segretario particolare. Fu Gian Matteo, con l’aiuto di Alberto Pio da Carpi, a volgere l’incerto pontefice verso una decisa alleanza con la Francia. All’inizio del 1527 Giberti sapeva di giocarsi il tutto per tutto: per sé, per il papa, per Roma, e per l’Italia. Era naturale appellarsi alla più alta autorità, quella divina. Scrisse dunque a Francesco Guicciardini, Roma, 23 gennaio 1527:

“Li modi del S.or Viceré et de tutti questi di qua che dipoi tanti di che el Generale è partito et el S.or Cesar Feramosca arrivato mai han mandato a rispondere niente si concordò molto bene con la risposta de V.S. ce ha mandato di Mons. di Borbone per la sua de xvij e benché mi para stranno et non pensi che tanta alteza possi nascere senza gran fondamento di tenerci sotto e piedi pur dall’altro canto *iudicando le cose*

²² F. Guicciardini a C. Colombo, Faenza, 26 luglio 1526 (Le lettere. Vol. X. P. 138).

²³ F. Guicciardini a L. Guicciardini, Casaretto, 19 agosto 1526 (CS I 129, 163 in Guicciardini F. Carteggi / A cura di P.G.Ricci. Roma, 1972. Vol. XVII, n. 149, p. 194–195).

*secondo che io vedo e di qua e di là vo interpretando se M. Domine Dio ci volesse tornare un poco della sua gratia con fare loro troppo avidi fuor di ragione et noi più gagliardi et animosi per questo loro procedere sì fatto*²⁴.

Lo spirituale Datario parla la lingua teologica della grazia e quella umana del coraggio (“gagliardi e animosi”), reagendo all’*alteza*, cioè all’alterigia e volontà di potenza e di oppressione (“tenerci sotto i piedi”) con dignità, ma ad un certo rischio. Non poteva essere più chiaro ed esplicito l’avvertimento di Guicciardini a Giberti, inviato da Forlì il 20 aprile 1527 (subito dopo la partenza di Machiavelli):

“<...> ma ruinano le chiese, profanano li sacramenti, mectono *heresia* nella fede di Cristo. <...> Se in Nostro Signore è tanto animo o tanta determinatione che possa patire prima perdere la gloria del mondo, perdere lo stato temporale che hanno acquistato e suoi predecessori, vedere *ruinare* la patria sua che né per nobilità né per qualità di ingegni né per li obsequi che ha facto a casa sua non lo meriti, privare el sangue suo di quello grado et di quello splendore che non gli hanno già dato e pontefici ma le *virtù et fortuna* delli avoli suoi; se tucte queste cose gli paiono vili respecto a uno proposito (direi parole più grave, se la reverentia non mi impedissi) che s’ha messo nell’animo di non volere con el fare cardinali o con modi simili evitare tanta *ruina*, non gli debbe già parere vile, la auctorità spirituale, la fede di Cristo che perdendosi questa guerra se ne va in preda di *lutherani*, la salute di tante anime [per non parlare dei corpi!] che sono commesse alla cura sua. Non l’ha electo Dio per suo Vicario a questo effecto: perché lasci *ruinare* la Chiesa et la fede sua et empire el mondo di *heretici*... Né è buono capo lasciare andare in preda le cose sancte; non conscientia lasciare *ruinare* la

²⁴ G. M. Giberti a F. Guicciardini, Roma, 23 gennaio 1527 (AGF XXI 799), inedita e parzialmente decifrata (corsivi nostri).

fede di Cristo; non virtù lasciare e catholici in preda delli *heretici*”²⁵.

Tale insistenza sulla *rovina* collegata agli *eretici* è un’anticipazione del Sacco, e dei disperati tentativi di salvare il papa ostaggio a Castel Sant’Angelo ²⁶. *Post factum*, Guicciardini scriverà al Gambara dal Campo di Isola, alla fine di maggio 1527:

“...sì per la salute di N. S.re se li rimedij saranno a tempo per sua Santità, come per la conservatione della Sede Apostolica, e dell’Italia tutta, la quale se non è soccorsa potentissimamente, e presto, sarà saccheggiata in brevissimo / tempo dall’inimici *con la medesima crudeltà, che hanno usata in Roma, dove non si è pretermessa per loro alcuna specie d’avaritia, di libidine, et di sacrileggij, si possa immaginare, cose che non solo a chi le ha vedute, ma chi ne ha udito pure una piccola parte non può ricordarsene senza acerbissimo dolore, di modo, che dove prima si trattava della libertà della povera Italia, si combatte hora la salute del mondo, et della fede di Cristo conculcata da questi heretici*”²⁷.

Il tono è da palingenesi, anzi da apocalissi. Il non più cesareo Giulio era diventato Clemente, ma poco gli serviva la “fede di Cristo”, *conculcata* dai luterani – la setta nata sotto gli occhi distratti del cugino. La metamorfosi secolare in papa (a differenza di Enea Silvio Piccolomini, diventato virgilianamente Pio) era stata, come in certi miti ovidiani, una maledizione. Il nuovo Cesare era Carlo V, che lasciava scorrazzare i suoi soldatucci nella Città Eterna.

²⁵ F. Guicciardini a G. M. Giberti, Forlì, 20 aprile 1527 (Opere inedite. Vol. V. P. 415–417; Cf. *Guicciardini F. Carteggi* / A cura di P. G. Ricci. Roma, 1968. Vol. XIII, n. 149).

²⁶ *Simonetta M. Guicciardini e la “rovina d’Italia”...*

²⁷ F. Guicciardini al U. Gambara dal Campo di Isola, 29–31 maggio 1527 (ASA, Fondo Pio 53, 113v–114r; corsivi nostri).

Eppure a Bologna, dove il papa ritrovò l'imperatore per incoronarlo, l'ambasciatore veneziano Gasparo Contarini lodò la clemenza imperiale, "quella che ha fatto celebre il nome dei di lei predecessori, questa innalzò Giulio Cesare al cielo"²⁸. Era una soluzione retorica e diplomatica molto abile, da parte del futuro cardinale riformatore, che univa la tradizione cristiana con quella cesariana, mettendo da parte gli aspetti violenti del primo Cesare. E non è un caso che Contarini fosse uno dei più grandi estimatori di Giberti, "creatura del papa"²⁹, lodato nella sua *Relazione* al Senato di Venezia nel 1530.

Il centauro Giulio non era Chirone, e forse non imparò a sufficienza a cavalcare le sue bestie...

Per concludere questo breve intervento, ricorriamo alle eloquenti parole di Gaetano Lettieri:

"Insomma, la questione di Giulio mi pare questa: è un vero centauro, mezzo bastardo e mezzo pontefice, mezzo principe guerriero e mezzo capo della cristianità, mezzo lucido politico e mezzo "buon cristiano". Non si può sottovalutare un dato storico macroscopico (rimproveratogli aspramente da Machiavelli e non solo): non fare soldi (quindi rinunciare a rafforzarsi militarmente *prima* della guerra) creando cardinali; non vuole essere un papa simoniac! Riconosco in lui, a

²⁸ D'Amico J. C. Charles V maître du monde entre mythe et réalité. Caen, 2004. P. 109 (dove però la citazione è riferita erroneamente ai *Diarii* di M. Sanuto, mentre viene dalle Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato / A cura di E. Albèri. Serie II. Vol. III. Firenze, 1846. P. 179).

²⁹ Cf. Gaspare Contarini in Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, cit. P. 268–269: "Il vescovo di Verona [Giberti] supera di intrinsechezza con Sua Santità tutti questi; ma ha deliberatamente lasciato la Corte, ed attende al suo vescovato. Costui ha sempre tenuto la parte francese, ed è affezionato a Vostra Serenità; ma a me pare sopra tutto *ottimo religioso e vero vescovo* ; avendo veduto che, né la persuasione dei cardinali di Vostra Serenità (la quale io feci per di lei nome), né il papa, lo hanno potuto tenere in Corte, lontano dal suo vescovato" (Cf. Ibid. P. 233 per l'epiteto citato nel testo).

differenza di Leone, la presenza di un nobile idealismo affine a quello di Carlo V. In lui, uomo a mio avviso intelligentissimo, il centauro alla fine non può non spaccarsi»³⁰.

Il suo destino era fatalmente legato, come abbiamo detto, a quello di Giberti, come ci mostra un aneddoto raccontato dell'agente mantovano a Roma. Clemente VII, di ritorno dalla Francia dove aveva presieduto al matrimonio di Caterina de' Medici:

“arrivò in Roma con tanta festa, triumpho et allegrezza quanto dire si possi <...> mentre era in camino et non molto discosto da Roma gli venne l'aviso come lo vescovo di Verona [Giberti] era stato amazato, della qualcosa sua Beatitudine ne rimase dolente et turbata di sorte che stando fra quei pensieri gli cadde lo cavallo sotto, non senza grandissimo pericolo di sua persona; nondimeno a iddio piacque che ella non avesse alcun' male et hora sta benissimo”³¹.

Guicciardini e Giberti erano stati i sostenitori della fatale scelta pro-francese del papa, e le loro vite restarono legate ai suoi effetti, fino alla morte del papa, anticipata dalle *fake news* coeve o celebrata postumamente nella *Storia d'Italia*.

³⁰ Comunicazione elettronica di Gaetano Lettieri, 1 febbraio 2020.

³¹ F. Pellegrini a F. Gonzaga, Roma, 12 dicembre 1533 (ASMn, AG, b. 882, 166r). Secondo lo stesso agente, Giberti fu considerato per il cardinalato da Paolo III, “in caso che'l facci chiaro essere legitimo et non naturale” (*Idem eidem*. 2 novembre 1536. Ibid. b. 886, 116v).

**МАКИАВЕЛЛИ, ГВИЧЧАРДИНИ И
СОВРЕМЕННЫЕ ИМ ИСТОРИКИ**

V

**MACHIAVELLI, GUICCIARDINI E GLI
STORICI LORO CONTEMPORANEI**

*Павел Юрьевич Уваров,
Институт всеобщей истории РАН*

История пишется по документам...
Ничто не может заменить документов:
нет их, нет и истории.

*Ланглуа Ш., Сеньобос Ш.
“Ведение в изучение истории”*

**ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ В
ТРАКТАТЕ РАУЛЯ СПИФАМА
*DICÆARCHIAE HENRICI REGIS CHRISTIANISSIMI
PROGYMNASMATA***

Адвокат Парижского Парламента Рауль Спифам в 1556 г. отпечатал сборник законов, якобы изданных королем Генрихом II. Корпус, включавший в себя свыше 300 королевских постановлений, был озаглавлен «*Dicæarchiae Henrici Regis Christianissimi Progymnasmata*»¹ («Упражнения христианнейшего короля Генриха в добром правлении») и содержал всеобъемлющий план реформ, призванных «лучше организовать дела своего государства»². Парламент велел конфисковать все напечатанные экземпляры этого сочинения. Однако при этом автору не выдвинули обвинений ни в покушении на королевские прерогативы, ни в подлоге. Сочинение не было анонимной мистификацией, коль скоро

¹ *Dicæarchiae Henrici Regis Christianissimi Progymnasmata*. [Paris], 1556 (далее – *Dicæarchiae*).

² “*Optimus reipublicae status*”. *Dicæarchiae*... f .2 r. (пагинация в трактате дается не по страницам, а по листам, хотя и она иногда прерывается).

сам термин *Progymnasmata* определял произведение как жанр риторических упражнений на вымышленную тему. К тому же, во вступлении содержалось латинское посвящение, в котором «Дикэархия...» уподоблялось статуе «христианнейшего короля Генриха, возведенной в Лютеции Парижской с народного одобрения, Раулем Спифамом, галльским поэтом, автором сего сочинения»³. Причина негодования судей была иной. Рауль Спифам по меньшей мере с 1554 г. вступил в открытый конфликт со своими могущественными родственниками и их друзьями в Парижском Парламенте. Ему было запрещено появляться в Парламенте и нападать на уважаемых людей в своих пасквилях. Спифам был объявлен невменяемым и помещен под опеку. Публикация книги означала самоуправство адвоката, нарушение им режима опеки⁴. Несмотря на распоряжение Парламента об уничтожении этой книги, она нашла своих читателей⁵. Одни считали книгу бредом человека, одержимого манией величия⁶, другие – гениальным озарением провидца (по-

³ “*Radelpho Spifama poeta Gallo præconii huius authore*”. Ibidem.

⁴ Десимон Р., Мий Э., Уваров П. Ю. Семейные ценности Спифамов (Разрыв и преемственность в парижском линьяже в XVI–XVII веках) // Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени. Вып. 72 (1–2). 2011. С. 276–277

⁵ Несмотря на то, что в библиотечных и книготорговых каталогах это издание часто помечается как «rare» и даже «rarissime», до нашего времени дошло не менее дюжины экземпляров. Для «книги трудной судьбы», отпечатанной в середине XVI века, это не так уж и мало.

⁶ Апогеем этой версии стал рассказ Жерара де Нерваля «Король Бисетра» (1831 г.). Спифам, скромный адвокат, якобы обладал удивительным внешним сходством с Генрихом II. Однажды он, как гоголевский Поприщин, вообразил себя королем, и попал в дом умалишенных (Бисетр), где стал писать справедливые указы, кидая их из

скольку Спифаму удалось предсказать многое из того, что было претворено в жизнь позднее, вплоть до реформ канцлера Мопу⁷), третьи же принимали некоторые из вымышленных постановлений Спифама за вполне аутентичные королевские законы⁸.

При всей экстравагантности своего поведения Рауль Спифам был наблюдательным человеком и опытным юристом. К тому же он общался с теми, кто разрабатывал реформационные эдикты Генриха II⁹. Беспрецедентные преобразования, начатые этим

окна проходим. *Nerval G. de. Le roi de Bicêtre (XVI^e siècle): Raoul Spifame // Idem. Oeuvres. Paris, 1958. P. 82–97.*

⁷ *Auffray J. Vues d'un politique du XVI^e siècle sur la législation de son temps, également propres à réformer celle de nos jours, ou Choix des arrests qui composent le Recueil de Raoul Spifame, connu sous le titre de Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi Progymnasmata. Amsterdam; Paris, 1775; Fournel V. Paris nouvel et Paris future. Paris, 1868. P. 398, n. 4; Defrance E. Histoire de l'éclairage des rues de Paris. Paris, 1904. P. 22; Mathorez J. Un radical-socialiste sous Henri II: Raoul Spifame // Revue politique et parlementaire. T. 89. 1914. P. 538–559; Jeanclos Y. Les projets de réforme judiciaire de Raoul Spifame. Genève, 1977; Heller H. Labour, Science and Technology in France, 1500–1620. Cambridge, 1998. P. 69–73.*

⁸ *Sainte-Marthe A. [II] de. Plaidoyez de Messire Nicolas de Corberon... avec les arrests intervenus sur ces plaidoyez: Paris: 1693. P. 502; Brillon P. F. Dictionnaire des arrests ou jurisprudence universelle des parlemens de France, et autres tribunaux... Paris, 1727. T. III. P. 926–968; Estivals R. Le Dépôt légal sous l'Ancien régime de 1537 à 1791. Paris, 1961. P. 108.*

⁹ Судя по всему, Спифама связывали некие узы признательности с Жаном Дютье, одним из четырех государственных секретарей, чьи должности, учрежденные Генрихом II, считаются прообразами позднейших министерских должностей. Именно он подписывал от имени королевского Тайного совета постановления, предписывающие приостановить судебное преследование Рауля Спифама. В свою очередь, автор «Дикэархии» весьма лестно отзывался о Жане Дютье в своем XIX-ом постановлении.

правителем, были прерваны возобновившимся конфликтом с Испанией, внезапной его гибелью (1559) и последующими Религиозными войнами. Моя гипотеза состоит в том, что Спифам стремился подражать логике королевских реформ и по возможности углубить их, эксплицитно (и даже немного шаржировано) провозглашая идеологию преобразований, которая имплицитно присутствовала в деятельности королевских секретарей, готовящих законы Генриха II.

Из 309 постановлений, которые вошли в том, изданный Раулем Спифамом, примерно каждое шестое так или иначе содержало отсылку к историческому прецеденту. Чаще всего в преамбуле помещалось «Извлечение из хроник Франции», призванное служить если не обоснованием, то поводом к изложению сути постановления. Например, постановление CLXXXVII, предварялось таким «Извлечением»: «В 1411 году в Париже произошел великий мятеж и бунт мясников, каковой неоднократно возобновлялся к выгоде герцога Бургундского, и все это по наущению и проискам Пьера Деззсара, парижского прево, который в качестве главы над ними поставил живодера по прозвищу Кабош¹⁰».

Далее в прагматической части король предписывает в основном меры санитарно-гигиенического характера, приказывая переместить бойни и оптовые мясные рынки за пределы города. Но преамбулу нельзя назвать совсем не относящейся к делу. Автор дает понять, что вооруженные мясники, коим свойственна необузданная жестокость, представляют собой опасность сродни моровому поветрию. Мясников надлежало переместить за городские стены, при этом их лавки надо оставить в Париже, но дозволить торговать в них лишь женам

¹⁰ Dicaearchiae. CLXXXVII, fol. 246 v.

мясников, причем они имели бы право продавать лишь разделанные куски мяса, а не рубить туши сами. «Мужья не должны давать им свои большие ножи, дабы не склонять их к зверской жестокости, каковая, порожденная привычкой смело обходиться с плотью животных, не должна переносить свирепость, зверство и жестокость на людей»¹¹.

Подобные «извлечения» затрагивали период от времен Меровингов до начала правления Людовика XII. Иногда в преамбуле встречались выдержки «из церковных хроник», «из Каталога святых». В некоторых случаях давались ссылки на «Римскую историю», по-видимому, историю Тита Ливия. Более экзотической выглядит ссылка на «Естественную историю» Плиния Старшего в постановлении о бродячих собаках и о правилах содержания собак пастушеских: «Мы находим в естественной истории, что это – одомашненные волки, Только они способны заболеть бешенством сами по себе, и затем заражать другие создания, каковые лишь от них могут заразиться бешенством»¹².

Порой исторические экскурсы содержались не в преамбулах, а в текстах самих постановлений. Вспоминались египетские и римские цари, бывшие одновременно и правителями и жрецами¹³, походы Александра Македонского, Пунические войны, приводились позитивные примеры из римской истории (возведение Пантеона, организация триумфов), пересказывались истории из жизни святых,

¹¹ Dicaearchiae. CLXXXVII, f. 247v–248r.

¹² Dicaearchiae. LXXXVII, f. 112 v.

¹³ Dicaearchiae. f. 2 v. Le Roy seant de son throsne & maiesté Imperiale & pontificale, comme anciennement les rois D’Egypte & de Rome (Qui simul erant Reges & Pontifices)

прославленных деятелей церкви, подвиги рыцарей прошлого. Любопытно, что примеры из Священного писания или из церковной истории достаточно часто давались в тексте постановлений, но не выносились в преамбулу. В качестве образца для подражания приводился также исторический опыт итальянских городов, например, организация Mont-de-piété (ломбардов)¹⁴ или процедура выборов должностных лиц в Венеции¹⁵.

Подлинные указы французского короля Генриха II в преамбулах никогда не содержали подобных отсылок. Как правило, в тексте королевского постановления упоминалось лишь о тех конкретных законах предыдущего царствования, которые надлежало расширить, видоизменить или отменить. В крайнем случае собирательно говорилось о «законах наших предков». Но когда в регистрах Парижского Парламента сообщалось о процедуре утверждения королевских указов и пересказывалось выступление генерального прокурора или канцлера, представлявшего тот или иной закон, исторические примеры в их речах были весьма обильны¹⁶. Эти «люди короля» оставались в первую очередь юристами, а юристам того времени было

¹⁴ Dicaearchiae. VII, f. 8 v.

¹⁵ Dicaearchiae. X VIII, f. 24 v.

¹⁶ Это особенно заметно при чтении сборника законов времен Генриха II, опубликованных в сборнике старых французских законов (так называемый «сборник Изамбера»)… В эдиктах короля никаких примеров нет, но приведенные в издании речи канцлера Оливье во время церемонии Lit de justice 24 июля 1549 г. и королевского прокурора в Парижском парламенте Сегье при регистрации Шатобрианского эдикта 27 июня 1551 г. буквально сотканы из исторических реминисценций (Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789 / Éd. par F.-A. Isambert et al. T. XIII. Paris, 1828. P. 97–98, 207–209).

свойственно оснащать свою речь многочисленными историческими примерами, порой даже сверх меры. В конце XVI – начале XVII столетия в сочинениях-рассуждениях о профессии адвокатов авторы даже предупреждали о недопустимости чрезмерной демонстрации ими своей исторической эрудиции, что мешало разбору сути дела во время судебных заседаний¹⁷. Вообще же в ценности истории для юридической профессии никто не сомневался. Достаточно указать на появление знаменитого «Метода» Жана Бодена, который в посвящении Жану Тессье выделяет три ступени совершенства юристов. Низшую ступень представляют собой те, кто довольствуется лишь знаниями, полученными в школах права, вторую – те, кто помимо этих знаний опирается на богатый практический опыт, и, наконец, третья ступень – удел тех, кто, обладая обширными знаниями, выводит истоки права из первоначала, кто иллюстрирует свои речи примерами, так как «в написанном историками скрывается наилучшая часть всеобщего права, и из него извлекают то, что имеет большой вес и значение для справедливейшей оценки законов...»¹⁸. Очевидно, что Рауль Спифам, хотя иногда и пытался подражать стилистике королевских постановлений, оставался при этом верен дискурсивной практике парижских адвокатов. Но это лишь частичное объяснение «историзма» постановлений, сочиненных этим автором.

В план Рауля Спифама по реорганизации правосудия входило расширение функций королевского Тайного

¹⁷ *Loisel A. Pasquier ou Dialogue des avocats du Parlement de Paris / Éd. par A. Dupin. Paris, 1844. P. 127–128.*

¹⁸ *Боден Ж. Метод легкого чтения историй / Пер. И. В. Кривушина, Е. С. Кривушиной. Т. 1. М., 2018. С. 46.*

совета (*Conseil privés*), в том числе создание при этом совете особого органа – парижской Синдикальной палаты, в свою очередь разделенной на 30 палат¹⁹.

Общей целью этих новых учреждений было «выявление королевских прав за пределами страны и их защита не только от посягательств, но и от забвения...». Впредь любому соглашению с иностранными государями должно было предшествовать всестороннее его рассмотрение, основанное на «изысканиях в глубине веков, в бездне того прошлого, которого обычно боялись коснуться»²⁰. За каждой из палат был закреплен определенный регион: от сопредельных провинций и стран (Палата Артуа и Фландрии, Палата Пьемонта и Савойи) до весьма удаленных земель (Палата Рагузы и Мореи, Палата Португалии и новых земель).

Спифам тщательно распределял обязанности персонала палат, штат каждой из которых должен состоять из следующих должностных лиц: экстраординарного рекетмейстера²¹, королевского секретаря – «грефье» и двух служащих (*commis*) – одного для того, чтобы делать извлечения из Сокровищницы хартий²², второго – чтобы вести регистр,

¹⁹ *Dicaearchiae*. XX, f. 36 r.–37 v.

²⁰ *Dicaearchiae*. XX, f. 36 v.

²¹ “*maître des requêtes*” иногда переводятся на русский язык как «докладчики прошений и жалоб», но это не сильно облегчает понимание.

²² Речь идет о существовавшем со времен Людовика Святого хранилище основных королевских грамот (а позже и регистров королевской Канцелярии) – *Thesaurus chartarum et privilegiorum domini regis*, располагавшемся на втором этаже Святой Капеллы королевского Дворца (совр. Сен-Шапель парижского Дворца Правосудия). Под ней находилась другая «сокровищница» – священные реликвии и драгоценности французской короны.

составлять пространные выписки или снимать копии с найденных грамот.

Спифам регламентирует порядок архивных изысканий: каждой из провинциальных палат выделен определенный день для работы ее сотрудника в сокровищнице хартий, чтобы трудиться в одиночестве и без помех.

Служащие должны находить, регистрировать и копировать документы, относящиеся к компетенции своей палаты, а затем регулярно отчитываться о результатах своих изыскания на заседании Тайного совета, чтобы король и его советники могли «всегда иметь под рукой все договоры, пакты и соглашения, подписанные с иностранными государями, общинами и республиками, что будет служить поддержанию союзов и дружбы с ними, а если случится возмущение, вспыхнет вражда или проявится расположенность к неким новшествам – будет чем быстро ответить на все притязания и жалобы, это хорошее средство поддержать мир, подобно тому, как готовность обнажить шпагу ведет к прочному миру...». Деятельность новых ведомств будет служить «укреплению и расширению прав, принадлежащих королевской короне Франции, коим был нанесен ущерб из-за небрежения долгом их обновления, поддержания и уточнения». Причину этого Спифам видит в хрупкости человеческой памяти, недолговечности жизни людей: те, кто призван заниматься защитой королевских прав, «либо умирают, либо теряют силы и рвение, нужные для продолжения этого дела, или не удосуживаются сообщать о них». В итоге о древних правах короля мало кто знает, «а если кто и получает сведения, то никак не сможет ими воспользоваться для блага Французской короны»²³. Отныне королевские законы будут проходить «историче-

²³ Dicaearchiae. XX, f. 36 r.-v.

скую экспертизу». Впредь король «не будет утверждать ничего, что не имело бы древних неопровержимых и неоспоримых свидетельств, извлеченных из самых лучших во всем мире историй»²⁴.

В более позднем постановлении Спифам «загрузил» палаты дополнительной работой по отысканию доказательств древности королевских прав уже во внутренних провинциях Франции²⁵.

Исторические изыскания должны быть поставлены, таким образом, на службу королевской политике, выполняя важную функцию юридического обоснования в международных спорах. Идея, конечно, не была новой, но поражает уровень систематизации деятельности по добыванию исторических доказательств и ее жесткая привязка к архивным изысканиям.

Помимо политико-дипломатической пользы исторические свидетельства, как и процесс их поиска, имели и иную ценность в глазах автора «Дикэархии». В постановлении XIV предписывалось составить «мартиролог – каталог всех принцев, капитанов, их помощников и прочих воинов, погибших в военных походах ради сохранения и защиты короны Франции, начиная со времен Карла Великого»²⁶. Подобно мартирологу святых этот «каталог воинов» надо было составить по календарному принципу, в соответствии с днями поминовения, и читать его во всех церквах во время утренней службы, «дабы воодушевить дворянство более доблестно служить оружием, среди опасностей войны... в качестве подлинных мучеников, без иной канонизации, если случится им

²⁴ Dicaearchiae. XX, f. 37 r.

²⁵ Dicaearchiae. CCVII, f. 271 r.

²⁶ Dicaearchiae. XIV, f. 15 v.

умереть на этом одре славы»²⁷. Любопытно, что Эрнст Канторович, участник Первой мировой войны, исследовавший вопрос о том, как павшие за родину уподоблялись павшим за веру²⁸, не был знаком с трудом Спифама, но писал практически то же самое.

Но этот важный труд, составление национального мартиролога воинской славы, требовал от исполнителей высокой квалификации и тщательности в исторических изысканиях. Спифам определял фонды, из которых должны были оплачиваться эти поминальные проповеди, а также учреждал должность «штатного историографа доблестных деяний, свершенных добрыми и славными рыцарями»²⁹. Описание подвигов, утверждалось в постановлении, должно быть составлено в хронологическом порядке на латинском и на французском языках. Историограф будет работать в паре со специально назначенным для этого прославленным поэтом. Обе ученые персоны, находясь в Париже, будут иметь свободный доступ на заседания всех высших судов и время от времени рассказывать о своих достижениях. Очертив круг их обязанностей, Спифам определял размер их жалования и указывал статью королевских доходов, из которых оно должно было выплачиваться³⁰.

Обратим внимание на то, что организация и королевское финансирование «исторических служб», которые занимались бы поисками источников либо в политиче-

²⁷ *Dicaearchiae*. XIV, f. 16 r.

²⁸ *Kantorowicz E. H. Pro Patria Mori in Medieval Political Thought // The American Historical Review*. Vol. 56. № 3 (April 1951). P. 472–492.

²⁹ *Dicaearchiae*. XIV, f. 16 v.

³⁰ *Dicaearchiae*. XIV, f. 17 r. Размер их ежегодного жалования определялся в 1200 ливров, что соответствовало жалованию советника любого из парижских высших судов.

ских целях, либо в целях «военно-патриотического воспитания», предполагает разные требования к исполнителям. Один более сосредоточен на архивных изысканиях, другой отвечает за форму изложения. Действительно, при чтении спифамовских постановлений под номерами XX и XIV, вспоминается структура «Введения в изучение истории» и намеченная в ней иерархия историков: эрудиты, занимающиеся первичным поиском документов, авторы частных монографий и самые уважаемые – авторы работ обобщающего характера, предназначенных как для специалистов, так и для широкой публики.

Но понимал ли Спифам и его читатели, что речь идет об одной и той же сфере человеческой деятельности? У меня нет в этом уверенности. Характерно, что в XVIII столетии Жак Офрэ, горячий почитатель проектов Спифамы, с энтузиазмом комментирует план создания Национального мартиролога³¹, но оставляет без внимания проект организации поиска важных для государства исторических документов.

В некоторых случаях предлагаемые Спифамом меры (связанные с реформами судопроизводства, с реорганизацией отношений королевской власти и католической церкви, с преобразованием городского пространства), как выяснилось, уже прорабатывались в королевском «штабе реформ».

³¹ «Учреждение военного мартиролога по предложенному плану кажется нам заслуживающим тем большего одобрения, что оно придало бы яркость образам наших Воинов, память о которых должна сохраняться с большим усердием, чем ныне... Годовой каталог, должным образом составленный, послужил бы для того, чтобы питать ту любовь к Родине, которая формирует Героев...». *Auffray J. Vues d'un politique du XVI^e siècle ...* P. 18.

Можно ли предположить нечто подобное в области историописания, что могло послужить для Спифама источником вдохновения?

Спорадически употреблявшийся по меньшей мере с середины XV столетия термин «королевский историограф» именно при Генрихе II из почетного именованья превращается в обозначение должности на регулярном королевском жаловании. Во всяком случае, самое раннее дошедшее до нас королевское *brevet* (распоряжение без печати и официальной регистрации) о получении жалования из сохранной казны было выдано Генрихом II Пьеру Пасхалю, «королевскому историографу»³², которого, впрочем, мы назвали бы скорее поэтом, чем историком. Работа по разысканию исторических документов и по установлению их подлинности еще не скоро станет непременным условием деятельности историка. Однако именно современник Спифама – секретарь Парижского Парламента Жан Дю Тийе – в середине XVI в. писал свои во многом беспрецедентные труды по общей истории Франции уже на основании архивных источников, правда его главные исторические сочинения будут опубликованы лишь после его смерти (1570)³³. Но с начала 1560-х гг. молодой парижский адвокат Этьен Паскье начинает издавать свои знаменитые «Разыскания по исто-

³² *Fossier F.* La charge d'historiographe du XVI^e au XIX^e siècle // *Revue historique.* Т. 258. 1977. P. 74.

³³ Он начал публиковать свои исторические сочинения достаточно рано: *Du Tillet J.* La Chronique des Roys de France, puis Pharamond jusques au Roy Henry, second du nom, selon la computation des ans, jusques en l'an mil cinq cens quarante & neuf. Paris: René Avril, Galliot Du Pré, 1549. Но полностью метод Дю Тийе раскрылся в посмертном издании: *Du Tillet J.* Recueil des rois de France, leurs couronne et maison... Paris: J. Du Puys, 1580.

рии Франции»³⁴, также опираясь преимущественно на первоисточники.

Конечно, идея, что, человек занимающийся историей, должен трудиться, преимущественно опираясь на найденные им исторические документы, утверждалась очень медленно. Характерно, что ее первыми адептами становятся именно судейские – Дю Тийе, Паскье, Боден. В следующем столетии представление о том, что история пишется по источникам, будет укрепляться в основном в трудах историков – представителей монашеских орденов.

Но странный опус Спифама, возможно, открывает нам альтернативный, «огосударствлённый», путь развития исторического знания, реализация которого была приостановлена коллапсом Религиозных войн.

³⁴ *Pasquier E. Des recherches de la France, livre premiere. Paris: Vincent Sertenas, 1560.*

*А.Д. Щеглов,
Институт всеобщей истории РАН*

«ШВЕДСКАЯ ХРОНИКА» ОЛАУСА ПЕТРИ: СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ И ВЛИЯНИЕ РЕНЕССАНСА

Олаус Петри и его исторический труд

Олаус Петри – шведский классик, реформатор, религиозный просветитель, историк. Одно из главных его произведений – «Шведская хроника», которая охватывает историю Швеции с древнейших времен до начала XVI в. Эта хроника интересна как ученый труд, памятник литературы и исторический источник¹.

Олаус родился около 1493 г. в городе Эребру. Окончив школу, поступил в Уппсальский университет, затем уехал в Лейпциг, а потом в Виттенберг, где стал студентом. В 1517 г. получил степень бакалавра, в 1518 стал магистром. В то время в Германии началась Реформация. Олаус проникся идеями Лютера, примкнул к его сторонникам. В 1519 г. Олаус вернулся на родину и в качестве секретаря поступил на службу стренгнесскому епископу Матиасу Грегории. Вторая половина 20-х гг. XVI в. явилась временем успехов шведской Реформации. На всесословном собрании – риксдаге 1527 г. были приняты резолюции о редукции церковных владений, о налогообложении церкви и о проповеди «чистого Слова

¹ Для данной работы использовалось издание хроники, вошедшее в собрание сочинений Олауса Петри: Olaus Petri Samlade skrifter. Uppsala, 1917. Bd. IV (далее – OPSS IV). S. 1–298. Русский перевод хроники выполнен автором: *Олаус Петри. Шведская хроника* / Пер. А.Д. Щеглова. М., 2012.

Божьего», т.е фактически о проповеди реформационных идей. Реформы были выгодны королю, которому немало помог Олаус Петри.

В начале 30-х гг. XVI в. реформаторы добились множества успехов. Олаус Петри стал секретарем короля; брат «местера Улофа» Лаврентиус Петри был избран Уппсальским архиепископом. И все же положение лидеров шведской Реформации было непрочным. Покровительство короля Олаусу Петри сменилось опалой; монарх уволил Олауса с должности секретаря. В 1539 г. в отношениях Олауса Петри и Густава Васы наступил кризис. Олаус Петри опубликовал сочинение о кощунственных клятвах, в которых упоминалось имя Бога. Там говорилось: властям нужно наказывать богохульников. Но нынешние правители не таковы: они сами кощунствуют больше всех... Указанный труд возмутил Густава Васу. Король объявил: это призыв к мятежу, а не христианское поучение.

Имелись и другие обстоятельства, которые разгневали Густава Васу. Король ознакомился с «Шведской хроникой» «местера Улофа», по-видимому, в ранней редакции, и обнаружил нежелательные мысли. В конце 1539 г. состоялся суд. Было зачтено обвинение: в проповедях и хронике «местера Улофа» содержатся призывы к мятежу. Суд приговорил Олауса к смертной казни. «Местер Улоф» обратился с просьбой о помиловании. Ходатайство было удовлетворено. Опала оказалась недолгой. В 1541 г. Олаус получил от короля письмо. Там говорилось: король желает, чтобы «местер Улоф» написал историю деяний монарха; в хронике должно быть описано, как король освободил Швецию, какие лишения перенес, как боролся с врагами.

Олаус Петри умер 19 апреля 1552 г. Спустя небольшое время король вновь прочел рукопись «Шведской

хроники» и пришел в ужас. Король обвинил Олауса в клевете в отношении шведов и в сочувствии к врагам Швеции. Монарх приказал конфисковать списки хроники и запретил ее печатать. Тем не менее хроника распространялась в списках и была по достоинству оценена читателями и как ценный исторический труд, и как источник мудрых мыслей.

Мнения историков о «Шведской хронике»

Хроника Олауса Петри была в конце концов опубликована в XIX веке, и это стимулировало интерес ученых к данному произведению. Так, Л. Ставенон констатировал: хроника Олауса Петри, в отличие от хроник многих предшественников и современников автора, объективна, толерантна². Согласно Г. Лёву, новое, что отличало хронику Олауса Петри от более ранних шведских хроник, заключалось в убеждении: историк должен стремиться к беспристрастности и истине. При этом данная хроника, согласно Лёву, обладает и значительными художественными достоинствами³.

Вехой в исследовании «Шведской хроники» стала монография Г. Вестина, посвященная источникам и методам Олауса Петри как историка. Вестин показал, что хроника Олауса Петри в значительной степени основана на труде более раннего хрониста – Эрикуса Олаи. Но наряду с указанной хроникой Олаус использовал другие источники, в том числе документальные. Это позволило скорректировать повествование, подвергнуть его пере-

² *Stavenow L.* Olaus Petri som historieskrivare. Göteborg, 1898.

³ *Löw G.* Sveriges forntid i svensk historieskrivning. Stockholm, 1908.

работке, сделать цельным и последовательным⁴. Из более поздних исследований, посвященных хронике Олауса Петри, наибольшее значение имеет работа У. Ферма⁵. Указанный историк считает, что хроника Олауса Петри относится к жанру т.н. «прагматической историографии», для которой характерны следующие признаки: 1) историк разъясняет мотивы, которыми руководствовались исторические деятели; 2) историк пишет, чтобы его труд был полезен современникам и потомкам. Хроника Олауса Петри соответствует указанным критериям. Это видно уже из вступления: «Бог... устроил так, что жизнь и правление тех, кто некогда жил в этом мире, надлежит описывать ради исправления и предостережения их потомков, дабы те могли узнать, какие начинания сопровождаются успехом, а какие – неудачны и ведут к дурному исходу»⁶.

Как указывает Ферм, для Олауса важны причинно-следственные связи: «Истории, сиречь хроники, следует писать так, чтобы в них... излагалось, от каких причин произошли беспорядки и войны, и каким образом был сохранен мир и покой...»⁷. Польза «прагматической» истории основана на том, что человеческая природа неизменна: по словам Олауса, «мир не меняется».

Польза, рассуждает Олаус, возможна, если историк беспристрастен. В трудах предшественников, по мнению «местера Улофа», дело обстоит иначе: «...Многое было написано людьми пристрастными. Такие люди возвышали тех, чьей стороны держались, и как можно более при-

⁴ *Westin G.T.* Historieskrivaren Olaus Petri. Svenska krönikans källor och krönikeförfattarens metod. Lund, 1946.

⁵ *Ferm O.* Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva historia i 1500-talets Sverige. Stockholm, 2007.

⁶ *Олаус Петри.* Указ. соч. С. 5. Ср.: OPSS IV. S. 1.

⁷ *Олаус Петри.* Указ. соч. С. 5; OPSS IV. S. 1.

нижали их противников; истина же... оказывалась в пренебрежении»⁸. Задача историка – стремиться к истине.

Сложен вопрос: какие историки повлияли на Олауса Петри. Возможно, на позицию Олауса повлияли идеи Меланхтона: историю полезно изучать, история – основа всех наук: ведь события, воспринимаемые сознанием, выстроены во времени, в хронологическом порядке, и сохраняются в памяти. Ферм показывает: в отношении взглядов на историю между Меланхтоном и Олаусом Петри имелись и различия. Меланхтон как историк достаточно пристрастен: его труды подчинены религиозным идеям. Хроника Олауса более исторична, его объяснения событий более разнообразны.

По мнению Ферма, образцами для Олауса Петри могли служить и античные историки. Особенно показательное сравнение с Полибием. И Полибий, и Олаус утверждали: исторические труды следует изучать для пользы, а не ради развлечения. История учит правильно поступать, не повторять чужих ошибок. Оба историка считали: необходимо выяснить причины событий, мотивы, которыми руководствовались люди. Оба полагали, что исторические труды должны быть правдивы. И Полибий, и Олаус Петри придерживались мнения, что автор исторического произведения должен быть беспристрастен. Оба были строги по части отбора источников, отказывались использовать древние сказания как исторический материал⁹.

В исследовании Ферма содержится ряд интересных и полезных выводов. Однако с некоторыми из его заключений можно поспорить. Так, Ферм полагает, что Олаус Петри – это историк-реформатор. Что же касается ренес-

⁸ *Олаус Петри*. Указ. соч. С. 5–6. Ср.: OPSS IV. S. 2.

⁹ См.: *Ferm O.* Op. cit. S. 120–153.

сансного гуманизма, то он, по Ферму, не оказал влияния на Олауса Петри как историка.

На мой взгляд, с Фермом в этом отношении можно поспорить. Мой метод полемики в данном случае заключается в том, чтобы рассмотреть ряд ключевых эпизодов «Шведской хроники» в совокупности с другими произведениями Олауса Петри и выявить в них элементы гуманистического мировоззрения.

Дань средневековым традициям

Прежде всего отметим, что Олаус являлся отнюдь не только новатором: он многое унаследовал от предшественников – средневековых хронистов. Так, в «Шведской хронике» отразилась характерная для средневековой культуры концепция постоянства и непостоянства мира – лат.: *stabilitas / instabilitas*; ср.-швед.: *stadighet / ostadighet*. Согласно средневековым представлениям, мир неустойчив, шаток – *instabilis*. Устойчивым, непреходящим (*stabilis*) является Бог. Человек должен осознать бренность мира, оставить суетные помыслы. Такие рассуждения были распространены во всей Европе; в Швеции они являлись немаловажным мотивом в откровениях Святой Биргитты. С идеей непостоянства связан образ колеса фортуны, которое то возносит человека, то сбрасывает вниз. В «Шведской хронике» содержатся типично средневековые рассуждения о «колесе счастья» и бренности мира сего.

И многие другие религиозные идеи в «Шведской хронике» столь же просты и традиционны. Дьявол, по Олаусу, князь мира сего, но Бог сильнее дьявола. Бог чудесным образом карает зло и вознаграждает добро. С этим связаны размышления о судьбах народов, в первую очередь – шведского народа. По Олаусу, бедствия, которые

претерпели шведы, – кара от Бога за грехи правителей и их подданных.

С традиционными, средневековыми представлениями в хронике Олауса Петри соседствуют новые, ренессансные. Это, в частности, отразилось в описании короля Эрика Святого – небесного покровителя Швеции, образ которого получил в «Шведской хронике» новую трактовку по сравнению с характеристиками указанного короля в средневековых источниках.

*Образ Эрика Святого:
рассуждения о благородстве и добродетели*

Олаус Петри более всего ценил в правителях добродетель, ум, справедливость, заботу о подданных, миролюбие. Один из образцов монарха для «местера Улофа» – святой король Эрик (Эрик Йедвардссон). Описывая его, Олаус опирался на житие Эрика и на хроники предшественников – прежде всего, на «Хронику Готского королевства» Эрикуса Олаи. Но образ святого короля Олаус изменил, по-иному расставив акценты.

Эрикус Олаи, описывая деяния Святого Эрика, черпал материал из жития. Он воспроизвел сведения о том, что Святой Эрик был кроток и добродетелен; что за эти качества его избрали королем магнаты и весь народ; что в его жилах текла кровь королей и знати; что он усердно молился, бодрствовал, постился, раздавал милостыню, носил вретиче, омывался ледяной водой...¹⁰.

Два момента в жизни Святого Эрика интересовали Эрикуса Олаи особо. Первый – обстоятельства избрания Эрика Йедвардссона королем. В них, по мнению хрони-

¹⁰ См.: *Ericus Olai. Chronica regni gothorum.* / Textkritische Ausgabe von E. Neuman und J. Öberg. Bd. I. Stockholm, 1993. S. 67–69.

ста, проявился чудесный промысел Божий. Трудные времена таят в себе особый смысл: в конце концов Бог посылает людям достойного правителя. Не случайно избрание короля состоялось в круглом, «юбилейном» году: такие годы – особенно счастливые. Второй вопрос, который занимает Эрикуса Олаи, – это вопрос о происхождении святого короля. Хронисту была известна версия, согласно которой отцом Эрика Йедварссона был «добрый богатый бонд» (*en godher ryker bonde*); бонды и избрали его королем (*bönder walde honom til konung*). Эрикус Олаи взялся опровергнуть эту версию. Он указывает: о знатном происхождении короля Эрика сказано в житиях и в литургических гимнах. Церковь не может ошибаться в вопросах, связанных с верой, следовательно, Эрик Йедварссон – человек высокого происхождения. Какой смысл был для прелатов в том, чтобы обманывать людей относительно предков святого? Ведь если бы упомянутый король-мученик действительно происходил из низкого рода, то тем большая ему подобала бы хвала за то, что он столь возвысился. Тогда всем было бы ясно, что его восхождение на престол – необычайное происшествие, чудо. Но допустим, когда-нибудь докажут, что этот святой король – незнатного происхождения; что ж, про любого властелина можно сказать, что он выходец из простого люда: ведь людей на знатных и незнатных делит не природа, а судьба. И вообще, к чему эти споры о происхождении? Все мы исходим от одного отца. Да и в Ветхом Завете содержатся сведения о достойных людях, которые были рождены от служанок¹¹.

Суждения Эрикуса Олаи по данному вопросу – весьма традиционные, типично средневековые. В них присутствуют «демократические» ноты, но преобладает

¹¹ *Ericus Olai. Chronica regni gothorum. S. 68–69.*

аристократическая идеология. Для Эрикуса Олаи важно, что Эрик Святой являлся выходцем из знатного рода. Мы также видим, что спор о предках святого Эрика хрониста интересует не только сам по себе, но и как своего рода повод для упражнения в логике и риторике.

В свою очередь, Олаус Петри был знаком и с житием Святого Эрика, и с рассказом об этом святом в хронике Эрикуса Олаи. Однако он не стал воспроизводить дословно эти сообщения, а поведал об Эрике своими словами, выразил собственные взгляды. Он упомянул о борьбе за престол между Эриком и его соперником и между потомками обоих королей:

«Говорят, когда король Сверкер умер, эстьёты избрали королем его сына Карла. Но у них ничего не вышло: народ Упланда избрал королем человека по имени Эрик Йедвардссон, которого ныне называют Святым Эриком; из-за этого возникла смертельная ненависть и начался великий раздор между Эстерьётландом и Упландом. Упландцы неизменно поддерживали род Святого Эрика, а эстьёты – род Сверкера, а эти два рода враждовали друг с другом, к ущербу и разорению всего королевства»¹².

Олаус, как можно убедиться, не принимает сторону упландцев, а сохраняет нейтральность, следуя принципу объективности, необходимость которой он подчеркивает в своей хронике. Эрик Святой предстает перед читателями хроники в новом свете: его избрание привело к междоусобной распре, которая длилась много лет. Олаус, тем не менее, с уважением относится к благочестию Святого Эрика, но главной его добродетелью считает не аскезу, а заботу о подданных:

«Об этом короле Эрике много написано – как благородно и достойно он вел себя, будучи королем... В жи-

¹² Олаус Петри. Указ. соч. С. 46. Ср.: OPSS IV. S. 54–55.

тии много говорится о достойных деяниях короля Эрика; в частности, там сказано, что он старался не отягощать подданных, а напротив, насколько можно, облегчать их бремя. Он оставил подданным то, что по праву мог с них взыскать: ему, мол, хватит и доходов с собственных владений»¹³.

Олаус Петри касался и вопроса о происхождении Святого Эрика. По его мнению, этот вопрос не имеет значения. Как многие авторы эпохи Ренессанса, Олаус убежден, что благородным человека делает только добродетель: «не столь важно, из какого он рода... Тот благороден, кто признан благородным за то, что жил добродетельно»¹⁴.

Указанные рассуждения Олауса Петри интересны и в контексте источниковедческой дискуссии о «Шведской хронике». Как известно, Олаус Петри, работая над своей хроникой, многое заимствовал у Эрикуса Олаи. Однако в данном эпизоде (как и в ряде других эпизодов «Шведской хроники») его повествование в значительной степени самостоятельно. Констатируя этот факт, шведский историк Г. Вестин утверждает, что Олаус в данном случае вообще отказался использовать хронику Эрикуса Олаи и вместо этого обратился к первоисточнику – житию¹⁵.

Тем не менее, рассуждения Олауса Петри о том, что для короля Эрика отнюдь не позор, если он был крестьянским сыном, вероятно, были вдохновлены соответствующими рассуждениями Эрикуса Олаи¹⁶. Правда, автор «Хроники Готского королевства» приводит такие мысли

¹³ *Олаус Петри*. Указ. соч. С. 46–47. Ср.: OPSS IV. S. 55–56.

¹⁴ *Олаус Петри*. Указ. соч. С. 46.

¹⁵ *Westin G.T. Historieskrivaren Olaus Petri: Svenska krönikans källor och krönikeförfattarens metod*. Lund, 1946. S. 194–196.

¹⁶ Ср.: *Ericus Olai. Chronica*. S. 68.

лишь условно – возражая на логическое допущение, а соответствующие рассуждения Олауса Петри свободны от таких условностей. Но так или иначе, Вестин все же не совсем прав: Олаус Петри и в данном случае испытал определенное влияние Эрикуса Олаи.

Итак, Олаус Петри – реформатор, последователь Лютера (и, соответственно, противник почитания святых как заступников перед Богом) отнюдь не отвергает Святого Эрика как пример, образец праведности. Как отмечает современный медиевист Хенрик Огрэн, схожим образом обстоит дело в ряде других исторических сочинений эпохи Реформации: несмотря на приверженность многих историков лютеранским идеям, они в целом с уважением относились к Святому Эрику как образцу христианской добродетели. Огрэн признает, что указанный вывод явился для него неожиданным: можно было предположить, что Реформация, внося революционные изменения в представления о христианском благочестии, кардинально изменила и отношение к Эрику Святому – однако этого не произошло¹⁷.

Как я уже показывал ранее¹⁸, результаты Огрэна в действительности закономерны. Реформаторы, в том числе один из их лидеров, Филипп Меланхтон, утверждали, что не вводят новое вероучение, а возрождают и очищают от злоупотреблений древнюю христианскую веру. Это мнение Меланхтона и других протестантских теологов нашло отражение в важнейшем программном

¹⁷ *Ågren H.* Erik den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från reformationen till och med upplysningen. Lund, 2012.

¹⁸ *Scheglov A.* [Recension:] Henrik Ågren, Erik den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från reformationen till och med upplysningen // *Kyrkohistorisk Årsskrift*. Uppsala, 2013. Årg. 113. S. 205–208.

произведении протестантизма – Аугсбургском исповедании. Также и шведские реформаторы – богослов-реформатор Олаус Петри и король-реформатор Густав Васа – утверждали, что пропагандируют и вводят не что иное как древнюю веру, которую возвестили первые миссионеры – Ангарий и Сигфрид. Поэтому неудивительно, что в эпоху Реформации король Эрик Святой сохранил для шведов свое значение как образец добродетельного и мудрого государя.

В целом, Олаус Петри в своих рассуждениях о Святом Эрике высказывает взгляды, близкие идеям гуманистов о благородстве и добродетели – факт, позволяющий сделать вывод о влиянии ренессансного гуманизма на «Шведскую хронику».

Мир любой ценой: пацифизм в духе Эразма

Наиболее отчетливо связь идей Олауса Петри с ренессансным гуманизмом проявляется в том, что касается пацифистских воззрений. Олаус выступает в «Шведской хронике» как противник войн. Он считает, что нужно стремиться избегать войн, стремиться предотвратить войны путем переговоров и уступок. В том числе – уступок материальных: в случае необходимости, мир должен быть куплен, война всегда обойдется дороже. Типологически указанные идеи сходны с рассуждениями современников Олауса – немецкого теолога Себастьяна Франка и испанского гуманиста Хуана Луиса Вивеса, жившего и работавшего в Нидерландах. При этом несомненно, что взгляды Олауса (так же, как взгляды Вивеса и Франка) испытали значительное влияние трудов Эразма Рот-

тердамского¹⁹. Сходство взглядов Олауса и Эразма проявляется в следующих моментах. Оба автора указывают, что правителям необходима толерантность (дипломатичность, учтивость, вежливость) – лат. *comitas*, швед. *beskedlighet*. И Эразм, и Олаус подчеркивают бессмысленность войн, считают, что нужно всеми силами добиваться мира – по возможности, без ведения войны. По сути близко рассуждениям Эразма следующее высказывание Олауса: «Если можно купить мир за деньги, нужно это сделать: мир того стоит»²⁰. Итак, в рассуждениях Олауса о войне и мире мы видим ярко выраженное влияние ренессансного гуманизма.

*Рассуждения о военных упражнениях и о замках:
К вопросу о влиянии Макиавелли*

Сходство идей Олауса Петри и воззрений, получивших известность в эпоху Ренессанса, можно наблюдать в отрывке «Шведской хроники», где Олаус рассуждает о том, как герцог Магнус – будущий король Магнус Биргерссон по прозвищу Амбарный Замок – упражнял служилых людей в военном деле в мирное время:

«Что ж, и это подобает мудрому государю – упражнять своих подданных в мирное время, чтобы те знали, как действовать, если начнется война <...> И в хрониках немало говорится о том, как государи в былые времена упражняли своих подданных: тем ежедневно приходилось учиться, как действовать против врага на поле боя. Некоторые упражнялись неустанно, где бы ни находились. Такой человек, ехал ли он на лошади, шел ли пеш-

¹⁹ См. например: [Erasmus Roterodamus.] *Qverela pacis*. [Basel, 1518]. P. 36, 44–45.

²⁰ Олаус Петри. Указ. соч. С. 222. Ср.: OPSS IV. S. 268–269.

ком, изучал местность, осматривал горы, пещеры, равнины. И мгновенно соображал, как себя повести, если враг окажется на такой-то горе, в таком-то ущелье, в такой-то долине. Или наоборот: как защититься от врага, если сам окажешься в тех местах. День за днем участь подобным образом оценивать положение, те люди приобретали огромную сноровку: на какой бы местности им ни доводилось сойтись в битве с врагом, они уже заранее знали, как им следует действовать. И в таких упражнениях приобреталась не только сноровка, но и отвага: ведь тот, кто в миг опасности знает, как действовать, всегда сильнее того, кто не ведает, что предпринять <...>»²¹.

Г. Вестин обратил внимание на то, что тема, которую Олаус рассматривает в указанном отрывке, затронута также в «Государе» Макиавелли. Вместе с тем, исследователь отметил, что латинский перевод «Государя» был опубликован в 1560 г. – то есть примерно через 8 лет после смерти Олауса Петри. В этой связи Вестин ставит вопрос о том, что Олаус мог испытать влияние античных сочинений – «Истории Рима» Тита Ливия и «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Вестин пришел к выводу, что Олаус, вероятно, основывал свои рассуждения на труде Тита Ливия²².

Тем не менее, исследование, осуществленное автором этих строк, привело к следующему выводу: параллели между Олаусом Петри и Никколо Макиавелли в некоторых случаях являются более четкими, нежели сходство с упомянутыми античными авторами.

Общие черты между рассуждениями Олауса и Плутарха заключаются в том, что оба автора рассматривают

²¹ Олаус Петри. Указ. соч. С. 56–57. Ср. OPSS IV. S. 70.

²² Ср.: Westin G.T. Op. cit. S. 170–172.

одну и ту же тему: оба пишут о важности упражнений в военном деле в мирное время и о необходимости изучения местности. Вместе с тем присутствуют и существенные различия. Во-первых, Плутарх повествует о конкретном властителе и военачальнике – Филопемене, а Олаус – о правителях вообще. Во-вторых, Плутарх приводит пример с Филопеменом преимущественно как негативный, полагая, что Филопемени тратил слишком много времени на упражнения в военном деле. В-третьих, Плутарх сообщает и о других занятиях Филопемени – например, земледелии, охоте и чтении философских трудов, а Олаус рассуждает об упражнениях в воинском искусстве, не затрагивая указанные темы.

Что касается отрывка из сочинения Тита Ливия, где рассматриваются те же вопросы, можно констатировать следующее. Как и Плутарх, Ливий рассказывает о конкретном государе – в данном случае, о Филопемене – а не о государях в целом. Здесь налицо, как и в случае с Плутархом, отличие от Олауса Петри. Вместе с тем, Ливий не критикует Филопемени, относится с пониманием к его упражнениям в военном деле.

Общие моменты между «Государем» Макиавелли и «Шведской хроникой» очевидны при сопоставлении текстов:

«Государь»	«Шведская хроника»
Итак, государь не должен иметь других мыслей и забот, не должен упражняться в ином искусстве, кроме военного дела, его постановки и изучения; ибо это единственное искусство, подобаю-	И в хрониках немало говорится о том, как государи в былые времена упражняли своих подданных: тем ежедневно приходилось учиться, как действовать против

щее тому, кто правит <...>²³

Поэтому государь никогда не должен отвращать своих взглядов от военного искусства, и в мирное время упражняться в нем следует еще больше, чем в военное, а этого можно достичь следующим способом: либо путем действий, либо путем размышлений. В первом случае, кроме поддержания твердой дисциплины и боевой выучки в войсках, государь должен постоянно ездить на охоту, и при этом приучать свое тело к лишениям, а также изучать природу местности, чтобы знать, где она поднимается в гору, где спускается в долину, насколько простираются ровные места, каковы особенности рек и болот; и все это надлежит замечать с превеликим тщанием²⁴.

Эти познания могут пригодиться вдвойне. Во-первых, они позволяют познакомиться со своей стра-

врага на поле битвы <...>

Некоторые упражнялись неустанно, где бы ни находились. Такой человек, ехал ли он на лошади, шел ли пешком, изучал местность, осматривал горы, пещеры, равнины.

²³ *Макиавелли Н.* Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь / Пер. с итал. М.А. Юсима. М., 2002. С. 400.

²⁴ Там же. С. 401.

ной и наилучшим образом подготовиться к ее защите; затем, благодаря изучению этих мест и полученным здесь навыкам легче понять другие, в которых придется вести разведку...²⁵

Наряду с другими качествами, которыми писатели наделяли главу ахейцев Филопемена, его хвалили за то, что в мирное время он не помышлял ни о чем другом, как о военных действиях, и, прогуливаясь в сельской местности, с друзьями, часто останавливался и задавал им вопросы: «Если бы противник находился на том холме, а мы с нашим войском здесь, у кого из нас было бы преимущество? Как можно было бы войти с ним в соприкосновение, сохранив боевые порядки? Что нам следовало бы сделать, если бы мы захотели отступить? Если бы отступили они, каким образом мы должны были бы их преследовать? Если бы отступили они, каким образом мы

И мгновенно соображал, как себя повести, если враг окажется на такой-то горе, в таком-то ущелье, в такой-то долине. Или наоборот: как защититься от врага, если сам окажешься в тех местах.

День за днем учась подобным образом оценивать положение, те люди приобретали огромную сноровку: на какой бы местности им ни доводилось сойтись в битве с врагом, они заранее знали, как им следует действовать. И в таких упражнениях приобреталась не только сноровка, но и отвага <...>²⁷

²⁵ Там же. С. 402.

²⁷ Олаус Петри. Указ. соч. С. 56–57.

должны были бы их преследовать? Попутно он предлагал им для обсуждения различные происшествия, которые могут случиться в войске. Выслушав мнение своих приятелей, Филопемен высказывал собственное и подкреплял его доказательствами. Таким образом, после этих постоянных размышлений никакое не могло оказаться для него безвыходным, когда он предводительствовал войском ²⁶	
--	--

Таким образом, оба автора – Макиавелли и Олаус – положительно относятся к упражнениям в военном деле и считают их важной обязанностью государя. И Макиавелли, и Олаус рассуждают в большей степени о правилах вообще, нежели об отдельно взятом государе. Олаус и Макиавелли не только используют исторические сведения как источник нравоучительных примеров, но и дистанцируются от прошлого, интерпретируя исторические события как объект ученого интереса, что характерно для эпохи Ренессанса²⁸. Олаус Петри рассуждает по тому же плану, что и Макиавелли, приводит аналогичные мысли, хотя и более кратко. Мы можем констатировать, что между размышлениями Олауса Петри и Макиавелли об упражнениях в воинском искусстве име-

²⁶ Там же. С. 401–402.

²⁸ Ср. Witt R. Francesco Petrarca and the parameters of historical research // Religions. 2012. Vol. 3. P. 699–700.

ется несомненное сходство, и что «Шведская хроника» в рассмотренном отрывке ближе упомянутому разделу «Государя», нежели главам Плутарха и Ливия.

Помимо эпизода, где говорится об упражнениях в военном деле, в «Шведской хронике» имеется еще один отрывок, вызывающий ассоциации с «Государем» Макиавелли. Данная параллель ранее не рассматривалась в научной литературе. Речь идет о рассуждениях Олауса Петри о замках.

Как известно, в позднее Средневековье и раннее Новое время в Европе было уничтожено множество замков. В значительной степени это было связано с эволюцией военного дела, а также с изменениями политического и административного характера. Рассуждения о том, насколько нужны замки, занимают важное место в «Государе» и других трудах Макиавелли. Олаус рассматривает подобные вопросы в «Шведской хронике».

В ходе восстания против короля Эрика Померанского под руководством Энгельбректа Энгельбректссона (около 1434–1436) шведские повстанцы разрушили множество замков, большинство которых впоследствии не были восстановлены. Олаус Петри подробно комментирует указанный факт. Этот комментарий начинается следующим образом: «Так Энгельбрект овладел большей частью шведских замков; большинство захваченных замков он сравнивал с землей либо сжег. Одни это одобряют, другие порицают. Часто спорят: что лучше для королевства – когда замков много или когда замков мало?»²⁹.

В рассуждениях Олауса Петри относительно замков присутствуют очевидные параллели с мыслями Макиавелли касательно того же предмета. Прежде всего, оба автора

²⁹ Олаус Петри. Указ. соч. С. 423.

рассуждают о положительных и отрицательных сторонах возведения и использования замков и крепостей:

«Государь»	«Шведская хроника»
<p>Одни государи, дабы обеспечить свое положение, разоружали подданных <...> иные строили крепости; другие их разрушали и сносили³⁰.</p> <p>Чтобы обезопасить свою страну, государи всегда имели обыкновение строить крепости в качестве тормоза и узды для любого неприятеля, а также как надежное укрытие во время нападений <...>³¹</p> <p>...крепости могут приносить пользу в зависимости от обстоятельств; при этом, выигрывая в одном, ты теряешь в другом³²</p>	<p>Одни полагают: множество замков – это плохо <...></p> <p>Их противники возражают: если замков мало, враг, напав на страну, может быстро развить успех <...> Поэтому, чтобы власть была прочной, нужно множество замков и крепостей. Таковы доводы тех, кто считает: королевству полезно множество замков³³.</p>

³⁰ Макиавелли Н. Указ. соч. С. 420.

³¹ Там же. С. 423.

³² Там же. С. 424.

³³ Олаус Петри. Указ. соч. С. 126–127.

Оба автора связывают вопрос о замках с вопросом о положении народа и народном недовольстве:

«Государь»	«Шведская хроника»
<p>Государь, которого больше страшит собственный народ, чем чужеземцы, должен строить крепости, а тот, кто больше опасается вторжения, а не своего народа, должен обходиться без них³⁴</p>	<p>К тому же держать в узде людей из народа, склонных к восстаниям и мятежам, можно лишь тогда, когда крепостей много. А если у правителя мало крепостей и замков, его легко свергнуть...³⁵</p>

В то же время Макиавелли и Олаус Петри убеждены: добрая воля и благорасположение народа – более прочная опора для государя, нежели крепости и замки. Оба автора используют образ крепости как метафору:

«Государь»	«Шведская хроника»
<p>...лучшая крепость – это не быть ненавистным народу, ибо если народ тебя ненавидит, крепости не спасут...</p> <p>Подводя итог всему вышесказанному, я могу одобрить и того, кто строит крепости, и того, кто этого не делает, но должен осудить всякого, кто, полагаясь на крепости, не станет забо-</p>	<p>Но как бы там ни было с замками и крепостями – по-настоящему прочную крепость перед Богом и людьми воздвиг тот государь, который держит подданных в законе и праве, не допуская насилие и произвол. Если народ расположен к правителю – не беда, если у того мало замков. Если же</p>

³⁴ Макиавелли Н. Указ. Соч. С. 424.

³⁵ Олаус Петри. Указ. соч. С. 127.

тяться о расположении народа ³⁶	государь довел дело до того, что народ непокорен, строптив – не поможет ему множество замков и крепостей ³⁷ .
--	--

Оба автора приводят исторические примеры и связывают вопрос о необходимости замков с вопросом о местных особенностях:

«Государь»	«Шведская хроника»
<p>Наши предки, причем из тех, кого считали мудрецами, говаривали, что Пистойю следует удерживать с помощью партий, а Пизу – крепостей <...></p> <p>Дому Сфорца больше хлопот причинил и причинит еще Миланский замок, выстроенный Франческо Сфорца, чем какие бы то ни было беспорядки <...></p> <p>В наше время не заметно было, чтобы крепости приносили пользу какому-либо государю, разве что графине Форли <...> однако впоследствии, когда на Форли напал Чезаре Борджиа и враждебный граф-</p>	<p>Так и случилось с королем Эриком: ни проку, ни чести ему не было от множества крепостей и замков. Творить право и справедливость – вот самый что ни на есть прочный замок для короля: тогда с ним и Бог, и люди <...></p> <p>Несомненно, беспримерное насилие и произвол, которые творились в Швеции при короле Альбрехте, при королеве Маргарете и при короле Эрике – вот что вынудило крестьян разрушить множество замков. Шведский народ одной силой долго в узде не удержишь: у него свои крепости – горы, леса</p>

³⁶ *Макиавелли Н.* Указ. соч. С. 424.

³⁷ *Олаус Петри.* Указ. соч. С. 427.

<p>не народ присоединился к нему, ей не помогла и крепость. Поэтому и тогда, и прежде вернее всего для нее было бы избегать народной ненависти, вместо того чтобы уповать на крепость³⁸</p>	<p>да болота. Поэтому шведам нетрудно восставать против государя. Вот почему Швеция куда лучше управляется добром, нежели строгостью. Если б король Эрик это понял – избежал бы печальной участи³⁹.</p>
--	--

Идеи, подобные вышеприведенным, присутствуют и в речи Джордано Бруно на смерть герцога Юлия Брауншвейгского: «Ты не растрачивал средств на содержание крепостей, которыми обуздываются мятежные народы, ты превосходно понимал, что народы сдерживаются миром, благоразумием, великодушием, щедростью и справедливостью»⁴⁰. Однако рассуждения Олауса Петри гораздо более подробны и значительно более похожи на мысли Макиавелли. Очевидно, что источником идей шведского реформатора и историка в данном случае явился «Государь» Макиавелли. С содержанием этого труда Олаус мог познакомиться по каким-либо рукописным переводам, выдержкам или компилятивным произведениям. Вполне возможно, что источником для Олауса послужил компилятивный труд гуманиста Агостино Нифо, основанный на «Государе» Макиавелли и опубликованный в 1523 г.⁴¹ Там присутствуют и рассуждения о необходимости упражнений в военном деле, и мысли

³⁸ Макиавелли Н. Указ. соч. С. 424.

³⁹ Олаус Петри. Указ. соч. С. 127.

⁴⁰ См. Горфункель А.Х. Джордано Бруно. М., 1973. С. 142–143.

⁴¹ [Augustinus Niphus]. De regnandi peritia. Neapolis, 1523. Относительно использования «Государя» Макиавелли в труде Нифо см.: Юсим М.А. Последовательность Макиавелли // Макиавелли Н. Указ. соч. С. 465.

относительно замков, в значительной степени позаимствованные у Макиавелли⁴². Если наше предположение верно, то трактат Нифо явился сочинением-посредником между «Государем» Макиавелли и «Шведской хроникой» Олауса Петри. В целом вопрос о влиянии Макиавелли и других деятелей Возрождения на Олауса Петри заслуживает дальнейшего изучения.

Заключение

Приведенные примеры показывают, что вопреки мнению, высказываемому в современной исследовательской литературе, на хронику Олауса Петри оказали влияние представления и идеи ренессансного гуманизма. Это видно и в описании короля Эрика Святого, и в экскурсе относительно замков, и в рассуждениях на тему войны и мира. Олаус Петри был человеком, жившим и творившим на рубеже эпох. Выступая в амплуа историка, Олаус, наряду с традиционными средневековыми представлениями и идеями, основывался на концепциях и воззрениях, характерных для культуры Ренессанса.

⁴² Ср.: *Niphus*. Op. cit. F. 12–13, 15–16.

Andrey Scheglov,
Institute of World History, Russian Academy of Sciences

**OLAUS PETRI'S WORK *A SWEDISH CHRONICLE*:
MEDIEVAL TRADITIONS AND RENAISSANCE INFLUENCE**

The Swedish reformer, theologian and historian Olaus Petri (1493–1552) was a prolific and versatile author. One of his most known writings, *A Swedish Chronicle* (*En svensk krönika*), was completed by the middle of the 16th century. This work deals with the history of Sweden from the primordial times to the early 16th century.

After Olaus Petri's death, King Gustav Vasa read the chronicle and was shocked. The king declared that Olaus lacked respect for his motherland and betrayed the evangelical teaching. The manuscripts of the Chronicle were confiscated, and it was not until the 19th century that the work was printed. Yet handwritten copies of the Chronicle spread over the Swedish Realm.

The Chronicle was published in the 19th century – a fact that stimulated scholarly interest towards this work. Ludvig Stavenow praised Olaus Petri for objectiveness and for the critical treatment of the sources. Gustav Löw highly estimated the merits of Olaus Petri's style. Gunnar T. Westin demonstrated that Olaus partly based his work on Ericus Olai but also used many other sources, including documents from ecclesiastical and secular archives. A modern contribution was made by Olle Ferm, who comes to the conclusion that Olaus belongs to the tradition of the so-called 'pragmatic history'. Ferm points at parallels between Olaus Petri and other historians, especially Polybius.

Ferm thinks, however, that Olaus Petri's chronicle was not influenced by Renaissance ideas. Yet this opinion is open to doubt. In fact, in many parts of Olaus Petri's Chronicle the

tradition and the new features are combined. Some ideas were certainly borrowed from the medieval chronicles, for example the traditional concept of instability of the world. But new traits were also introduced – in particular, certain features of Renaissance ideology.

This can be seen in the author's description of Saint Erik – the holy patron of Sweden. Touching upon the question of Saint Erik's ancestry, Olaus expresses the conviction that it does not matter whether Saint Erik's father was a noble or a peasant. It is virtue alone that makes a person noble, according to Olaus, and this thought is common with the humanist perceptions of nobleness.

In this context, it is especially interesting to study the thoughts on war and peace contained in *A Swedish Chronicle* and to compare them with the ideas of other European thinkers of the 16th century. My study has led me to the conclusion that the problems of war and peace play an important role in Olaus Petri's chronicle. Olaus appears to be an opponent of military conflicts in general. Regarding this aspect, he was strongly influenced by Renaissance humanist thought. His views concerning war and peace have common traits with the ideas of Renaissance humanists Juan Luis Vives and Sebastian Franck. But it was certainly the ideas of Erasmus that served as model for Olaus. Both Erasmus and Olaus think that it is necessary to use all possible means in order to prevent war. Both are of the conviction that sometimes peace must be "bought" – that is, achieved by means of concessions, and that rulers should demonstrate tolerance and abandon egoistic ambitions. The fact that Olaus Petri was influenced by the humanist ideas on war and peace confirms that Renaissance features are present in *A Swedish Chronicle*.

Describing King Magnus Birgersson (Magnus The Barn Lock), Olaus mentions his military exercises. His thoughts

concerning this issue have much in common with Machiavelli's ideas and apparently were inspired by him.

Commenting on destruction of castles and fortresses (which was a vital issue for Europe in the Early Modern Age) Olaus remarks that a truly strong fortress is a government for the sake of the people – a thought which had a distinct parallel in *Il principe*, and, besides, in a speech by Giordano Bruno.

Olaus Petri was a personality who, so to say, stood on the threshold of the Modern Age. His works combined old and new ideas. This tendency can be also observed in his historical work, *A Swedish Chronicle*.

Vasileios Syros,
University of Jyväskylä (Finland) /
I Tatti – The Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies

**CONFLICT AND POLITICAL DECLINE IN
MACHIAVELLI AND RENAISSANCE
JEWISH HISTORIOGRAPHY**

*Introduction*¹

Recent incidents of police brutality across the world and the Yellow Vest protests in France have stimulated intense debates on the role of social conflict as one of the major causes of political decline. Reflection on this theme has a long lineage in philosophical and political discourse in Renaissance

¹ I would like to extend my thanks to Mark Youssim for his invitation to the International Conference “Machiavelli e Guicciardini alle origini della scienza storica dei tempi moderni” (Moscow, 23–25 September 2019). Due to scheduling conflicts, I was not able to attend the event, but Professor Youssim kindly offered to include my contribution in the proceedings and provided valuable feedback on earlier drafts. This chapter is based on an article originally published as All Roads Lead to Florence: Renaissance Jewish Thinkers and Machiavelli on Civil Strife // *Viator*. Vol. 47. 2016. P. 349–363. I have refined and rethought some of my core arguments and updated my sources and the secondary literature. I am also grateful to Ovanes Akopyan, Daniel Boyarin, Bill Connell, Keith Howard, Fabrizio Lelli, Patricia Springborg, Daniel Stein Kokin, Claude Stuczynski, and Miguel Vatter for their comments and criticisms. This publication partly derives from work related to COST Action CA18140–People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492–1923) (PIMo), supported by COST (European Cooperation in Science and Technology). The research presented in this chapter was also supported by the Academy of Finland, funding decision 275404 (= Political Power in the Early Modern European and Islamic Worlds research project, 2014–2018).

Europe as well as in the Jewish tradition. Previous scholarship has looked at Jewish concepts of decline and civil strife in connection with the Jewish experience of exile (*galut*) and the expulsion (*gerush*) of Iberian Jewry; the present study recovers and analyzes a body of writings that were produced in the fifteenth and sixteenth centuries by Jewish political writers and historians (Solomon ibn Verga, Samuel Usque) and discuss the decay and succession of diverse forms of political organization. It also places their ideas in the broader context of Renaissance discourse on the emergence, growth, and decline of empires by comparing them with Niccolò Machiavelli's (1469–1527) political thought.

I argue that a comparative examination of Machiavelli's and the Jewish authors' invocation of examples from the history of ancient Israel, Rome, and Florence can reveal hitherto unexplored points of similarity regarding Italian humanist and Jewish approaches to factional conflict, political intrigues, and the erosion of the civic fabric and military prowess as the principal factors at work in political and social decline, as well as on the role of divine providence in human history. I also show that Ibn Verga and Usque introduce and rely on a scheme for exploring the forces governing the history of diverse political entities that reflects the interplay of a naturalistic conception of history and the belief in divine providence.

In the *Guide of the Perplexed* (II 40; III 27) the great Jewish philosopher Moses Maimonides (ca. 1135–1204) restates Aristotle's idea that human beings are by nature political creatures inclined to create and live in communities. But at the same time Maimonides concedes that the variety of human qualities and dispositions engenders strife. Thus, he highlights the necessity for a ruler able to eliminate friction by maintaining an equilibrium in the actions of the members of political community and to ensure that diversity is tempered with the

existence of laws applicable to all². Similarly, Nissim of Gerona (ben Reuven Gerondi, ca. 1310–ca. 1380), a Talmudic scholar in Spain, echoing earlier debates about the Noahide laws and the duty of all human beings to establish courts of law, underscores the significance of a legal system for an orderly society and the perpetuation of humankind in general. In Nissim of Gerona's view, for the creation and maintenance of political order, God commanded the appointment of judges to settle disputes and adjudicate in accordance with the truly just law as well as with the laws of a king³.

Maimonides' and Nissim of Gerona's approach to the emergence and preservation of social life and civil conflict reflects a pattern of thought around the notion that human symbiosis tends to generate disputes that must be resolved for the community to survive. Jewish meditation on these issues involved the investigation of the rise and fall of empires that was partly inspired by the sequence of four world empires (Babylonian, Median-Persian, Greek-Macedonian, and Roman) expounded in Daniel's interpretation of the dream of Nebuchadnezzar (Daniel 2:31–45). This idea evolved into a core element of medieval historical lore, as evidenced, for example, by the references to gentile nations (Persians, Greeks, Romans, and Muslims) and the political organization of the Persian and Roman empires in the *Sefer ha-Qabbalah* (*The*

² Compare *Aristotle*. *Politics*. 1253a2–3; *Idem*. *Nicomachean Ethics*. 1097b6–11.

³ *Lorberbaum M.* *Politics and the Limits of Law: Secularizing the Political in Medieval Jewish Thought*. Stanford (CA), 2001. P. 129, 134. On factionalism in the history of Iberian Jewry, see *Ray J.* *The Jews of al-Andalus: Factionalism in the Golden Age // Jews and Muslims in the Islamic World / Ed. by B. D. Cooperman and Z. Zohar*. Bethesda (MD), 2013. P. 253–263; *Idem*. *Whose Golden Age? Some Thoughts on Jewish-Christian Relations in Medieval Iberia // Studies in Christian-Jewish Relations*. Vol. 6. 2011. P. 1–11.

Book of Tradition) of the great Spanish-Jewish philosopher and scientist Abraham ibn Daud (ca. 1110–1180)⁴.

Although both Ibn Verga and Usque acknowledge the influence of divine providence on human history, they subtly play down its role in political affairs, and they prioritize the quest for natural causes. As such, their works are reflective of the transition from a sacred/eschatological to a naturalistic/secular vision of human history, as exemplified by Machiavelli, who affirms that one half of human actions are influenced by fortune, but that humans have the ability to control the other half⁵. Machiavelli implicitly challenges the notion that the ascension, growth, and decline of nations or states follow an inexorable cycle of succession governed by divine providence. He stresses instead that any nation or state can potentially rise to dominance and political or military hegemony by taming and conquering fortune and harnessing virtue (*virtù*). Machiavelli specifically mentions that virtue, which was originally located in Assyria, passed to Media, and afterwards to Persia, and from there it arrived in Italy and Rome. The Romans founded and preserved their empire by displaying exceptional military virtue which enabled them to vanquish and subdue republics that had strong armies and put up tenacious resistance in order to defend their freedom. This strength was further augmented by Rome's organization as established by its first lawgiver. After the fall of the Roman Empire there was no other polity that lasted so long and embodied the entire spectrum of virtue. Subsequently, virtue was

⁴ *Ibn Daud A.* The Book of Tradition (Sefer ha-Qabbalah) / Ed. and trans. by G. D. Cohen. Philadelphia (PA), 1967, Hebrew section: Seder ha-Amoraim. P. 24–32, Eng. trans.: The Succession of the Amoraim. P. 32–42.

⁵ *Machiavelli N.* Il Principe e Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio / Ed. by S. Bertelli. Milan, 1960. Ch. XXV. I have consulted the following English translation of the *Prince: Machiavelli N.* The Prince / Trans. by H. C. Mansfield. Chicago (IL); London, 1998 (2nd ed.). P. 98.

diffused among various nations, such as the Kingdom of the Franks, the Ottoman Empire, the Mamluk Sultanate (Egypt), and in his time in the peoples of Germany, and the Saracen sect earlier⁶.

The first traces of Machiavellian influences on the Jewish tradition can be found in Abraham Portaleone's (1542–1612) *Shilte ha-giborim* (*The Shields of the Heroes*), which echoes Machiavelli's ideas about a citizen militia, as presented in *The Prince*.⁷ A number of themes that occupied Machiavelli and subsequent Italian political thinkers, particularly those associated with the reason-of-state tradition, like Giovanni Botero (1544–1617), who engaged with Machiavelli's thinking, reverberate in the works of Simone Luzzatto (ca. 1580–1663), particularly the *Discorso circa il stato de gl'Hebrei et in particular dimoranti nell'inclita città di Venetia* (*Discourse Concerning the Condition of the Jews and in Particular Those Residing in the Illustrious City of Venice*. Venice, 1638), an apology for Venice's Jewish community; and the *Socrate, overo dell'humano sapere* (*Socrates, or on Human Knowledge*. Venice, 1651), a dialogue among various ancient Greek philosophical figures on a variety of topics related to human

⁶ *Machiavelli N.* Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. II Preface; II 1–2. I have consulted the following English translation: *Machiavelli N.* Discourses on Livy / Trans. by H. C. Mansfield and N. Tarcov. Chicago (IL); London, 1996. P. 123–133.

⁷ For Machiavelli's reception in the Jewish tradition, see *Melamed A.* Machiavellism and Anti-Machiavellism in 17th Century Jewish Amsterdam: From *Ragione di Stato* to *Razon de Estado* // *Trumah*. Vol. 19 [= *Tora und politische Macht / Torah and Political Power*]. 2009. P. 1–14. Consider also *Idem.* The Perception of Jewish History in Italian Jewish Thought of the Sixteenth and Seventeenth Centuries: A Re-Examination // *Italia Judaica*. Vol. 2 [= *Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età barocca*] (1986). P. 139–170; *Baer Y. F.* Galut. New York, 1947.

knowledge⁸. Ultimately, the present study will yield new insights into possible channels via which Machiavelli's ideas were received in the Jewish tradition as early as the beginning of the sixteenth century as well as into how Jewish authors responded to the very same themes, which occupied Italian humanists, in light of their own experiences with the expulsion from Iberia.

Machiavelli on Conflict

In late medieval political and historical discourse, debates about political and social conflict had a long legacy, especially in the Italian context⁹. The Italian cities suffered from social and political evils similar to those discussed by Jewish authors who focused on the history of ancient Israel and Rome. Power

⁸ Luzzatto S. *Discourse on the State of the Jews* / Ed., trans. and comm. by G. Veltri and A. Lissa. Berlin, 2019; *Idem*. *Socrates, Or on Human Knowledge* / Ed., trans. and comm. by G. Veltri and M. Torbidoni. Berlin, 2019. See, in general, Syros V. *Mercati ex Machina: Prosperity and Economic Decline in Early Modern Jewish Political Thought* // *Republics of Letters* (Stanford University). Vol. 6. 2018. URL: <https://arcade.stanford.edu/rofl/mercato-ex-machina-economic-prosperity-and-decline-early-modern-jewish-thought-0>; *Idem*. Simone Luzzatto's Image of the Ideal Prince and the Italian Tradition of Reason of State // *Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History*. Vol. 9. 2005. P. 157–182.

⁹ For further discussion, see, e.g., Syros V. *Marsilius of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval Traditions of Political Thought*. Toronto, 2012. P. 51–52; Fasano Guarini E. *Machiavelli and the Crisis of the Italian Republics* // *Machiavelli and Republicanism* / Ed. by G. Bock et al. Cambridge, 1990. P. 17–40; Hyde J. K. *Contemporary Views on Faction and Civil Strife in Thirteenth- and Fourteenth-Century Italy* // *Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200–1500* / Ed. by L. Martines. Berkeley (CA), 1972. P. 273–307, repr. in *Idem*. *Literacy and its Uses: Studies on Late Medieval Italy*. Manchester, 1993. P. 58–86; and Martines L. *Political Conflict in the Italian City States* // *Government and Opposition*. Vol. 3. 1968. P. 69–91.

struggles and intrigues sapped the strength and paralyzed the economies of many of the Italian city-states, led to the erosion of civic bonds, and rendered them vulnerable to interference by foreign powers, particularly Spain and France.

The various causes and repercussions of civil strife are the key concern of a body of political and historical writings produced in Padua, one of the last bastions of Italy's communal tradition. Albertino Mussato (1261–1329), a major political and intellectual figure and leading member of the circle of the Paduan Prehumanists, saw party strife as one of the main causes of the decline of Padua's communal government and the rise of the *signoria*, a type of government in which ultimate authority rested with one person (*signore*). Mussato's ideas are echoed in Marsilius of Padua's (1270/90–1342) *Defensor pacis* (*The Defender of Peace*, 1324), the avowed objective of which is to identify and erase the singular cause of the social and political upheavals that tore Italy apart – a factor which, according to Marsilius, neither Aristotle nor any other ancient political thinker had been able to foresee, i.e., the Papacy's encroachments on civil affairs. Civil discord and instability were often exacerbated by the influence of foreign powers on the political life of the Italian cities. This theme dominates the *Historiarum Florentini populi* (*History of the Florentine People*) of the distinguished humanist Leonardo Bruni (ca. 1370–1444), who served as Chancellor of the Florentine Republic. Like previous Italian political theorists and historians, Bruni ascribed the political and social maladies that afflicted Florence to the conflict between the Papacy and the Empire and affirmed the need for the city to assert its sovereignty, repel outside menaces, and resist the interference of foreign powers in its domestic affairs¹⁰.

¹⁰ See also Ianziti G. *Writing History in Renaissance Italy: Leonardo Bruni and the Uses of the Past*. Cambridge (MA); London, 2012. P. 134–138;

The works of Niccolò Machiavelli, especially the *Istorie fiorentine* (*Florentine Histories*) draw upon prior debates on the conflicts that engulfed the Italian cities, including Florence¹¹. A salient feature of Machiavelli's historiographical project is to elucidate the root causes and consequences of social unrest in Florence and to compare these with the factors

Idem. Challenging Chronicles: Leonardo Bruni's *History of the Florentine People* // *Chronicling History: Chroniclers and Historians in Medieval and Renaissance Italy* / Ed. by S. Dale et al. University Park (PA), 2007. P. 249–272.

¹¹ *Machiavelli N.* *Istorie fiorentine* / Ed. by F. Gaeta. Milan, 1962. I have consulted the following English translation: *Machiavelli N.* *Florentine Histories* / Trans. by L. F. Banfield and H. C. Mansfield, Jr. Princeton (NJ), 1988. On Machiavelli's *Florentine Histories*, see the following studies: *Cabriani A. M.* *Machiavelli's Florentine Histories* // *The Cambridge Companion to Machiavelli* / Ed. by J. N. Najemy. Cambridge, 2010. P. 128–143; *Eadem*. Interpretazione e stile in Machiavelli: Il terzo libro delle *Istorie*. Rome, 1990; *Eadem*. Per una valutazione delle *Istorie Fiorentine* del Machiavelli: Note sulle fonti del secondo libro. Florence, 1985; as well as *Quint D.* Narrative Design and Historical Irony in Machiavelli's *Istorie Fiorentine* // *Rinascimento*. Vol. 43. 2003. P. 31–48; *Di Maria S.* Machiavelli's Ironic View of History: The *Istorie Fiorentine* // *Renaissance Quarterly*. Vol. 45. 1992. P. 248–270; *Sasso G.* Niccolò Machiavelli. Storia del suo pensiero politico. Bologna, 1980 (2nd ed.); *Dionisotti C.* Machiavelli storico // *Idem*. Machiavellerie. Torino, 1980. P. 365–409. On Machiavelli as a historian, consider *Sasso G.* Niccolò Machiavelli. Vol. 2: La storiografia. Bologna, 1993; *Rubinstein N.* Machiavelli storico // *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia*. Serie 3. Vol. 17. 1987. P. 695–733; *Najemy J. M.* Machiavelli and the Medici: The Lessons of Florentine History // *Renaissance Quarterly*. Vol. 35. 1982. P. 551–576; *Marietti M.* Machiavel historiographe des Médicis // *Les écrivains et le pouvoir à l'époque de la Renaissance (Deuxième série)* / Éd. par A. Rochon. Paris, 1974. P. 81–148; *Gaeta F.* Machiavelli storico // *Machiavelli nel V centenario della nascita*. Bologna, 1973. P. 137–153; *Gilbert F.* Machiavelli and Guicciardini: Politics and History in Sixteenth-Century Florence. Princeton (NJ), 1973 [1965].

that led to political tensions in Rome¹². Machiavelli asserts that a republic or a kingdom is susceptible to civil disorders, when the ruler or regime changes, which can cause greater harm than external forces. For even minor changes can potentially lead to the destruction of the most powerful political entities. In Italy and the other Roman provinces, there were changes not only to their forms of government and rulers but also to their laws, customs, habits, ways of living, religion, language, and names, which led to disruption on multiple levels¹³. The aim of the *Florentine Histories* is to provide an account of the political history of Florence from its founding to the death of Lorenzo de' Medici (1449–1492, r. 1469–1492) that would fill the lacunae left by previous historians, notably Bruni and Poggio Bracciolini (1380–1459), author of the *Historia Florentina (History of Florence)*. Machiavelli explains in the preface that after a careful reading of Bruni's and Bracciolini's writings, he realized that they had been diligent in their descriptions of the various wars conducted by Florence against foreign rulers and peoples, but that they had paid little attention to the civil discords (*civili discordie*) and internal enmities (*intrinseche inimicizie*)¹⁴.

All republics are, according to Machiavelli, susceptible to factionalism, but the tribulations which occurred in Florence are the most remarkable: whereas the majority of known republics throughout history were content with one division, which, depending on the circumstances, was a source of suc-

¹² For further discussion, see, e.g., Winter Y. Machiavelli and the Orders of Violence. Cambridge, 2018; Raimondi F. L'ordinamento della libertà: Machiavelli e Firenze. Verona, 2013; Gaille-Nikodimov M. Conflit civil et liberté: La politique machiavélique entre histoire et médecine. Paris, 2004; Bock G. Civil Discord in Machiavelli's *Istorie Fiorentine* // Machiavelli and Republicanism. P. 181–201.

¹³ Machiavelli N. *Istorie fiorentine*. I.5; *Idem*. *Florentine Histories*. P. 14–15.

¹⁴ Machiavelli N. *Istorie fiorentine*. Preface; *Idem*. *Florentine Histories*. P. 6.

cess or destruction, Florence experienced multiple divisions. In Rome, after the expulsion of the kings, the constant struggles between the Plebeians and the Patricians remained a source of vitality and strength until the demise of Roman imperial power. The same was true for Athens and other republics of the ancient world. In Florence, though, first the nobles were divided, then the nobles and the people were separated, and finally there occurred a rift between people and the plebs. Often the party that prevailed was subdivided into two factions. Such divisions led to more deaths, exiles, and the ruin of families – as compared to any other city in history¹⁵.

Machiavelli illuminates the background of the causes of disunity in Italy and Florence, starting with Pope Gregory VII's decision [Machiavelli refers erroneously to Alexander II] to excommunicate and suspend Henry IV from office. Some Italian cities sided with the Pope and others Henry. This division led to the emergence of two parties, i.e., the Guelphs and the Ghibellines, throughout Italy and caused a series of civil wars¹⁶. Machiavelli remarks that serious disputes arose between the people and the nobles when the latter aspire to command and the former refuse to obey. Disparity in the inclinations and interests of the various parts of society generated friction¹⁷. In the *Discourses on the First Ten Books of Titus Livy*, Machiavelli elaborates on the upheavals that occurred in Rome from the time of the death of the Tarquins to the estab-

¹⁵ Machiavelli N. *Istorie fiorentine*. Preface; *Idem*. *Florentine Histories*. P. 6–7.

¹⁶ Machiavelli N. *Istorie fiorentine*. I.15; *Idem*. *Florentine Histories*. P. 25–26. On Machiavelli's ideas about the civil wars in Italy and the role of the Church, see *Barbuto M. A.* *La Chiesa romana di fronte alla "repubblica cristiana"*. "Discorsi", I, XII, 12–14. // *Filosofia Politica*. Vol. 1. 2008. P. 99–116; *Cutinelli-Rèndina E.* *Chiesa e religione in Machiavelli*. Pisa; Rome, 1998.

¹⁷ Machiavelli N. *Istorie fiorentine*. III.1; *Idem*. *Florentine Histories*. P. 105.

ishment of the tribunes. He argues that those who condemn the discord between the nobles and the plebs are oblivious to the factors which enabled Rome to retain its freedom. In every city, in Machiavelli's view, there are two main opposing groups, the people and the nobles; as such, all laws promulgated to guarantee freedom originate from the antagonism between these factions. In Rome, he points out, during the three centuries between the rule of the Tarquins and that of the Gracchi, tumults rarely resulted in such phenomena as banishments, bloodshed, or violence detrimental to the common good; instead, they gave birth to good laws and ordinances that safeguarded public freedom and were the foundation of good education which, in turn, produced numerous instances of virtue¹⁸.

In his discussion of the struggles around the Agrarian Law, Machiavelli notes that social tensions in Rome were resolved through the enactment of a law which enhanced military virtue and facilitated the transition from a condition of equality

¹⁸ *Machiavelli N.* Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. I 4.1; *Idem.* Discourses on Livy. P. 16–17. Machiavelli compares Rome to the ancient cities of Athens and Sparta, both of which had strong armies and solid legal systems, but never achieved the greatness and glory of the Romans. The Roman Empire was more vulnerable to internal dissension and tumults and appeared not to be so well ordered as those cities – Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. II.iii; Discourses on Livy. P. 134. Machiavelli also acknowledges the salutary effects of political disorders as one of the driving forces behind Rome's rise as a world power. Sparta, on the other hand, preserved its unity and cohesion because it was ruled by a king and a small senate, had a small population, abided with Lycurgus' laws, and did not let foreigners settle in its territory. But its power was fragile: after taking over the whole of Greece, it proved to be unstable even because of minor disturbances. As soon as other Greek cities rebelled, following the example of Thebes which was instigated and spearheaded by Pelopidas, its dominion fell apart – Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. I.vi.3–4 ; II.3; Discourses on Livy. P. 21–22, 134.

to one characterized by great inequality and diversity. In Florence, by contrast, social friction resulted in the banishment and death of many citizens, dissipated the city's military vigor, and led from inequality to absolute equality. Machiavelli traces these different outcomes back to the different goals each city pursued: in Rome, the people sought to partake of and share the highest honors with the nobles; in Florence, the people were only interested in taking over power at the expense of the nobles. Since the ambitions of the Roman people were more reasonable, the offenses against the nobles were moderate, and the latter readily surrendered without putting up any resistance. After some disputes, both groups eventually consented to the promulgation of a law which was meant to satisfy the people and, at the same time, allow the nobles to retain their dignity. The demands of the Florentine people, by contrast, were so exorbitant and unjust that they provoked a strong backlash, resulting in bloodshed, the ostracism of a number of citizens, and the creation of laws that were clearly intended to promote the interest of those who prevailed and not the public good¹⁹.

Machiavelli observes that in Florence there is no unity or friendship among the citizens, except among those who are involved in evil actions against their city or specific persons. Religious sentiment and fear of God have vanished, so oaths and promises are honored only as long as they are reckoned to be beneficial or help deceive others. The more effective the deceit is, the more glory and praise accrue to those who practice it; wicked persons are celebrated as virtuous, and the good are looked down upon and despised. The cities of Italy have, according to Machiavelli, become a hotbed of corruption: the young are idle, the old are lascivious, and everyone succumbs to bad habits which even the good laws cannot correct or

¹⁹ *Machiavelli N. Istorie fiorentine. III.1; Idem. Florentine Histories. P. 105.*

eliminate because they (the laws) are not applied properly. The citizens are driven by avarice, and there is desire not for genuine greatness but for unworthy benefits. All this leads to hostility, disputes, fragmentation, and, ultimately, to the death, banishment, and the victimization of good persons, while wicked persons gain the upper hand. And good persons are too self-confident and do not feel the need to look for protection or honors and, as a result, get ruined²⁰.

Ibn Verga on Political and Military Decline

The theme of political failure in the context of Jewish history and Jewish-Christian relations dominates Solomon ibn Verga's (1460–1554) *Shevet Yehudah* (*The Scepter of Judah*, ca. 1520), which includes a fictional dialogue between Alfonso, a Spanish king, and his wise advisor Tomás about the misfortunes that befell the Jews in the past²¹. Ibn Verga was born

²⁰ *Machiavelli N.* Istorie fiorentine. III.5; *Idem.* Machiavelli, Florentine Histories. P. 110.

²¹ *Ibn Verga S.* Schevet Jehuda: Ein Buch über das Leiden des jüdischen Volkes im Exil // Übersetzung von Me'ir Wiener / Hrsg. von S. Rauschenbach. Berlin, 2006. On the *Shevet Yehudah* and Ibn Verga's theory of history, see *Cohen J.* A Historian in Exile: Solomon ibn Verga, Shevet Yehudah, and the Jewish-Christian Encounter. Philadelphia (PA), 2016; *Wacks D. A.* Empire and Diaspora: Solomon ibn Verga's *Shevet Yehudah* and Joseph Karo's *Magid Meisharim* / *Idem.* Double Diaspora in Sephardic Literature: Jewish Cultural Production before and after 1492. Bloomington; Indianapolis (IN), 2015. P. 151–181; *Gutwirth E.* The Expulsion from Spain and Jewish Historiography // *Jewish History; Essays in Honour of Chimen Abramsky* / Ed. by A. Rapoport-Albert and S. J. Zipperstein. London, 1988. P. 141–161; *Yerushalmi Y. H.* "Diener von Königen und nicht Diener von Dienern": Einige Aspekte der politischen Geschichte der Juden. München, 1995. S. 33–37; *Idem.* Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. Seattle (WA), 1982. S. 57–69; *Idem.* The Lisbon Massacre of 1506 and the Royal Image in the Shebet Yehudah. Cincinnati (OH), 1976; *Faur J.* In the Shadow of History: Jews and Conversos at the Dawn of Modernity. Albany, 1992. P. 176–209;

and lived in Spain until 1492. After the expulsion of the Jews, he moved to Lisbon and later to Italy. The *Shevet Yehudah* considers two explanations for Jewish decline. First, Ibn Verga refers to divine retribution due to the sins of ancient Israel, but he refutes this interpretation, arguing that many nations which committed more grievous sins were not punished and, in fact, enjoyed great prosperity. For example, those who lived in the region around the Rhine, he notes, worshipped the moon; the Croatians and Bosnians the sun; the Chaldeans the fire; and the inhabitants of certain islands worshipped the earth – and they all flourished. The Romans worshipped various gods, and still they managed to create an empire that extended from the Nile to the ends of the earth, conquering places no one had ever managed to subdue, including the peoples of Germany and Burgundy, the most formidable warriors that had ever existed²².

The second explanation is informed by the concept of natural cause (*ha-sibbah ha-tiv'it*) and focuses on the successful conduct of war. The first prerequisite is the ability to conceive and develop strategies and military plans. Given, Ibn Verga states, that the Jews are commonly considered to be the most intelligent and astute of all nations, Ibn Verga states, it is unlikely that their military failures were due to the lack of these

Idem. Imagination and Religious Pluralism: Maimonides, Ibn Verga, and Vico // *New Vico Studies*. Vol. 10. 1992. P. 36–51; *Awerbuch M.* Zwischen Hoffnung und Vernunft: Geschichtsdeutung der Juden in Spanien vor der Vertreibung am Beispiel Abravanel und Ibn Vergas. Berlin, 1985. P. 48–52, 87–112; *Flusser D.* The Anatomy of Antisemitism: On Solomon Ibn Verga's *Shebet Yehuda* // *Immanuel*. Vol. 9. 1979. P. 77–80. Consider also *Baer Y. F.* Untersuchungen über Quellen und Komposition des Schebet Jehuda. Berlin, 1923 (repr. Berlin, 1936).

²² *Ibn Verga S.* *Shevet Yehudah* / Ed. by A. Schochat. Jerusalem, 1947. P. 11–12; *Idem.* *La Vara de Yehudah (Sefer Šebeṭ Yehudah)* / Intr., trad. y notas por M. J. Cano. Barcelona, 1991. P. 36–37.

qualities. The second condition is valor and military power. Emperor Titus praised the fortitude of the Jews, considering how three young brothers defended one of the gates of Jerusalem for three days against the Roman forces until the emperor, indignant and frustrated, mobilized the entire population, who in turn took up arms, attacked, and, after incurring significant losses, managed to apprehend the three brothers. The third prerequisite is the financial resources that are necessary for sustaining the army. Among the Jews there were some wealthy enough to offer wheat supplies to the army that would suffice for two years. When a foreign ruler attacked the Jews, they petitioned him to end the war by offering him all the silver and gold that were stored in the Temple. Within a year they were able to recoup all the precious metals they had given away; if something similar had occurred in Spain, the people would have needed seven years to recover. The fourth factor is a large and resourceful population. According to the biblical exegete Nicholas of Lyra (Nicolaus Lyranus, ca. 1270–1349), during the time of Judah the Jewish army consisted of 600,000 foot soldiers armed with swords, 800,000 bowmen and lancers, and it surpassed the armies of all the kings of other nations together. Thus, the second reason adduced in the *Shevet Yehudah* does not suffice to explain the decline in Jewish fortunes²³.

Ibn Verga employs natural causality as a heuristic device for exploring the factors that led to the downfall of the Jewish state and Roman occupation: mutual alienation; self-indulgence; complacency; overconfidence; and neglect of military organization. He sets forth the idea that the very growth of the state carries the seeds of its decadence and destruction and eviscerates its human capital. Greatness and power cause

²³ *Ibn Verga S. Shevet Yehudah*. P. 12–13; *Idem*. *La Vara de Yehudah*. P. 38–39.

states to sink into an inevitable cycle of corruption and decay, just as a tree, as it grows taller, is shaken by the wind and collapses. Likewise, the Jews were led astray by the “wind of pride” in their relations with one another, driven apart, and “separated themselves from their hearts”. Pride spawned hatred, which in turn generated factional struggles, since everyone was vying for power. As a consequence, they brought in foreigners who, after learning their secrets and realizing how vulnerable they were, held them in disrepute and turned against them. Jews were not able to repel their enemies, because when every great nation starts shrinking, its power diminishes, and it turns into a “swarm of mosquitoes”²⁴.

Ibn Verga contends that the Jews, as God’s chosen people, enjoyed divine grace and did not bother to learn military techniques, because they felt they had no need for them. But after they sinned, God turned his back on them, and they suddenly found themselves unprotected. Unlike the Romans and the Greeks, they did not have machines for tearing down walls, nor did they have iron battering rams and elephants with towers. In fact, they had never used or seen them before and did not know how to protect themselves against such threats. Thus, Ibn Verga concludes, factionalist tensions and lack of military power, after the Jews had been abandoned by God, caused the demise of the Jewish polity²⁵.

Although Ibn Verga rejects the idea of active retribution against Israel, he does not entirely dismiss the notion that God abandoned Israel because of its sins, and he does seem to hint at a kind of passive divine retribution. From Ibn Verga’s claim

²⁴ *Ibn Verga S. Shevet Yehudah*. P. 28–29; *Idem*. *La Vara de Yehudah*. P. 60–61. See also the remarks by *Kohn M.* *Jewish Historiography and Jewish Self-Understanding in the Period of [the] Renaissance and Reformation*. PhD diss. University of California. Los Angeles, 1978. P. 31–34.

²⁵ *Ibn Verga S. Shevet Yehudah*. P. 33; *Idem*. *La Vara de Yehudah*. P. 67–68.

that the sins committed by other nations were more grievous than those of Israel it would be possible to infer that he negates the idea that God had special expectations of Israel. He narrates, however, the challenges that confronted Israel as soon as it was deprived of its special status and divine protection. In a sense, Ibn Verga inverts the Machiavellian view that necessity drives virtue and innovation, and he argues that Israel had never experienced necessity and, as a result, neglected the art of war, failed to innovate, and was left unprotected²⁶. Another crucial affinity between Ibn Verga and Machiavelli concerns their approaches to mercenaries. Ibn Verga sees neglect of the military and dependence on foreigners as one of the major causes of the downfall of ancient Israel. Machiavelli too denounces the practice of recruiting mercenaries and criticizes the Church's role in the political divisions and the emasculation of the military ethos in Italy. Thus, he emphasizes the need for a sagacious prince to be in charge of his own army and for a republic to rely on citizen militia, since mercenaries are not to be trusted. Machiavelli adduces examples of cities and states, such as Carthage, Thebes, and Milan, which fell into ruin because they enlisted mercenary forces for their defense and let foreign commanders interfere in their military affairs and ultimately deprive them of their freedom and subdue them. Similarly, after the Church and a few republics took over most of Italy and began to hire foreign soldiers, Italy became susceptible to the influence and attacks of foreign powers, i.e., the French, the Spaniards, and the Swiss²⁷.

Samuel Usque and Machiavelli on Conspiracies and

²⁶ I am grateful to Daniel Stein Kokin for earlier discussions on this point.

²⁷ *Machiavelli N. Il Principe*. Ch. XII; *Idem*. *The Prince*. P. 48–53. Consider also *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*. I 43; II 20; *Idem*. *Discourses on Livy*. P. 91, 175–177.

the Fall of the Roman Empire

Whereas Ibn Verga's focus is on the decline of ancient Israel, other Jewish writers, such as the Portuguese-Jewish historian Samuel Usque (ca. 1500–1555), discussed the various causes, such as divine intervention, social pathology, and factional disputes, that led to the decline of the Roman Empire. Most details about Usque's life derive from the preface to his *magnum opus*, the *Consolaçã̃m às Tribulaçõ̃es de Israel* (*Consolation for the Tribulations of Israel*)²⁸. After the establishment of the Inquisition in Portugal in 1531, Usque moved to Italy and settled in Ferrara. The *Consolaçã̃m* was published in Ferrara in 1553 (a second edition appeared in

²⁸ On Samuel Usque's life and works, see *Consolations aux tribulations d'Israël, 1553* / Éd. par C. Wilke. Paris, 2014; *Couto P. Witnesses and Victims of Massacre: The Literary Testimony of Samuel Usque and Etty Hillesum // Spirituality in the Writings of Etty Hillesum* / Ed. by K. A. D. Smelik et al. Leiden; Boston, 2010. P. 335–350, esp. 335–342; *Lorenzo Lorenzo E. Poetic and Rabbinical Responses in Consolaçã̃m às Tribulaçõ̃es de Israel*. PhD diss. Indiana University, 2005. P. 7–13; *Guerrini M. T. New Documents on Samuel Usque, the Author of the Consolaçã̃m as tribulações de Israel* // *Sefarad*. Vol. 61. 2001. P. 83–89; *Yerushalmi Y. H. A Jewish Classic in the Portuguese Language // Usque S. Consolação às tribulações de Israel* (= edição de Ferrara, 1553). Lisboa, 1989. Vol. 1. P. 15–123; *Pina Martino J. V. de. Consolação às Tribulações de Israel de Samuel Usque: Alguns dos seus aspectos messiânicos e proféticos. – Uma obra-prima da Língua e das Letras Portuguesas // Usque S. Consolação às Tribulações de Israel...* P. 125–404; *Neuman A. A. Samuel Usque: Marrano Historian of the Sixteenth Century* // *To Doctor R. Essays Here Collected and Published in Honor of the Seventieth Birthday of Dr. A.S.W. Rosenbach, July 22, 1946*. Philadelphia (PA), 1946. P. 180–203, repr. in *Idem. Landmarks and Goals: Historical Studies and Addresses*. Philadelphia (PA), 1953. P. 105–132. Usque's views on divine retribution are discussed in *Friedman J. Samuel Usque's Jewish-Marrano Nicodemite-Christian Apology of Divine Vengeance // The Process of Change in Early Modern Europe* / Ed. by M. Usher Chrisman et al. Athens (OH), 1988. P. 117–134.

Amsterdam in 1599) and was dedicated to Doña Gracia Nasi (ca. 1510–1569), a leading figure of the Portuguese-Jewish diaspora.

Usque's rumination on the succession of empires is to a certain extent derivative of the *Book of Daniel*: all nations and rulers who mistreated the Jews, laid hand on their sacred objects, or seized their land had a notorious fate. For example, a substantial number of Egyptians were drowned in the Red Sea, and those who survived were nearly annihilated by the Babylonians; the Babylonians were conquered by the Persians and the Medes, and all vestiges of their rule were erased; the Persians' name was obliterated by the Macedonians; and the Macedonians were conquered by the Romans²⁹. Usque argues that God consented to these events; otherwise, no power would have been able to take over or destroy ancient Israel³⁰. The Romans suffered a cruel punishment and ended up killing one another. Calamities befell the Pompey, who had entered the Temple with his cavalrymen: he suffered a crushing defeat at the Battle of Pharsalus at the hands of his father-in-law, Julius Caesar, and was murdered on the orders of King Ptolemy of Egypt who delivered his head to Julius Caesar. Since Pompey could not alone bear divine punishment, God's will ordained that the entire Roman army would be present in the Pharsalian Fields, where all those who had inflicted harm

²⁹ *Usque S. Consolaçam ás tribulaçoens de Israel / Com revisão e prefacio de J. Mendes dos Remédios. Coimbra, 1906. Vol. 2. P. xl–xli; Samuel Usque's Consolation for the Tribulations of Israel (Consolaçam ás tribulaçoens de Israel) / Trans. from the Portuguese by M. A. Cohen. Philadelphia (PA), 1977. P. 159.*

³⁰ *Usque S. Consolaçam... P. xli; Samuel Usque's Consolation... P. 161. A similar point is made by Flavius Josephus (ca. 37–100 AD) – for further discussion, see Lange N. R. M. de. Jewish Attitudes to the Roman Empire // Imperialism in the Ancient World / Ed. by P. D. A. Garnsey and C. R. Whitaker. Cambridge, 1978. P. 263.*

upon the Jews perished from hunger and were subjected to fearsome cruelties. The depravity and desperation wrought upon the Romans was astounding; anyone who displayed to the general his father's head impaled upon a spear was considered to have achieved something exceptional³¹.

In addition to divine retribution, the Roman Empire suffered from dissent and intrigues. Usque references a number of prominent Roman political and military figures who committed suicide or fell victim to conspiracy. Cato the Younger, for instance, committed suicide; Caesar, who had won numerous battles and became ruler of almost the entire world, was cruelly murdered in a temple by his associates; Brutus, a great statesman, committed suicide in order not to fall into the hands of Octavian. Cassius asked one of his servants to kill him; Caligula was stabbed thirty-multiple times by his own people³². Due to incessant rivalries and vicious struggles for power, the Roman Empire was left impoverished. It became a barren waste and lost its prowess and grandeur. The Goths avenged all the nations that had suffered under the yoke of Rome: they massacred its population, sacked its wealth, tore down sumptuous buildings and palaces and the statues of the emperors and illustrious generals. For an entire year, Rome was desolate and all remnants of its glorious past were swept away³³.

Usque's references to the conspiracies and conflicts that were a persistent feature of Roman imperial history and brought about the fall of the Roman Empire evoke strong affinities with Chapter XIX of Machiavelli's *Prince*, which

³¹ *Usque S. Consolaçam...* P. xl; Samuel Usque's *Consolation...* P. 159–160.

³² *Usque S. Consolaçam...* P. xl–xli; Samuel Usque's *Consolation...* P. 160–162.

³³ *Usque S. Consolaçam...* P. xlii–xliii; Samuel Usque's *Consolation...* P. 162.

highlights the need for the ruler to avoid contempt and hatred. Like Usque, Machiavelli mentions various plots that led to the downfall and violent death of a number of Roman emperors. Specifically, he remarks that a prince is confronted with two challenges: one that is domestic and is related to his subjects; and the other that is external and posed by foreign powers. He can defend himself from the latter by creating a powerful army and forging good and lasting alliances. Military power can help make good friends and attract allies. As long as the ruler is able to keep external affairs in order, he will be able to guarantee domestic tranquility, unless there is a conspiracy. But even if things outside are in turmoil, he can secure his hold on power by avoiding to incur hatred and seeking to satisfy the people. Thus, a prince should not be concerned with plots if he has earned the loyalty of his people, but he must be cautious and never let his guard down when the people resent and turn against him³⁴.

Machiavelli reviews the lives, actions, and deaths of various Roman emperors and shows why they fell victim to conspiracies and were removed from power or were assassinated. He notes that while other states had to satisfy the interests of the nobles and the insolence of the people, the Roman emperors were faced with an additional challenge, i.e., the cruelty of the army. As a result, many emperors who failed to satisfy both the military and the people were ousted from power. For the people privileged peace and opted for moderate rulers, whereas the army preferred bellicose rulers who were cruel and rapacious. As a consequence, those emperors, who by birth or education did not have great reputation and did not manage to exercise control over both the people and the military were overthrown. Furthermore, most of them, particularly those who came new to the principate, realizing this peril, pri-

³⁴ *Machiavelli N.* The Prince. P. 72–73.

oritized the needs of the army and paid little attention to the people. That was a necessary course of action: a prince cannot avoid being hated by one sector of the populace and must primarily try to avoid incurring the hatred of all the people. And if he cannot achieve this, he must at least refrain from alienating those groups that are the most powerful. Hence, those emperors who were new and needed support, focused on nurturing the loyalty of the military rather than of the people and benefited from the support of the army as long as they were able to retain control over them³⁵.

Machiavelli notes that certain emperors like Commodus, Severus, Caracalla, and Maximinus, displayed extreme cruelty. In order to meet the demands of the army they did not hesitate to inflict every possible kind of harm on the people. All of them, with the exception of Severus, had a tragic end³⁶. For example, Commodus who succeeded Marcus Aurelius, would have been able to maintain his rule if he had emulated the example of his father and sought to satisfy both the military and the people. Instead, he was reckless, and his only concern was to ingratiate himself with the soldiers and make them licentious in order to vent his rapacity toward the people. He also compromised his dignity by often going down into the theatres to fight with gladiators and doing other vile things that were not appropriate for the imperial majesty and incurred the contempt of the military. Being hated by the people and despised by the army, he fell victim to a conspiracy and was assassinated³⁷.

By the time Uque's *Consolaçãm* was published in mid-sixteenth century, Machiavelli's works were enjoying a broad circulation and had become the subject of intense debates in

³⁵ Machiavelli N. *Il Principe*. Ch. XIX; *Idem*. *The Prince*. P. 76.

³⁶ Machiavelli N. *Il Principe*. Ch. XIX; *Idem*. *The Prince*. P. 77–78.

³⁷ Machiavelli N. *Il Principe*. Ch. XIX; *Idem*. *The Prince*. P. 80.

the Iberian context as well. The first Spanish translations of Machiavelli's writings included those of the *Dell'arte della guerra* (Florence, 1521) in Captain Diego de Salazar's adaptation *Tratado de re militari* (1536) and of Juan Lorenzo Ottevant's Castilian translation of the *Discourses*, which was dedicated to King Philip II of Spain (1527–1598, r. 1556–1598) and was published in 1552, i.e., one year before the *Conso-laçam*³⁸. But it is also possible that ideas contained in other

³⁸ *De Salazar D.* *Tratado de Re Militari* / Ed. crítica e intr. E. Botella Ordinas. Madrid, 2000; *Discursos de Nicolao Machiaueli: Juan Lorenzo Ottevant's Spanish Translation of Machiavelli's Discourses on Livy (1552)* / Ed. by K. D. Howard. Tempe (AZ), 2016. The following section is based on *Howard K. D.* *The Reception of Machiavelli in Early Modern Spain*. Woodbridge (Suffolk, UK), 2014. For Machiavelli's Iberian reception, see also: *Howard K. D.* *Fadrique Furió Ceriol's Machiavellian Vocabulary of Contingency // Renaissance Studies*. 26. 2011. P. 641–657; *García E.* *Istorie Fiorentine de Maquiavelo: una primera definición moderna de corrupción // Quaderns d'Italià*. Vol. 15. 2010. P. 117–126; *Maquiavelo y España: Maquiavelismo y antimachiavelismo en la cultura española de los siglos XVI y XVII* / Eds. J. M. Forte y P. López Álvarez. Madrid, 2008; *Arbulu Barturen M. B.* *Recepción y fortuna de Il principe de Maquiavelo en España / La recepción de Maquiavelo y Beccaria en ámbito iberoamericano* / Ed. de M. B. Arbulu Barturen y S. Bagno. Padua, 2006. P. 3–43; *Maravall J. A.* *Maquiavelo y Maquiavelismo en España / Idem.* *Estudios de historia del pensamiento español*, vol. 3: *El siglo del Barroco*. Madrid, 1999. P. 41–72; *Puigdomènech Forcada H.* *Maquiavelo en España: Presencia de sus obras en los siglos XVI y XVII*. Madrid, 1988; *Fernández-Santamaría A.* *Reason of State and Statecraft in Spanish Political Thought, 1595–1640*. Lanham (MD), 1983; *Bleznick D. W.* *Spanish Reaction to Machiavelli in the Sixteenth and Seventeenth Centuries // Journal of the History of Ideas*. Vol. 19. 1958. P. 542–550; and, in general, *Butters H. C.* *Conflicting Attitudes towards Machiavelli's Works in Sixteenth-Century Spain, Rome and Florence / Communes and Despots in Medieval and Renaissance Italy* / Ed. by J. E. Law and B. Paton. Farnham; Burlington (VT), 2010. P. 75–87; *Esposito R.* *Ordine e conflitto: Machiavelli e la letteratura politica del Rinascimento italiano*. Naples, 1990; *Macek J.* *Machiavelli e il machiavellismo*. Florence, 1980; *Gaeta F.* *Appunti sulla fortuna del pensiero politico di Machiavelli in Italia / Idem.* *Il pensiero politico di Machiavelli e la sua fortuna nel mondo*.

works by Machiavelli, especially those published posthumously – the *Discourses* (Rome and Florence, 1531), *The Prince* and the *Florentine Histories* (both Rome, 1532) – circulated in Spain earlier, in fact, even during Machiavelli's lifetime. Knowledge of the Italian language, which was spoken in core territories of the Spanish Empire, and the ability to read Italian works in the original and speak the Tuscan dialect were perceived as signs of education. Italy was a destination for those aspiring to serve in the imperial administration or the Church, or pursue the study the sciences or the arts. There were Spanish delegations and colonies in various Italian cities, such as Naples, Rome, Venice, Milan, and Siena, as well as military officials who could have been receptive to Machiavelli's ideas about warfare. Spain saw an influx of Italian men of letters, artists, and merchants, many of whom were associated with the court and played a major role in Spain's intellectual, political, and economic life. Traders of books and booksellers were particularly instrumental in the dissemination of works produced in Italy and the reception of Italian political thought³⁹.

Conclusion

In this chapter, I have demonstrated that Renaissance Jewish writings on the decline of ancient Israel and of the Roman Empire encapsulate valuable insights into the origins, symptoms, and effects of political and social conflict. Although existing evidence about the reception of Machiavelli's political

Florence, 1972. P. 21–36; *Procacci G.* Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna. Rome; Bari, 1995; *Idem.* Studi sulla fortuna del Machiavelli. Rome, 1965; *De Mattei R.* Dal premachiavellismo all'antimachiavellismo. Florence, 1969.

³⁹ *Puigdomènech Forcada H.* Maquiavelo en España... P. 16–18, 82–86.

thought in the Jewish tradition derives primarily from late sixteenth-century texts, my analysis demonstrated points of intersection between his ideas and those of Solomon ibn Verga about, e.g., the importance of military power as one of the foundations of political success. Moreover, I argued that the interpretation of episodes from the history of ancient Rome in Machiavelli's and Samuel Usque's works point to striking similarities between their views on the role of factions, conspiracies, the downfall and death of a number of Roman political and military leaders, and the power struggles that led to the fall of the Roman Empire. Previous scholarship on medieval and Renaissance approaches to civil discord has focused on Christian/Latin political theorists and historians, such as Marsilius of Padua, Leonardo Bruni, and Niccolò Machiavelli; the works discussed in this chapter open up new perspectives on the various attempts to identify the causes of factional strife in the late Middle Ages and the Renaissance through the prism of different historical experiences but very similar concerns.

**ВОСПРИЯТИЕ МАКИАВЕЛЛИ И
ГВИЧЧАРДИНИ В НОВОЕ ВРЕМЯ**

VI

**LA FORTUNA DI MACHIAVELLI E
GUICCIARDINI ALL'ETA' MODERNA**

*Павел Валерьевич Соколов,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»*

МАКИАВЕЛЛИ-РЕСПУБЛИКАНЕЦ ПРОТИВ ПСЕВДО-ВОЛЬТЕРА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕНИПЕЯ В НИДЕРЛАНДАХ XVIII ВЕКА¹

В фокусе нашего внимания – почти неизвестный в исследовательской литературе памятник макиавеллиевской традиции в Республике Соединенных Провинций – анонимный трактат, вышедший в 1741 г. в Утрехте под названием «Макиавелли-республиканец: Апология против “Антимакиавелли” господина Вольтера» (“Machiavel républicain, Tegens den ‘Anti-Machiavel’ van den heer Voltaere verdedigt”)². В Европе раннего Нового времени репутация Макиавелли была двойственной: наряду с пейоративным образом автора «Государя», коварного «тацитиста», основоположника литературы о «ragion di stato», политической диссимуляции и тайнах правления, существовал и светлый образ автора «Рассуждений о Первой Декаде Тита Ливия», апологета античных доблестей и республиканских институций³. Этот республиканский Макиавелли органично со-

¹ Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации “5–100”.

² Мы будем использовать второе издание этого текста: Machiavel républicain, Tegens Anti-Machiavel van den heer Voltaire verdedigt. Waer achter bygevoegt is Machiavel Boekdrukker. Utrecht, 1742.

³ См.: Machiavelli: Figure-Reputation / Ed. by J. Leerssen and M. Spiering. Amsterdam, 1996.

прягался с так называемым «Батавским мифом», у истоков которого стояло знаменитое сочинение Гуго Гроция «О древности Батавской Республики» (“*De antiquitate Reipublicae Batavae*”, 1610): мифом, согласно которому Нидерланды были колыбелью свободы и родиной наук и искусств еще с римских времен (главным источником этой мифологии выступали труды Тацита – «Германия» и «Анналы»). После «Акта об устранении» (*Akte van Seclusie*) 1651 г. и с началом «первого бесстатхаудерного периода» республиканская риторика постепенно радикализировалась, что вызывало повышенный интерес к фигуре Макиавелли у известнейших представителей «коммерческого республиканизма», братьев Йохана и Питера Де ла Куров.

Этот интерес мог быть как сочувственным, так и полемическим: не случайно Каспар Барлей (ван Барле), преподаватель философии и риторики в Амстердамском атенеуме, автор программной речи «Мудрый торговец, или о совместном изучении торгового дела и философии» (1633), составил также особую инвективу против Макиавелли⁴. Не было недостатка и в попытках «иренической», «нейтрально-научной» интерпретации Макиавелли. Так, издатель первого перевода «Рассуждений на первую декаду Тита Ливия» Адама ван Зейлена ван Нивелта на нидерландский язык, опубликованного в 1615 г., предлагает рассматривать Макиавеллиеву концепцию политики в свете аристотелевской теории науки, согласно которой всякая наука включает в себя знание противоположностей (в медицине это болезнь и здоровье, в этике – добро и зло и т.д.), а если так,

⁴ О Макиавелли у ван Барле, а также Даниэля Хейнзия, см.: Heck P. van. *Cymbalum politicorum, consultor dolosus. Two Dutch Academics on Niccolò Machiavelli // On the Edge of Truth and Honesty. Principles and Strategies of Fraud and Deceit in the Early Modern Period / Ed. by T. van Houdt, J. L. de Jong, Z. Kwak, M. Spies, M. van Vaeck. Leiden; Boston, 2002. P. 47–64.*

то «Государь» занимает в политике такое же место, как «Софистические опровержения» Аристотеля в его логике⁵.

Макиавеллиевская деструкция гуманистической этико-риторической парадигмы делала особенно напряженным и потенциально конфликтным проникновение его идей в политическую культуру Нидерландов, принимая во внимание то обстоятельство, что в риторике сначала антииспанской, а потом и антиоранжистской фракции был весьма востребован римский героический этос и, соответственно, пантеон античных героических образов (Публий Деций Мус, Муций Сцевола, Лукреция, Марк Курций, Юний Брут и т.д.), центральное место в котором занимал «национальный» батавский герой, вождь антиримского восстания 70 г. н.э. Гай Юлий Цивилис. Помимо специфической республиканской доминанты характерной чертой нидерландской рецепции Макиавелли была ассоциация его политических воззрений с так называемым «венецианским мифом» – представлениями о Венецианской республике как государстве с идеальной формой правления (смешанной конституцией)⁶. В начале XVIII столетия вышло в свет полное собрание сочинений Макиавелли на нидерландском языке, а несколько десятилетий спустя, под занавес «второго бесстадхаудерного периода», апологеты республиканского образа правления успевают ответить на знаменитый трактат-манифест, созданный Фридрихом Великим в соавторстве с Вольтером, «Антимакиавелли». Ответ этот заслуживает специального внимания. Дело в том, что анонимный автор этого текста комбинирует в своем тексте

⁵ De Discoursen van Nicolaes Machiavel, Florentijn, over d'eerste thien Boecken van Titus Livius. Leyden: Frans Bastijn, 1652. [Den Drucker tot den goetwilligen Leser]. S.p.

⁶ Об этом см.: *Haitsma Mulier E. O. G. The Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century*. Assen, 1980.

вполне серьезную республиканскую риторику и защиту Макиавелли против всех сколько-нибудь значимых его критиков, начиная с Инносана Жантийе до Поссевина и Рибаденейры, с пародийной, в духе «Парнасских известий» Траяно Боккалини, фиктивной биографией Флорентийского секретаря, в которой тот предстает как герой авантюрной новеллы, скитавшийся по дворам европейских государей в надежде сбыть свои идеи, попавший в руки отцов-иезуитов и в конце концов нашедший приют в Конгрегации пропаганды веры в должности книгопечатника (к этой биографии автор прилагает даже фиктивную буллу Папы Бенедикта). Именно пересечение в этом загадочном тексте множества дискурсов ученой культуры раннего Нового времени и стратегий аргументации – элементов тацитизма, литературы *arsana* и *ragion di stato*, нидерландского коммерческого республиканизма, риторики Просвещения, барочной политической сатиры – составляет предмет нашего исследования.

Мы ничего не знаем об авторе интересующего нас сочинения: беглые упоминания о нем в историографии обыкновенно берут в расчет исключительно основную, серьезно-апологетическую часть трактата, которая, к общему разочарованию, представляет собой почти дословный плагиат вышедшего десятью годами ранее сочинения немецкого макиавеллиста Иоганна Фридриха Криста «О Николае Макиавелли в трех книгах» (*De Nicolao Machiavello libri tres*)⁷. По мнению Е. О. Г. Хаитсмы Му-

⁷ Исключительное внимание к «серьезной» части трактата характерно не только для историографии нашего времени, но и для немногочисленных современных рассматриваемому нами трактату рецензий. См., например, анонимный отзыв 1742 г., в котором о «Макиавелли-печатнике» не сказано ни слова: *Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savans de l'Europe. Pour les Mois de Janvier, Février, & et Mars 1742. T. 25. Première partie. Amsterdam, 1742. P. 200–220.*

лиера, смысл этого перевода-плагиата мог заключаться для его автора в том, чтобы снабдить современных ему представителей антиоранжистской партии обширным перечнем аргументов и контраргументов, собранных Иоганном Кристом в полемике с хулителями республиканского макиавеллизма⁸. Сходный случай полнотекстового плагиата мы можем найти в нидерландской политической литературе середины XVII столетия – речь идет о трактате «Тщательное исследование государства, касающееся свободного и тайного образа правления на всей земле» (*Naeuwkeurige consideratie van state, weegens de heerschappye van een vrye en geheymen staets-regering over de gantsche aertbodem*), вышедшем в 1662 г. в Амстердаме под именами (точнее, под инициалами) братьев Йохана и Питера Де ла Куров, знаменитых представителей голландского коммерческого республиканизма. Исследователи долго не могли понять, почему идеология и сам стиль политического мышления в этом тексте так сильно отличаются от других сочинений братьев (точнее – старшего из них, Питера, т.к. Йохан рано умер, и его вклад оценить трудно), пока не было открыто, что он представляет собой настоящий палимпсест: «Тщательное исследование» – плагиат en bloc трактата утрехтского юриста Герарда Вассенаара «Тайные искусства правления», а тот, в свою очередь, содержит многочисленные заимствования из «О тайнах государств» Арнольда Клапмайера⁹. Таким образом, масштабное плагиирование

⁸ *Haitsma Mulier E. O. G. Het Nederlandse gezicht van Machiavelli: twee en een halve eeuw interpretatie 1550–1800. Hilversum, 1989. Blz. 20. См. также: Velema W. R. E. Republicans. Essays on Eighteenth-Century Dutch Political Thought. Leiden; Boston, 2007. P. 75.*

⁹ См. также: *Blom H. W. Citizens and the Ideology of Citizenship in the Dutch Republic: Machiavellianism, Wealth and Nation in the Mid-Seventeenth Century // Machiavelli: Figure-Reputation / Ed. by J. Leerssen and M. Spiering. Amsterdam, 1996. P. 139–142.*

чужого текста в нидерландской политической культуре – не случайность, а стратегия, нуждающаяся в объяснении.

Однако массированное использование плагиата – не единственная загадка «Макиавелли-республиканца». Транспонируя в область политической литературы знаменитый термин М.М. Бахтина, мы могли бы определить этот текст как своего рода «политическую мениппею», образец «серьезно-смехового жанра» в политике; в терминах самой эпохи мы могли бы причислить его к «мифологико-сатирическому» роду политических сочинений¹⁰. В самом деле: перед нами текст, состоящий из трех частей, каждая из которых ставит под вопрос другую и саму себя. Предисловие «Макиавелли-республиканца» идеологически противоречит введению «Макиавелли-печатника», которое, в свою очередь, оппонирует основному тексту апологии; при этом «Макиавелли-республиканец» прячется за маской анонима (в этосе ранненововой Республики ученых анонимность и псевдонимность часто рассматривались как вид квазиполитической *dissimulatio*), «Макиавелли-печатник» и вовсе фигура фиктивная и гротескно-комическая, а основной текст, как мы видели, представляет собой плагиат.

В чем мог заключаться смысл создания такого текста? Нарисованная нами картина еще более усложняется в свя-

¹⁰ Эта формулировка заимствована нами из малоизвестного, но ценного именно своей типичностью сочинения Иоганна Давида Мюллера «Схематический очерк метода политического благоразумия»: «В догматических книгах изложение ведется или прямо, без обиняков, как в Догматико-Полемических сочинениях; или косвенно и словно бы под некими покровами, как в сочинениях Мифологико-Сатирических» (*Мюллер И. Д. Схематический очерк метода политического благоразумия // Иванова Ю. В., Соколов П. В. Кроме Макиавелли. Проблема метода в политических науках раннего Нового времени. М., 2014. С. 309*).

зи с тем, что нам удалось обнаружить текст, подписанный псевдонимом «Макиавелли-республиканец» и вышедший в свет в том же году: речь идет о небольшом сатирическом стихотворении (*berispdicht*), адресованном довольно известному в свое время нидерландскому поэту Виллему ван Харену. Словарь нидерландских поэтов под редакцией А. Й. ван дер Аа без каких-либо аргументов приписывает его Эпо Сйюку ван Бурмании (1698–1775), бургомистру Доккюма, историку и известному оранжистскому публицисту, автору нескольких поздравительных стихотворений¹¹. Однако, если верно, что «Макиавелли-республиканец» из сатиры на ван Харена и автор апологии – одно лицо, то сложно поверить, чтобы под этим именем мог скрываться ван Бурмания – последовательный сторонник оранжистов, который, по отзывам современников, сыграл в возвышении Вильгельма IV столь же важную роль, как в свое время Сюлли – в возвышении Генриха IV. Мы склонны считать, что вопрос об идентичности «Макиавелли-республиканца» пока остается открытым. Как бы то ни было, нельзя не отметить общий для «сатирического стихотворения» и «Макиавелли-республиканца» антифранцузский мотив. Антифранцузские пассажи, бичующие одновременно политическую и культурную гегемонию Франции в Соединенных Провинциях, рассыпаны по все-

¹¹ Nieuw biografiesch, anthologiesch en kritiesch woordenboek van Nederlandsche dichters / Ed. A. J. van der Aa. Vol. I. Amsterdam, 1864. Blz. 490. Со ссылкой на *miscellanea* Якоба Схельтемы, который приводит в своем тексте текст сатиры целиком и приписывает ее «одному из самых выдающихся и достойных регентов Фрисландии»: *Scheltema J. Geschied- en letterkundig mengelwerk*. Amsterdam, 1817. Blz. 147–148. Эту таинственную ссылку на «одного из достойнейших регентов Фрисландии» в дальнейшем следовало бы прояснить. Подпись «Machiavel republicain» в этом издании не была воспроизведена.

му *Berispdicht*: кульминацией их можно считать заключающее эту сатиру воззвание автора к его лире – «оставайся же висеть в тени лилий / Чьи желто-золотые семена заставляют ржаветь твои струны»¹².

В связи с этим характерно, что адресат сатиры, Виллем ван Харен, был одним из наиболее значительных проводников французского влияния, конкретно – французского классицизма в Нидерландах. Самая известная поэма ван Харена, «Фризо» (*Friso*), повторяет сюжет знаменитого «Телемаха», поэмы Фенелона. Парадоксальное сопряжение «галломании» ван Харена и патриотической проницательной риторики, определяющей сам сюжет его поэмы (Фризо – мифологический основатель Нидерландов) находит отражение и в посвященной ему сатире: она как бы пародирует обреченную на провал попытку апеллировать к героическому республиканскому этосу¹³, одновременно занимая профранцузскую позицию в эстетике – следствием этого оказывается лишь то, что смелую речь греков и древних франков сменяет оппортунистический язык, порождающий из себя такую же оппортунистическую политику («разделяющую благо своего врага», *zuns Vyants goet te deelen*)¹⁴. Коллизия этих двух взаимоисключо-

¹² “Zeg dan ‘Vaarwel myn Lier als’t wezen moet, / Voorheen, zo’k waande, aan Lan ten Godtsdienst heilig, / En hang in Schaaу van lelibladen veilig, / Wiens gout geel zaat uw snaren roesten doet” ([Machiavel Republicain]. *Berispdicht*, aan den Heere W. van Haren. ‘s Gravenhage, 1742. Blz. 7).

¹³ “O, (zegtge)t valt EEN brave zielte zwaar. / EN EERE, EN Plicht, EN HEILIGE verbonden, / TE ZIEN bezwalkt, verbroken EN geschonden, / DE VRYHEIT FLAAU, DEN gotsdienst IN GEVAAR / (WAT schrik! Wat SLAG! Wat schade!) / HIER zwygen is verraden” (Ibid. Blz. 4).

¹⁴ “Hou op, die stoute taal is lang verout. / Zo hielp Leonidas den Griek aan ‘t finden, / Zo sprak uw Grootvâer in de Fransche tyden; / Nu weet

чающих позиций провоцирует автора на пессимистические размышления: «Есть ли свобода что-то большее, чем нелепый вымысел, / Игрушка для народа? Неужели свобода состоит в том, / Чтобы бояться многих господ вместо одного / И свободно распоряжаться деньгами страны? / Свобода в том, чтобы свободно мыслить / И не склоняться перед тираном»¹⁵. Как афористически формулирует «Макиавелли-республиканец», «кто не умеет прятаться, / тому придется выть с волками»¹⁶. Однако амбивалентность позиции ван Харена заключалась не только в сочетании нидерландского патриотизма с галломанией. Другая его поэма, «Леонид», стяжала славу не столько из-за эстетических своих достоинств, сколько из-за произведенного ею эффекта на практическую политику: современники считали – возможно, не без оснований, – что именно она побудила Генеральные Штаты Республики Соединенных Провинций, до той поры колебавшиеся, направить двадцать тысяч солдат на помощь Марии Терезии в войне за Австрийское наследство¹⁷. Но ведь Франция, выступавшая для ван Харена культурным идеалом, была противницей Нидерландов в этой войне!

men door een strelent onderhout, / En zagte fluit te speelen, / Zyns Vyants goet te deelen” (Ibid. Blz. 5).

¹⁵ “Is vryheit meer dan ingebeeelde waan; / Een pop voor 't volk? zal dit de vryheit wezen, / Meer Heeren in de steê van een te vrezzen, / En met 's Lants gelt te laten vry begaan? / 's Lants vryheit, is vry denken! / Door geen Tiran te krenken” (Ibid. Blz. 6).

¹⁶ “Zeg dan ‘Vaarwel myn Lier als 't wezen moet, / Voorheen, zo 'k waande, aan Lant en Godtsdienst heilig, / En hang in schaal van lelibladen veilig, / Wiens gout geel zaat uw snaren roesten doet’. / Wie niet vermag te schuilen, / Moet met de wolven huilen” (Ibid. Blz. 7).

¹⁷ *Meijer R.* Literature of the Low Countries: A Short History of Dutch Literature in the Netherlands and Belgium. The Hague; Boston, 1978. P. 167.

В свете сказанного новый смысл обретает полемика в нашей «мениппее» с Вольтером, которого «Макиавелли-республиканец» считал автором «Анти-Макиавелли», хотя и угадывал в нем королевское величие и амбиции, как можно видеть из следующей цитаты: «если бы Вольтер был великим монархом, а Макиавелли был еще жив, ему не удалось бы умереть своей смертью – он умертвил бы его своими словами»¹⁸. Как отмечают многие историки голландской литературы, влияние Вольтера на нидерландскую литературу начала XVIII в. было очень значительным, едва ли не всеохватывающим: так, его «Генриада» была переведена на нидерландский язык трижды¹⁹. В связи с этим характерно, что во втором, «авторском», предисловии аноним специально оговаривает вопрос о языке, настаивая на своем праве публиковать свой труд именно на нидерландском, а не на каком-либо более распространенном языке Республики ученых – скажем, латыни или французском²⁰. Нидерландский республиканский патриотизм с его антииспанскими и антифранцузскими обертонами образует своего рода лейтмотив «Макиавелли-республиканца» и органично сопрягается с общими местами макиавеллистской традиции. Этот трактат даже завершается, подобно «Государю», поэтическим воззванием: «Мы написали этот труд ради блага наших свободнорожденных сограждан, которым желаем всяческого успеха и благородной решимости в защите свободы, купленной ими дорогой ценой, сладостными словами г-на Хёйдекопера в его обращении к голландскому читателю, предваряющем

¹⁸ “Was Voltaire een groot Monarch en Machiavel nog in levenden lyve, hy stierf syn eige dood niet; thans zal hy hem met syn eige woorde dooden” (Machiavel républicain... Blz. 347).

¹⁹ Stein H. J. A. M. Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siècles. Utrecht, 1929. P. 94.

²⁰ Machiavel républicain... Blz. 4.

издание писем Горация: “Воззрите на образ действий / Ваших праотцев, о, чистая голландская кровь!”²¹. Итак, Макиавелли против Вольтера, нидерландский республиканский героизм против профранцузского оппортунизма, этика *virtus* против этики *Realpolitik*: таков общий для сатиры на ван Харена и апологетической части «Макиавелли-республиканца» набор идей. Однако в разительном контрасте с этими идеями находится та часть трактата, которую исследователи традиционно обходили молчанием – предисловие «Макиавелли-печатника».

Повествование ведется здесь от первого лица: фиктивная биография Макиавелли, вложенная в уста его самого, в действительности отражает основные элементы «черной легенды» о Флорентийском секретаре – с тем лишь отличием, что герой этой легенды не демонизируется, а изображается как невинная жертва собственных открытий в области реальной политики. Мы позволим себе подробно пересказать этот текст. Как подобает доброму подданному, Макиавелли пытался укрепить власть своего государя, Лоренцо Медичи, обратившись для этой цели к исследованию «спасительных правил Римского двора при блаженной памяти папе Александре VI», а также его сына, герцога Валентино: эти правила оказались наилучшими для достижения такого безраздельного господства, которое древние именовали тиранией (*geweldenary*), а новые, желая избежать столь мало приличествующего христианину имени, – «неограниченной властью». На основе этих правил Ма-

²¹ “Wy hebben dit werk ten dienst van onze vrygeboore Landslieden geschreven, aen welke wy alle voorspoed en edelmoedige gedachten tot onderhouding van hunne diergekogte vryheid met de zoetvloeyende woorden van den Hr. Huidekoper in syn toeschrift aen den Hollandschen Lezer voor Horatius brieven toewenschen: Wel, ziet dan op den moed / Van uw Voorvaderen, o zuiver Hollandsch bloed!” (Machiavel republicain... Blz. 360).

киавелли составил своего «Государя» и преподнес его в дар Лоренцо Младшему, чтобы тот, овладев принципами реальной политики, смог уберечь Италию от ее врагов. Однако тем самым он разоблачил тайны правления (те самые *arsana imperii*) и снял шоры с глаз слепцов, не знавших истинной природы политики: последние могли теперь почувствовать себя способными самостоятельно определять свою судьбу, что грозило их прежним пастырям полным разорением. Испугавшись этой перспективы, европейские государи собрали совет и назначили специальных комиссаров для исследования макиавеллиевых писаний, самого же автора призвали на суд, воспроизводящий столь же пародийное судилище над тем же Макиавелли в «Парнасских известиях» Траяно Боккалини. Первоначально обвиняемому почти удалось склонить суд к оправдательному приговору, отрицая, что его можно считать изобретателем каких-либо максим и основоположений: он почерпнул их из наблюдений за деяниями великих государей, о которых никому не позволено говорить ничего дурного под страхом самого сурового наказания. Однако один из судей нашел решающий аргумент, убедивший его сотоварищей вынести обвинительный вердикт – нельзя вставлять смиренным овцам волчьи зубы, иначе пастухи не смогут больше управлять своими стадами с помощью простого посоха и флейты: им придется взять в руки вожжи и стальные рукавицы и завести сторожевых псов. Этот аргумент побудил судей приговорить Макиавелли к сожжению на костре. Тут на помощь незадачливому Флорентийскому секретарю пришел Филипп II Испанский, смертельный враг Соединенных провинций, и взял Макиавелли под свою защиту. Наследники Филиппа, однако, отказались от его принципов правления и готовы были предать Макиавелли тому наказанию, которое прежде определил для него высокий суд: причиной этого было то, что слепота и суеверие, кото-

рые Филипп заботливо насаждал в душах своих подданных, поразили в конце концов и души самих испанских монархов.

После этого флорентиец вынужден был отправиться в странствие по миру, словно изгнанник, скрываясь от собственных последователей из числа государей. В ходе этих странствий ему пришлось бы или умереть от голода, или попасть в руки врагов. Неожиданными спасителями Макиавелли оказались иезуиты: те, надеясь научиться от него тайнам власти, приютили его в своей Римской Коллегии. Генерал Ордена, весьма обрадовавшись такой находке, отправил своего агента в Венецию, вручив ему небольшой портрет св. Игнатия Лойолы, «с большой нежностью смотрящего на статуэтку Мадонны», чтобы по образцу его изготовить для Макиавелли маску, способную умягчить самые жестокие сердца и обмануть самые пронизательные умы. Так Макиавелли сделался наставником иезуитов: «будучи таким образом замаскирован, я мог, — пишет он, — не вызывая ни малейшего раздражения, преподавать те же самые наставления и принципы, которые я ранее преподавал Лоренцо Медичи и которые вызывали у тех же людей немалое отвращение»²². С тех пор он должен был являться в своем подлинном облике только перед начальниками Ордена: когда однажды его случайно увидел один молодой монах и страшно испугался, генерал тотчас нашелся и заявил, что перед ним на самом деле ангел, которого новиций принял за дьявола только из-за собственной греховности. Макиавелли был поставлен преподавать наставления новициям: теперь, благодаря маске и иезуитской одежде, он

²² “Want dus vermomt kost ik, zonder hen in ‘t minst te ergeren, dezelve lessen en grontregelen bybrengen, die ik eertyts aen Laurens de Medicis had voorgedragen, en van welke zy zulk een afkeer betoonden” (Machiavel républicain... Blz. XIV–XV).

мог безбоязненно возвещать те максимы, которые были изложены им в «Государе». Это стало для Макиавелли неопровержимым доказательством того, что всеобщее негодование вызывало не содержание учения, а личность человека, его проповедующего. В благодарность за многочисленные услуги, оказанные флорентийцем Обществу Иисуса, генерал вручил ему «кошелек, полный новеньких золотых квадруплей, отчеканенных в Парагвае», а также «несколько капель эликсира собственного приготовления», который сначала показался ему очень вкусным и укрепляющим, но на поверку оказался рвотным средством, под действием коего несчастный флорентиец изbleвал из себя все политические максимы, которые у него еще оставались, а молодые последователи Лойолы заботливо их подобрали: что же до золота, то вместо него Макиавелли обнаружил в своем кошельке некий черный порошок.

После этого флорентийцу пришлось скитаться по трактирам и притонам, получая жалкие гроши от аббатов и священников, которые при помощи его советов надеялись добиться благоволения Римского Понтифика. Наконец, доведенный уже до крайней нужды, Макиавелли нашел приют у одного из своих учеников, занимавшего должность монсеньора палаты (*Monsignore di Camera*) при одном кардинале. Тот посоветовал ему подать прошение о занятии должности книгопечатника при Конгрегации пропаганды веры: шансы получить ее у Макиавелли были весьма велики, ведь «Академия политиков», по сведениям высокопоставленного клирика, провозгласила, что пропаганда католической веры означает не что иное, чем расширение юрисдикции и могущества Церкви (*extendere jurisdictionem vel potestatem Ecclesiae*). Так и произошло, и Макиавелли получил право печатать постановления Конгрегации и даже, благодаря расположению к нему ее членов, другие сочинения при условии, что они будут способство-

вать славе и могуществу Римской Церкви. Таким образом получилось, что «Макиавелли-печатник» работал в Конгрегации вероучения, а соседняя Конгрегация священного индекса еще в 1559 г. включила его в «Индекс запрещенных книг» как автора первого класса (осуждение как самого автора, так и его трудов). Воспользовавшись названной привилегией, Макиавелли-печатник опубликовал собственную апологию, прибегнув к услугам некоего «честного человека» (eerlyk man) – здесь мы очевидно можем усмотреть отсылку к самому анонимному автору «Макиавелли-республиканца». Предисловие завершается составленной от лица папы Бенедикта XIV буллой, которой фиктивный автор, по его собственному признанию, запасся из соображений безопасности.

Характерно, что удвоение нарративных инстанций в нашем тексте повторяет подобный же прием в «Анти-Макиавелли». Там издатель-Вольтер ссылается на волю не называемого им автора (им был, как мы знаем, Фридрих II, но наш аноним считал, что это лишь литературная игра со стороны самого Вольтера): «он оказал мне честь, – пишет Вольтер, – послав мне свою рукопись, и я счел своим долгом испросить у него позволения опубликовать ее»²³. Более того: сама тройственная структура (предисловие автора – второе предисловие, противоречащее ему по идеологии, в случае с «Анти-Макиавелли» предисловие Амело де ла Уссе, переводчика Макиавелли, – основная часть) – оказывается воспроизведена в «Макиавелли-республиканце». Таким образом, мы можем предположить, что автор «Макиавелли-республиканца» пародийно воспроизводит

²³ “Il me fit l’honneur de m’envoyer son Manuscrit, je crus qu’il étoit de mon devoir de lui demander la permission de le publier” (Anti-Machiavel, ou Essai de critique sur le Prince de Machiavel / Pub. par Mr. De Voltaire. Amsterdam, 1741. P. V).

структуру критикуемого им сочинения. Но какова прагматика этого текста? Как следует его оценивать – как серьезную апологию Флорентийского секретаря, к которой в качестве своего рода пародийного эпиграфа прилагается «черная легенда» о нем, или как развернутую пародию, в которой апология является лишь элементом сатиры? Чтобы это понять, необходимо в основных чертах реконструировать формы и стратегии рецепции Макиавелли в пан-европейской Республике ученых от первых изданий его сочинений до первой половины XVIII столетия.

История эта выглядит как иллюстрация тезиса Виктории Кан, определившей, в споре с Джоном Пококом, «Макиавеллиев момент» как актуализацию «серии напряжений в самом средоточии риторической культуры Ренессанса»²⁴. С первого европейски знаменитого критика Макиавелли, Инносана Жантийе, берет свое начало жанр сборника «нечестивых максим» (*maximes toutes meschantes*) Макиавелли: именно с этим автором связано стремительное превращение исторического Макиавелли в «макиавеллизм» – набор общих мест, освященных именем Флорентийского секретаря, хотя и имеющих порой весьма отдаленное отношение к букве его текстов. Оценка фигуры Макиавелли в той или иной стране могла резко меняться в зависимости от разного рода порой трагических факторов: так, изначально скорее позитивная оценка Флорентийского секретаря во Франции XVI столетия сменилась почти повсеместно на противоположную после событий Варфоломеевской ночи, а в полемических листовках антимаккиавеллизм сопрягался с антиитальянской пропагандой. Для нас особенно интересно то обстоятельство, что история рецепции Макиавелли с самого ее начала предполагала плагиат в ка-

²⁴ Kahn V. *Machiavellian Rhetoric: From the Counter-Reformation to Milton*. Princeton, 1994. P. X.

честве одного из главных своих элементов. Так, одно из первых известных антимаккиавеллиевских сочинений – трактат аристотелика Агостино Нифо «Об искусстве правления» (*De regnandi peritia*) 1523 г. – был фактически переводом-плагиатом еще не изданного тогда «Государя» (известного в то время под именем *De principatibus*)²⁵. И в то же время сам «Государь» нередко рассматривался как плагиат: довольно полный перечень авторов, от Якоба Томмазия до Георга Пасхия, считавших «Государя» плагиатом то ли V книги «Политики» Аристотеля, где речь идет о тирании, то ли Бартоло да Сассоферато, мы можем найти в седьмой части «Избранной политико-геральдической библиотеки» Карла Арнда (1705 г.)²⁶.

С упомянутого нами плагиата-парафраза Агостино Нифо начинается традиция публикации текста (парафраза, плагиата) «Государя» вместе с его опровержением (яд с противоядием): в тексте Нифо четыре первые главы, представляющие собой сокращенное латинское переложение «Государя», нейтрализуются пятой, выдержанной в традициях политического аристотелизма. Так воплотилась идея, сформулированная уже первым издателем Макиавелли, Бернардо Джунтой, согласно которой «Государя» следует читать «наоборот»: знание неприглядных деяний государя для знатока политического искусства необходимо так же, как медику необходимо знание ядов, чтобы изготовить противоядие. Более того: политический язык, созданный Макиавелли, быстро оброс целым рядом «маскировочных»

²⁵ Об этом см.: *Cosentino P.* Un plagio del Principe: il *De regnandi peritia* di Agostino Nifo // *Furto e plagio nella letteratura del classicismo* / A cura di R. Gigliucci. Roma, 1998. P. 139–160.

²⁶ *Arnd K.* Bibliotheca politico heraldica selecta h.e: Recensus scriptorum ad politicam atque heraldicam pertinentium. Cum præfatione de selectissimis bibliothecarum theologiæ, juridicæ, medicæ & philosophicæ collectoribus. Rostochi et Lipsiæ, 1705. P. 58–59.

идиом, дискурсов-двойников. Эти дискурсы – тацитизм, *ratio status* и *ius publicum* – возникают во второй половине 1580-х гг., когда почти одновременно выходят в свет латинский перевод «Шести книг о республике» Жана Бодена (1586), «Шесть книг политической или гражданской науки» Юста Липсия (1589) и «О государственном интересе» Джованни Ботеро (1589)²⁷. В этих традициях язык Макиавелли также выступает как своего рода палимпсест, новое издание существовавшего еще с античности языка реальной политики, обретшего наиболее полное воплощение в исторических трудах Тацита²⁸.

Апологии Макиавелли также имели к началу XVIII столетия долгую традицию. Кульминацией республиканского оправдания Макиавелли можно считать знаменитую цитату из «Трех книг о посольствах» Альберико Джентили: там Флорентийский секретарь именуется «умнейшим сторонником и хвалителем демократии» (*Machiavellus Democratiae laudator, et assertor acerrimus*), целью которого было не учить принципам тиранической политики, а раскрыть несчастному народу нечестивые тайны монархического правления (*sui propositi non est, tyrannum instruere, sed arcanis eius palam factis ipsum miseris populis nudum et conspicuum exhibere*): под видом «Зеркала государева» Макиавелли хотел просветить подданных и раскрыть им глаза на преступные стратагемы политиков (*sub specie principalis eruditionis populos erudiret*). Этот топос «Макиавелли-

²⁷ Zwielerlein C. Machiavellismus / Antimachiavellismus // Diskurse der Gelehrtenkultur in der Frühen Neuzeit: Ein Handbuch / Hrsg. von H. Jaumann. Berlin; New York, 2011. S. 923.

²⁸ О «макиавеллизме до Макиавелли» см.: Mulsow M. Ahitophel und Jerobeam. Bemerkungen zur Denkfigur des “Machiavellismus vor Machiavelli” // Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von Kontingenz, Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit. München, 2010. S. 163–177.

республиканца», воскресившего доблести древних благодаря философскому прочтению их исторических трудов, доживает до Жан-Жака Руссо, считавшего «Государь» «трудом республиканца».

Итак, мы видим, как вокруг фигуры самого Макиавелли и его текстов, прежде всего «Государя», формируется целое облако антиномий, взаимоисключающих стратегий прочтения: одни видят в нем скрытого республиканца, другие – адепта тирании; одни считают «Государя» плагиатом Аристотеля, другие сами посредством плагиата пытаются нейтрализовать его избыточную оригинальность; одни относят труды Флорентийского секретаря к серьезному жанру и полемизируют с ними или хвалят их в качестве таковых, другие усматривают в них сатиру. Так, к примеру, Иоганн Бальтазар Шупп признавался, что читает Макиавелли так же, как «Гробиана» – сатирическую поэму Фридриха Дедекинда, начинающуюся словами: «Зачем ты подражаешь суровому виду Катонов? / Простота древних нравов в нашей шуточной песне / Переложена ионийским ладом»²⁹. Для Шуппа «Государь» – такая же пародия на тираническое правление, как «Гробиан» – сатирическое изображение античных нравов. На этом, как мы можем убедиться, весьма сложном фоне появляется в 1741 г. «Анти-Макиавелли» Фридриха II. Этот текст совершил революцию в том восприятии Макиавелли, которое сложилось в это время в германоязычных провинциях Республики ученых. Негативный образ флорентийца, сменившийся на противоположный в результате исторической контекстуализации его взглядов в традиции «истории учености» (*his-*

²⁹ “Quid rigida duros imitaris fronte Catones? / Simplicitas veterum ioculari carmine morum / Reddita in Aonios estque redacta modos” (*Dedekind F. Grobianus, et Grobiana, De morum simplicitate, libri tres. Frankfurt/M.: Heared. Chr. Egen., 1558. S.p.*)

toria litteraria), после совместного появления Фридриха II и Вольтера «на подмостках мира» вновь обрел права гражданства в Республике ученых: круг замкнулся. Любопытно, что эта «великая трансформация» произошла буквально внутри одного текста: в анонимном продолжении «Всеобъемлющей истории учености» Николая Иеронима Гундлинга, вышедшем в свет в 1746 г. Если сам Гундлинг с одобрением ссылается на положительное мнение о «Государе», сложившееся в Республике ученых, а также соглашается с тем, что «он имел верное представление о Римской республике» (einen rechten Concept de republica Romana), то его анонимный продолжатель, ссылаясь на Фридриха II, возвращается к черной легенде о нем³⁰. Наконец, наш «Макиавелли-республиканец» начинает новый виток все той же спирали и создает уже настоящий пастищ, в котором автор совершенно утрачивает позицию венаходимости, а текст из монолога превращается в полифонию.

³⁰ Scattola M. Machiavelli in der *historia litteraria* // Machiavellismus in Deutschland... S. 148.

*Юлия Владимировна Иванова,
Департамент общей и прикладной филологии
Факультета гуманитарных наук –
Институт гуманитарных историко-теоретических
исследований им. А.В. Поletaева
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»*

МАКИАВЕЛЛИ И ВИКО О РИМСКОЙ РЕЛИГИИ: КРЕАТИВНОСТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ОТКРЫТИЕ ИМПЕРСОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ^{1*}

Связи между мыслью Вико и мыслью Макиавелли многократно исследованы². Изучение макиавеллианской линии в творчестве Вико началось довольно рано (Бенедетто Кроче посвятил этому сюжету статью еще в 1924 г.), потому что зависимость Вико от Макиавелли в целом ряде случаев видна невооруженным глазом – так же, как очевидна и общая для этих двух историков социальности и социальных институтов зависимость от Та-

* Текст публикуется в авторской редакции.

¹ Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации “5–100”.

² *Labrie A. Giambattista Vico and the Machiavellian Tradition // Machiavelli: Figure-Reputation / Ed. by J. Leerssen, M. Spiering. Amsterdam, 1996. P. 27–62; Morrison J. Vico and Machiavelli // Vico: Past and Present / Ed. by G. Tagliacozzo. New York, 1981; Esposito R. La politica e la storia. Machiavelli e Vico. Napoli, 1980; Croce B. Machiavelli e Vico [1924] // Idem. Etica e politica. Bari, 1945. P. 250–256.*

цита³. Исследования «макиавеллианства» Вико продолжается и в наши дни: достаточно назвать хотя бы недавнюю диссертацию Франчески Марии Помары «Историческое знание и креативная политика у Макиавелли и Вико»⁴. Если многочисленные аспекты наследия каждого из двух мыслителей регулярно подвергаются пересмотрам, то вполне естественно, что и связи между ними будут периодически переустанавливаться. Отношения между Вико и Макиавелли – это пример парадоксальной зависимости-оппонирования, когда оба мыслителя стартуют с одной – скажем сразу: пессимистической в отношении человеческой природы – позиции, но плодом их интеллектуальной работы становятся совершенно разные концепции человеческой истории и, главное, совершенно разные взгляды на направляющие ее и движущие ею силы.

Макиавелли присутствует в текстах Вико на нескольких уровнях, Вико разными способами включает полемику с ним в свои построения. Между Вико и Макиавелли есть совпадения текстуальные, которые свидетельствуют о том, что Вико как будто бы удерживает тексты Макиавелли перед мысленным взором и отвечает ему. В таких случаях Вико обычно не называет Макиавелли по имени – пассаж из текста Макиавелли фигурирует как общее место, которое Вико включает в свою интерпретацию того или иного события. Речь может идти о вещах второстепенных – хотя, безусловно, они тоже заслужи-

³ Библиографию исследований, посвященных Вико, Тациту и тацитизму, см. в: *Nuzzo E. Vico, Tácito y el tacitismo // Cuadernos sobre Vico. № 17–18. 2004–2005. P. 202* (библиография эта занимает почти целую страницу).

⁴ *Pomara F. M. Historical Knowing and Creative Politics in Machiavelli and Vico. UC Berkeley: UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations, 2015* (URL: <https://escholarship.org/uc/item/1tx2q4kt>).

вают отдельного исследования. Например, Вико воспроизводит в своем раннем сочинении «О постоянстве правоведа» (*De constantia jurisprudentis*, 1721) пассаж о римских юношах, которым тирания Тарквиния оказалась удобнее, чем основанная Брутом республика с ее суровым режимом⁵.

Более глубокое присутствие Макиавелли заключено в самом взгляде Вико на человеческую природу и человеческую историю. Хотя бы потому, что Вико изъявляет больше интереса к грязи города Ромула – “*feci della citta` di Romolo*”, – чем к «идеальной республике» Платона. В итальянской историографии начиная со спора Лоренцо Валлы и Бартоломео Фацио обозначились две линии: одну из них можно назвать реалистической, другую – парадной: *storia illustre* – так она обычно именуется в итальянских пособиях по истории историографии и литературы. Лоренцо Валла в споре с Фацио отстаивает *veritas*, то есть истину, которая заключается в правильном установлении причин и следствий исторических событий, невзирая на «достоинство», «ценность» и «благоприличие» фактов, которые ради истины приходится помещать в историческое сочинение. Его оппонент стоит за *brevitas*, своеобразно понятую «краткость» как не только и не столько стилистическую, сколько содержательную доминанту исторического сочинения. В истории могут найти себе место только те факты и характеристики персонажей, которые отвечают требованиям дидактики и эпидейктической риторики: исторический персонаж (а среди таковых персонажей главный – это суверен) должен обладать подобающим его сану величием, вокруг которого группируются все остальные категории, прили-

⁵ Joh. Baptistae Vici Liber Alter, Qui est De Constantia jurisprudentis. Neapolis, 1721. P. 188.

чувствующие созданию его образа, и этому же требованию должен отвечать отбор фактов и стиль сочинения⁶. Можно сказать, что Макиавелли продолжает реалистическую линию в историографии вслед за Лоренцо Валлой. (Хотя не следует ли считать данью *storia illustre* то, что его государь-реалист должен производить на поданных завораживающее впечатление?). И многие исследователи однозначно выстраивают линию преемственности от Макиавелли к Вико, поскольку Вико готов разбираться в настоящих движущих силах истории и не пренебрегать при этом никакими, даже самыми ничтожными и изменчивыми – «сатирическими» – проявлениями человеческой природы. Интересно, что в ранних своих сочинениях Вико оказывается «макиавеллистом» в гораздо меньшей степени, чем в поздних. Так, в «*De Constantia...*» он говорит, что люди волей и действием самого Провидения устроены для коллективной жизни, принесения друг другу пользы и что, согласно велению природы, человек человеку должен быть Богом (*natura... dictat*

⁶ О Валле как историке и его полемике с Фацио см.: *Ferrau G.* La concezione storiografica del Valla // *Lorenzo Valla e l'Umanesimo italiano: Atti del Convegno internazionale di studi umanistici* (Parma 18–19 ottobre 1984). Padova, 1986. P. 280–286; *Gaeta F.* Lorenzo Valla. Filologia e storia nell'Umanesimo italiano. Roma; Bari. 1975; *Gardiner Janik L.* Lorenzo Valla: The Primacy of Rhetoric and the Demoralization of History // *History and Theory*. Vol. 12. № 4 (1973). P. 389–404; *Giannantonio P.* Lorenzo Valla filologo e storiografo dell'Umanesimo. Napoli, 1972. О полемике между Л. Валлой и Б. Фацио см. также: *Bentley J. H.* Politica e cultura nella Napoli Rinascimentale / Trad. di C. Campagnolo. Napoli, 1995. P. 242–248; *Финогентова Е. В.* Спор о языке истории между Лоренцо Валлой и Бартоломео Фацио // *Труды кафедры древних языков*. Вып. II (К 75-летию исторического факультета МГУ и 60-летию кафедры). М., 2009. С. 89–102.

hominem homini deum esse)⁷, однако именно этого-то – замечает Вико, – и не поняли Эпикур, Спиноза, Макиавелли, Гоббс и Бейль. Подобные утверждения неаполитанского мыслителя позволили целому ряду исследователей считать Вико «настоящим католическим мыслителем» и, фаворизируя роль Провидения в его видении истории, говорить о том, что именно Вико показал путь преодоления макиавеллизма.

Мы только что привели пример, когда Вико полемизирует с Макиавелли открыто, называя имя своего оппонента. Правда, в таких случаях Макиавелли упоминается у Вико не один, а вместе с какой-то группой мыслителей – как представитель определенной линии историко-политического мышления. Это случаи, когда Вико считает позицию Макиавелли и близких ему философов или историков достойной эксплицитного опровержения. Мы рассмотрим случай, когда из «недомыслия» Макиавелли – из радикальной недостаточности его исторического сознания, из стремления сводить любые человеческие действия к очень ограниченному набору мотиваций, свойственных психологии современников флорентийского секретаря, – Вико вырабатывает исключительную для его времени концепцию коллективного сознания и коллективного имперсонального действия, описывающую психику и поведение людей, едва вышедших из состояния «первобытной дикости».

Во II книге редакции «Новой науки» от 1725 г. Вико говорит об одной из наиболее древних стадий развития наций. Предметом рассмотрения автора становятся «первые Отцы» (*primi Padri*), которые основали первые царства и жили «в состоянии семей» (*nello stato delle famiglie*). Вико так характеризует конструкцию власти От-

⁷ Ibid. P. 41.

цов: они держали в страхе членов своих семей, используя для этого монополию на ауспicii. То есть только представителям их сословия были известны механизмы интерпретации гаданий, в архаическом римском обществе бывших обязательным условием всякого сколько-нибудь значимого начинания. Способность и право Отцов узнавать волю богов признавалась всем обществом за ними и только за ними, и другие социальные группы не претендовали на вмешательство в истолкование божественных знамений.

«Люди, недавно перешедшие от ничем не сдерживаемой свободы к свободе, упорядочиваемой не другими людьми, а божеством и, следовательно, бесконечной в отношении других людей, как это в точности и было у Отцов в состоянии семей под водительством богов, должны в течение долгого времени держаться жестокого обычая жить или умирать свободными» (ср. 21)⁸. Эта бесконечная свобода гарантирована самим положением Отцов – таков социально-политический феномен, для обозначения которого Вико использует термин *patria*, наделяя его новым смыслом или, вернее, используя потенциал, заключающийся в самой внутренней форме этого слова. Вико определяет *patria* как «интерес» (*interesse*) Отцов – подобно тому, как «республика есть интерес всего народа» (“*respublica*” e’ “*l’interesse di tutto il popolo*”). Он пишет:

⁸ “Gli uomini di fresco passati da una sfrenata libertà alla libertà regolata non da altri che dalla divinità e, `n conseguenza, infinita a riguardo di altri uomini, qual era appunto de’ padri nello stato delle famiglie sotto il governo degli dei, devono lungo tempo ritenere il feroce costume di vivere o morir liberi”. *Vico G. Principi di una Scienza Nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritruovano I principi di altro sistema del diritto naturale delle genti / A cura e con introduzione di F. Lomonaco. Napoli, 2014. P. 64.*

«И если таковая бесконечная свобода сохраняется самим положением Отцов, каковое сохраняет для них их богов, перед лицом которых Отцы располагают бесконечной властью над другими людьми, то вполне естественно, что им приходится умирать за это свое положение Отцов и за свою религию. Такова природа древних героев, из которой и возникли первые героические царства»⁹.

Вико утверждает, что три его великих предшественника – Полибий¹⁰, Плутарх¹¹ и Макиавелли¹² – не поняли причин величия древнего Рима: они не осознали, «что именно религия и создала все величие Рима» (*che la religione fu quella che fece tutta la romana grandezza*). Примечательно, что Вико выбирает тех самых историков, которые как раз много внимания уделяли римской религии в ее связи с «римским величием». Взгляды Макиавелли на римскую религию – это особый раздел макиавеллианских штудий¹³. Но Вико хорошо видит, что три названных философа понимали роль религии в языческом Риме иначе, чем предлагает понимать ее он. Если представить их позиции в обобщенном виде, то можно было бы сказать, что все они в своем видении отношений религии и политики продолжали тенденцию, обозначенную Платоном в его «Государстве» (414c-415d), только имманенти-

⁹ «E, se tal infinita libertà è conservata dalla loro patria, che loro conservi i loro dei, per gli quali essi hanno una infinita potestà sopra altri uomini, saranno naturalmente portati a morire per le loro patrie e per la loro religione. Che è la natura degli antichi eroi, dalla quale uscirono i primi regni eroici”. Ibid.

¹⁰ Cf. *Polibio*. Storia Universale. VI, 56; X, 2.

¹¹ *Plutarco*. Vita di Numa, 4.

¹² *Machiavelli N.* Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. I, 11–12.

¹³ *Sullivan V. B.* Machiavelli's Three Romes: Religion, Human Liberty, and Politics Reformed. Ithaca; London, 2020; *Viroli M.* Machiavelli's God. Princeton, 2010.

зировали ее. Сократ в этом диалоге предлагает основателям совершенного государства создать политически выгодную им мифологию и религию – такие мифологию и религию, которые позволят посеять в умы граждан идею справедливости и абсолютной целесообразности существующего государственного устройства, причем идея эта будет внушаться им от рождения и станет как бы частью их самовосприятия. Воспитанные на правильной мифологии граждане будут считать, что положение каждого из них в обществе – следствие того, какими их создал бог, примешавший к одной и той же, общей составляющей естества всех граждан – земле – медь, серебро или золото, что и обусловило способности и задатки каждого из граждан. Усвоив с детства этот этиологический миф, граждане, по мысли Сократа, будут с особым рвением исполнять решения глав государства, то есть исполненных нравственной чистоты и мудрости правителей-философов, заинтересованных только в том, чтобы вверенные их попечению люди жили по законам божественной справедливости.

Теория, артикулируемая Полибием, Плутархом и Макиавелли, по сути своей представляет собой «спущенную с небес на землю» версию построений Сократа. Предложение, выдвинутое Сократом в «Государстве», имело необходимой предпосылкой особые качества правителей-философов: их поднимала над остальной массой граждан причастность идее божественного блага. Предполагалось, что они сначала удостаивались ее созерцания, а затем принимали для себя трудное решение вернуться к исполнению обязанностей правителей в гражданском мире. Оставаясь совершенно бескорыстными адептами истинного блага, они не могли внушать гражданам ничего, кроме справедливости. Не случайно ведь в начале второй книги диалога Сократ показывает, что в

жизни отдельно взятого человека справедливость реализовываться не может, ибо он, пытаясь действовать по справедливости, неизбежно придет в противоречие с несправедливым обществом и станет его жертвой, а потому, чтобы придерживаться справедливости, необходимо создать общество с нуля на основах справедливости, которая была бы общей для всех (369а).

Теории трех мыслителей, которым Вико отказывает в правильном понимании значения римской религии, сближают политическое действие и театр и могут быть отнесены к числу теорий заговора. Полибий, Плутарх и Макиавелли показывают, что получится, если последовательно отказаться от главных предпосылок, которыми руководствуется Сократ. Они не нуждаются в категории трансцендентного блага, которое выступает целью существования правителей-философов у Платона. Поэтому единственный интерес, которому они служат, – это и есть тот самый государственный интерес, для коего Макиавелли не подобрал термина, хотя по сути и сказал о нем очень много. Ближайшие к Макиавелли поколения политиков назовут его *ragion di stato*¹⁴. Правители у этих мыслителей, как и у Сократа, умом значительно превосходят своих подданных и поэтому могут убедить их в том, что считают полезным для государства или – в случае большей испорченности – для самих себя, а народ становится для них объектом манипуляции. Римское общество делится на тех, кто организует спектакль, но, естественно, не верит в него, и тех, кто его созерцает и в него верит. Религия является главной частью этого спектакля власти – самой зрелищной и внушающей наи-

¹⁴ *Ragion di Stato e ragioni dello Stato / A cura di P. Schiera. Roma, 1996; Borrelli G. Ragion di Stato e Leviatano. Conservazione e scambio, alle origini della modernità politica. Bologna, 1993.*

большие страх и почтение.

«Сочинение» религии и навязывание ее народу может иметь огромное число импликаций, но в контексте нашей проблемы на первый план выходят импликации гносеологические. Признать, что в архаическом римском обществе была элита, способная создать религию из ничего и навязать ее народу, – значит признать, что в ту отдаленную эпоху уже существовали люди, умственный строй которых был близок к нашему или даже мог совпадать с ним: признать, что в эпоху римской архаики ход мысли Полибия, Плутарха или Макиавелли уже был возможен.

В таком решении вопроса о происхождении и функционировании римской религии Вико видится отчаянный анахронизм. Он вполне способен оценить вклад Макиавелли и его предшественников в интересующий его вопрос: их мнение о том, что римской религией держалось все римское общество и именно этой религии римляне обязаны их героическим гражданским этосом, он считает справедливым. Но он категорически восстает против того, чтобы считать способ мышления римских патрициев тождественным современному. Вико призывает нас совершить аскетическое усилие, в сущности своей подобное тому, которое уже в XX в. будут пропагандировать этнографы и антропологи. Это усилие – преодоление современного стиля мышления и попытка проникнуть в логику, которой руководствуется сознание отдаленной от нас исторической эпохи¹⁵. В деле восстанов-

¹⁵ См. *Ackerknecht E. H. Problems of Primitive Medicine // Bulletin of the History of Medicine. Vol. 11. № 5 (May, 1942). P. 503–521.* Классик медицинской антропологии Э. Акеркнехт, рассматривая вопрос об объективной полезности некоторых средств медицины примитивных народов, призывает своих читателей не поддаваться иллюзии, будто растирания тела больного, похожие на процедуры,

ления когерентной логики мышления представителей далеких от современной культуры эпох Вико был предшественником антропологов XX в. Цель его исследования – не усмотреть в действиях людей римской древности мотивы, характерные для современников Макиавелли, а перевести логику архаической гражданской теологии на язык своих современников, представителей эпохи, которую Вико называл «веком явленного разума» (*secolo della ragion spiegata*), и доказать, что действия первых римлян, в том числе и в насаждении культа богов и укреплении власти патрициев при помощи религии, происходили из совсем других оснований и для тех, кто их осуществлял, имели совсем другое значение, нежели то, что им вменяют Макиавелли и его предшественники.

Метод историко-герменевтической работы Вико опре-

предписываемые физиотерапевтами XX в., или даже своеобразные вакцинации против укусов ядовитых змей (а некоторые примитивные племена умеют и это!) позволяют поставить их медицину в ряд учений, генетически предшествующих современной научной европейской или американской медицине. Почему же целитель из африканского племени не может считаться коллегой европейского терапевта или хирурга? Потому, отвечает антрополог, что он является носителем другого мировоззрения, другой логики, в рамках которой цели лечения видятся совсем иначе, чем понимает их медицина наших дней, – они встроены в радикально отличный от нашего концептуальный контекст, и логические связи между действиями целителя, семантика этих действий, понимание результата – все это видится представителю примитивного народа совсем иначе, чем нам. В доколумбовой Америке могла выполняться очень сложная, с хирургической точки зрения, трепанация черепа, сопровождавшаяся очень высоким процентом выживания пациентов после операции, однако целью вскрытия черепа при этом было устранение злых духов из головы пациента, а целью установки золотой пластины для закрытия проделанного отверстия – предотвращение возможности их возвращения в тело прооперированного.

делен предельно общей философско-исторической максимой, которая делает возможным само существование «Новой науки»: Бог ясно говорил через откровения и пророков со Своим избранным народом – евреями – на протяжении всей их дохристианской истории, а с язычниками он говорил опосредованно – при помощи социальных институтов, именно поэтому теперь и требуется некая особая наука, которая вобрала бы в себя множество дисциплин, от языкознания до истории литератур, от истории права до политической истории народов, – такая наука, которая позволила бы увидеть, каким образом осуществляется со-работничество Провидения и человека в истории народов, которые изначально были языческими, то есть не находились под прямым водительством Всевышнего. Руководствуясь этой максимой об отличии истории иудеев от истории язычников, Вико сравнивает важнейшие события обеих историй, при этом история Израиля выступает чем-то вроде фотографического негатива для истолкования смысла локальных историй отдельных народов. Вико очень мало и редко говорит о событиях истории иудеев, как она изложена в Священном Писании. Отправляясь от его раннего сочинения «О постоянстве правоведа» (*De Constantia jurisprudentis*) и продвигаясь через разные версии «Новой науки», названные так, как будет называться итоговое сочинение Вико, или именуемые иначе, мы от сочинения к сочинению встречаем все меньше отсылок к Священной Истории. В «О постоянстве правоведа» еще видно, в какой степени и в каком смысле Священная История является для Вико парадигмой истории любого известного ему народа. Начало этого сочинения напоминает традиционный жанр Шестоднева (толкования библейского повествования о сотворении мира и человека), сложившийся в святоотеческой экзегетической традиции. Там Вико еще

рассуждает о первородном грехе Адама и его антропологических и социологических следствиях. Однако в «Новой науке» 1725 г. удельный вес Св. Писания уже гораздо меньше – Вико эксплицитно интересуется лишь некоторыми яркими ее событиями, тогда как целое Священной Истории остается за кадром.

Рассмотрим один из пассажей этого последнего сочинения, чтобы понять, какую же, по мнению Вико, роль играет древнеримская религия в поддержании социального строя архаического Рима. Речь идет о том, что патриции «в состоянии семей» (то есть в догосударственную эпоху) правили подданными, опираясь на ауспиции:

«...будучи сведущими в божественности ауспиций, они должны были приносить жертвы, чтобы исполнять их веления, и, как сведущие в ауспициях, они должны были требовать того, чего, как они верили, желали от них боги, и прежде всего наказаний, которые, как позже будет показано, осуществлялись путем принесения виновных в жертвы богам... были у них и дети, невинные, но осужденные на смерть или обещанные богу, – как Агамемнон поступил с несчастной Ифигенией. Но истинный Бог в событии заклания Авраамом сына его Исаака ясно заявил, что Ему вовсе не угодны невинные человеческие жертвы»¹⁶.

И здесь Вико оказывается вынужден вспомнить биб-

¹⁶ «...come sapienti in divinità di auspici, essi dovevano sacrificare per procurargli e, come intelligenti degli auspici, essi dovevano comandare le cose che credessero voler da essi gli dei, e sopra tutto le pene, le quali, come si truova appresso, si esigevano col consacrare i rei agli dii... anche fossero i figliuoli innocenti, ma fatti rei o dovuti per voto, come fu quello da Agamennone fatto della infelice Ifigenia. Ma vero Iddio, nel fatto del sacrificio di Abramo del di lui figliuolo Isacco, dichiarò espressamente esso non dilettersi punto di vittime umane innocenti”. Vico G. Op. cit. P. 62–63.

лейское событие, очень похожее на жертвоприношение Авраама, однако завершившееся не столь счастливо. Это история Иеффая из книги Судей и его дочери, даже имени которой библейский писатель не сохраняет для потомков. Иеффай был судьей над Израилем в течение семи лет. Отправляясь воевать с аммонитянами, он принес обет Богу: «Если Ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всеожжение» (Суд. XI, 30-31). Дальнейшее развитие событий напоминает народную сказку: у порога дома Иеффая встречает его единственная дочь. Ее радость библейский писатель подчеркивает, упоминая, что она выходит к отцу-победителю с тимпаном, при танцовой и всеми способами выражая свое ликование. Убитый горем отец объявляет ей, что она предназначена в жертву за победу над аммонитянами, и девица никак не противится ему, только просит на два месяца отсрочить исполнение обета, чтобы удалиться в горы с подругами и там «оплакать девство свое». После этого она возвратилась домой, и «он совершил над нею обет свой, который дал» (Суд. XI, 39). По поводу этого события, представляющего собой параллель жертвоприношению Авраама, но закончившегося трагедией, Вико говорит:

«Относительно обета Иеффая все Отцы Церкви признают, что тайна его до сих пор еще сокрыта в бездне божественного Провидения. Довольно и того, что, в силу различия, которое явлено в этом деянии между евреями и язычниками, не Иеффай, но Авраам стал основателем народа Божьего»¹⁷. Смысл жертвоприношения Авраама

¹⁷ «Del voto di Iefte tutti i Padri (Vico intende: Padri della Chiesa che interpretarono questo passaggio di Sacra Scrittura) confessano esser ancor nascosto il misterio nell'abisso della provvidenza divina. Basta, per le

открывается в Священной Истории даже не одним, а несколькими способами (назовем хотя бы два: Сам Бог препятствует смерти Исаака уже при попытке его заклания, тем самым давая Аврааму понять, что Он лишь испытывал его веру, чтобы наделить его еще большими благами, чем прежде, и сделать подлинным отцом богоизбранного народа; в традиции типологической экзегезы жертвоприношение Авраама получает очень высокий статус, «прообразуя» собой грядущую жертву Христа). Смысл жертвоприношения Иеффая вызывает бурю сомнений, потому что он не открывается нигде и никак – и Отцы Церкви своим авторитетом подтверждают это. В «Христианской науке» Аврелия Августина, чьи сочинения сыграли в формировании мысли Вико немалую роль, содержится учение о рабстве полезным и бесполезным знакам – так Августин называет служение, соответственно, иудеев единому Богу и язычников – многим богам (даже если они понимались всего лишь как аллегории стихий и других вещей мира) и о христианской свободе – осознании смысла участия в таинствах христианства и, в свете истин, открывшихся в проповеди Христа и в самой Его жизни, – значения «полезных знаков», то есть ритуалов, исполнения которых требует Бог в Ветхом Завете от Своего народа. Для Августина понимать означало быть свободным, в то время как отправление культа без понимания смысла предписываемых этим культом действий ассоциировалось у него с рабством – «рабством знакам». Ритуал, не освященный пониманием, «связывает» исполняющего его, превращая в раба.

Стиль мышления Вико выдает почти болезненное

differenze che in quest'opera si pruovano degli ebrei e delle genti, che non Iefte ma Abramo fu il fondatore del popolo di Dio". *Vico G. Op. cit.* P. 63.

внимание ко всем видам социальной «сцепки», своего рода зачарованность ею. На протяжении всех его сочинений мы можем видеть, как занимали его всевозможные мифы, повествующие об установлении нерасторжимых отношений между героями повествования, древние законы, налагающие обязательства, и обряды, исполнение которых устанавливает обязательства. Жесткая формульность законов первых человеческих обществ очень важна для Вико: он полагает, что в ригидности первых социальных установлений отражена господствующая черта мышления «эпохи Отцов». Прогресс гуманности в римском обществе, согласно Вико, как раз и оказывается ознаменован смягчением жесткости юридического языка, прежде состоявшего из не подлежащих никаким изменениям словесных формул. Такие факты, как возникновение преторского права и введение *fictio juris* в обиход римской юриспруденции, свидетельствуют о постепенной эмансипации гражданского общества от власти неумолимого и неизменного закона. Таким образом, развитие интерпретативного юридического мышления коррелирует с прогрессом свободы.

Иеффай у Вико ведет себя очень похоже на язычников, когда ставит условия Создателю. Жертвоприношение Иеффая – это его инициатива, не веление Бога, в отличие от жертвоприношения Авраама, которого требует Бог – и Сам же от него отказывается. Иеффай «рабствует бесполезным знакам», как сказал бы Августин, он несвободен, в то время как Авраама Бог наделяет безбрежной свободой, даже связывая заветом: Он открывает ему в акте прямой коммуникации – через несостоявшееся заклание Исаака, – что на Аврааме и его потомстве почиет милость Божья.

Фрагмент, к которому мы возвращаемся, посвящен одной из фаз в развитии языческой религиозности: вере

римского народа в ауспиции, на которой основана власть Отцов. Теперь мы можем сделать следующий шаг к пониманию позиции Вико, противопоставленной мнению Полибия – Плутарха – Макиавелли. Герменевтическая работа начинается с осознания нередуцируемых различий между мышлением «эпохи явленного разума» и мышлением Отцов. При этом следует удерживать в уме в качестве альтернативы обоим обозначенным способам мышления возможность прямой коммуникации с Богом. Вико никого не обвиняет в обмане: религия римлян точно так же налагает оковы на патрициев, как и на плебеев. Тем более, что долг Отцов, предписываемый им римской религией, гораздо более суров, чем обязанности плебеев: Отцы не имеют выбора, как говорит Вико, им положено только «побеждать или умирать с их богами». То есть Отцы всегда верят в то, что они находятся в прямом контакте с богами, потому что они всегда готовы платить за это собственной жизнью. Плебс подчиняется Отцам, потому что и плебеи верят в ауспиции и в способность Отцов коммуницировать с богами. Плебс демонстрирует добрую волю – хочет «быть уравненным с Отцами» и тоже иметь доступ к толкованию гаданий, при этом понимая, какую цену за это придется платить. Таким образом, развитие римского общества, по Вико, обеспечивается соревнованием двух основных классов этого общества в добродетели (мы могли бы сравнить эту позицию у Вико с тем, как Макиавелли смотрел на противостояние этих двух классов римского общества, и тоже обнаружить известное сходство-отталкивание, но этот вопрос сейчас не является предметом нашего рассмотрения).

Парадоксальным образом, согласно Вико, Отцы приобретают свою власть через добровольную смерть – как если бы у них было два тела: одно смертное и одно бессмертное, «коллективное», «сословное», способное вы-

жить ценой гибели индивидуального, «случайного» смертного тела. Вико так говорит о природе Отцов: это была «природа древних героев, из которой вышли первые героические царства»¹⁸. Энрико Нуццо анализирует различные значения, которые приобретают такие понятия, как «герой» и «героический», на разных этапах становления концепции Вико, и демонстрирует различия и сходства значений этих терминов в разные периоды творческой биографии автора¹⁹. И позиция, от которой отправляется Энрико Нуццо, – это базовое различие между нашей «ординарной», повседневной, классической по своему происхождению идеей героизма, ясной с первого взгляда – и той идеей, которую имеет в виду Вико. Мы можем вспомнить также концепцию Риккардо Фубини, который анализирует понятия и образы, связанные с героизмом в эпоху раннего Возрождения в Италии²⁰. Когда возникает необходимость легитимировать незаконно добытую, то есть тираническую, власть, которую разными способами захватывают те кондотьеры, а то и просто представители богатых купеческих семейств, которые становятся единоличными правителями целого ряда городов-государств Италии Позднего Средневековья, – тогда оказывается востребованной идея и символика героизма. Фубини так объясняет рождение гуманистической культуры и рост спроса на гуманистическую образованность: классически образованные люди, хорошо умеющие говорить и писать по-латыни, способны создавать позитивный образ тирана, черпая выразитель-

¹⁸ “la natura degli antichi eroi, dalla quale uscirono i primi regni eroici”.

¹⁹ *Nuzzo E.* Tra religione e prudenza. La “filosofia pratica” di Giambattista Vico. Roma, 2007.

²⁰ *Fubini R.* L’umanesimo italiano e i suoi storici. Origini rinascimentali, critica moderna. Milano, 2001.

ные средства из широкого арсенала греко-римской культуры – то есть используя средства, пригодные для того, чтобы вести речь о герое. Ибо тиран Позднего Средневековья в обстоятельствах, когда закон еще имеет какое-то значение для масс, не располагает никаким другим эффективным способом самопрезентации: он вынужден использовать образ героя и все то, что прилагается к этому образу. Герой – это «не вполне бог», хотя и претендующий на божественность: это тот, в чьем божественном или царском достоинстве многие сомневаются и кто все время вынужден доказывать, что сомневаются зря. Чтобы продемонстрировать свою особость, свое превосходство над «просто» смертными, он нарушает нормальный порядок вещей, но осуществляемые им нарушения всегда открывают новые возможности не только для него, но и для множества «обыкновенных» людей, которые с изумлением взирают на его деяния. Например, по преданию, культивируемому семейством Фарнезе, Геркулес изменил прежний ландшафт местности вокруг Капраролы, где Фарнезе впоследствии воздвигнут великолепный дворец. Геркулес выкопал целое озеро и рассыпал вырытые глыбы земли по его берегам. Именно это сделало возможным земледелие в засушливых прежде местах Капраролы, и крестьяне перестали страдать от неурожая и голодать. Фарнезе украсили стены одной из зал фресками с изображениями этого подвига Геркулеса²¹, уподобляя собственные благодеяния, которыми они осыпали окрестных жителей, деяниям Зевесова сына. Там, где была безотрадная пустыня, ныне благодаря героическому усилию настало процветание. Значит, герой,

²¹ Partridge L. The Farnese Circular Courtyard at Caprarola: God, Geopolitics, Genealogy, and Gender // The Art Bulletin. Vol. 83. № 2 (June, 2001).

парадоксальным образом, прав, когда он берет власть в свои руки и нарушает привычный порядок вещей. Как можно более суггестивно изложить эту истину подданным героя – задача для оратора-гуманиста, а равно и для ренессансного архитектора или художника.

Что касается Вико, то, говоря о героизме Отцов, он имеет в виду совсем другое. Суть ренессансного и новременного героизма в том, чтобы герой был легко узнаваем и хорошо запоминался. Но мы совсем не видим лиц Отцов-героев у Вико. Напротив: Вико всячески подчеркивает их имперсональность. Для этого он употребляет один из своих излюбленных приемов – ставит известные из римской истории имена собственные во множественное число и приводит их в виде перечней: Горации – Курции – Тарквинии. И действия его героев отнюдь не являются следствием избытка личных сил – как это происходило в сказаниях о мифологических героях. «Героические» действия у Вико – это следствия необходимости, которая управляет поведением Отцов. Не существует необходимости, актуальной для одной личности, как не существует и личной, индивидуальной воли: существует только коллективная необходимость удержания власти, принадлежащей всей социальной группе, без распределения между входящими в нее личностями. Строго говоря, личностей тоже нет – есть только группа и ее интересы, состоящие в сохранении *status quo*, пусть это и требует порой личной смерти кого-то из членов группы. Викианские Отцы не похожи на могучего ренессансного Геркулеса – они больше похожи на тех стайных животных, которые, предчувствуя опасность голода в местах своего обитания, совершают групповое самоубийство. Имперсональность движущих сил в истории, имперсональное социальное действие – это открытия Вико, за которые ему должны быть благодарны теоретики исто-

рии и социологи Нового времени. В «Новой науке» 1725 г. в гл. XXII Вико так формулирует принцип героической доблести:

«И здесь раскрывается принцип героической доблести, который вовсе не мог предполагать, чтобы люди в состоянии варварства и жестокости... приносили себя в жертву за свои нации из стремления к бессмертной славе, которая приобретает лишь великими благодеяниями, совершенными для целых наций. Так до сих пор рассматривали деяния древних героев люди эпохи явленного разума, которые пришли на смену философам, – так они рассматривали те самые деяния, которые, по их разумению, совершались героями древних времен единственно из избытка привязанности, которую каждый из них питал по отношению к своей власти над семьями, сохраняемой для них их отечеством, каковое потому и звалось именно так, подразумевая «дело» – то есть «интерес Отцов»²².

С одной стороны, Отцы идентифицировали себя со своей «циклопической» властью. С другой стороны, их разум был устроен так, что во всех своих решениях и действиях они могли только повиноваться тому, в чем признавали проявление божественной воли. Эдмунд Якобитти размышляет над реакцией Вико на рассказ Ти-

²² E qui si scuopre il principio della virtù eroica, la quale non si poteva affatto intendere che uomini barbari e feroci <...> si consacrassero per le loro nazioni per desiderio d'immortal fama, che non si acquista che con grandi benefici fatti ad intiere nazioni. Così sono state finora guardate le azioni degli antichi eroi dagli uomini di menti spiegate che vennero appresso dopo i filosofi: quelle che, in lor ragione, non si facevano dagli eroi degli antichi tempi che per troppo affetto particolare che avevano alle proprie sovranità, conservate loro sopra le loro famiglie dalla loro patria, che perciò fu così appellata, sottintesovi "res". Cioè "interesse di padri". *Vico G. Op. cit. P. 64.*

та Ливия о Горации – римской девице, брат которой был одним из тех римских Горациев, что ценой смерти двух из трех братьев одержали победу в поединке с тремя братьями-альбанцами, Куриациями, и не допустили кровопролития целых народов²³. Один из поверженных Куриациев был женихом римлянки, и, когда единственный из трех ее братьев с победой возвращался в Рим, она, поняв, что жених ее убит ее же братом, позволила себе оплакивать смерть жениха и за это была публично убита братом-победителем²⁴. Эдмунд Якобитти находит очень емкую формулу для объяснения взгляда Вико на исторический смысл этого эпизода из римской истории: «Вико... стремился показать, что, когда Горация была убита, различия между необходимостью и выбором еще не существовало»²⁵. Выбор и необходимость – эти две вещи были тогда еще одним и тем же. Необходимость и имперсональность – это два ключевых слова, пригодных для описания и постижения мира Отцов. Категория имперсональности в том смысле, в каком мы обнаруживаем ее в текстах Вико (хотя Вико и не употребляет конкретно этого слова), – многосторонне изучена англоязычными учеными: назовем хотя бы имена философа Нэнси Стрювер²⁶ и историка Дэвида Маршалла²⁷. Внимание

²³ *Jacobitti E. Community, Prereflective Virtue, and the Cyclopean Power of the Fathers: Vico's Reflections on Unexpected Consequences // Historical Reflections/Réflexions Historiques. Vol. 22 . №. 3. 1996. P. 495–515.*

²⁴ *Тум Ливий. История Рима от основания города. I, 26 (2–5).*

²⁵ *Ibid. P. 507.*

²⁶ *Struever N. S. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago, 2009; Struever N. S. Vico, Foucault, and the Strategy of Intimate Investigations // New Vico Studies. Vol. 2. 1984. P. 41–70.*

²⁷ *Marshall D. Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern Europe. Cambridge, 2014.*

этих авторов разных специальностей привлекают очень разные моменты в текстах неаполитанского мыслителя, но оба они обращают внимание на коллективный характер исторического действия у Вико. Каждое действие у Вико изображается как сумма интенций, замыслов, коллективных нужд того или иного сообщества – коллективного субъекта. Выполненное Д. Маршаллом исследование сочинения Вико о заговоре Маккья²⁸ показывает: эта формула приложима также и к данному Вико описанию современных ему событий, свидетелем которых он был и участников которых хорошо знал.

²⁸ *Marshall D.* The Impersonal Character of Action in Vico's *De Coniuratione Principum Neapolitanorum* // *New Vico Studies*. Vol. 24. 2006. P. 81–128.

Научное издание

Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени /

Отв. ред. М. А. Юсим

Утверждено к печати

Ученым советом Института всеобщей истории РАН

Макет А. А. Майзлиш

Подписано в печать 21.10.2020

Формат 60x84/16

Гарнитура Таймс. Объем 27,4 усл. п.л., тираж 500 экз.

(1-ый завод – 100 экз.)

Типографский заказ №